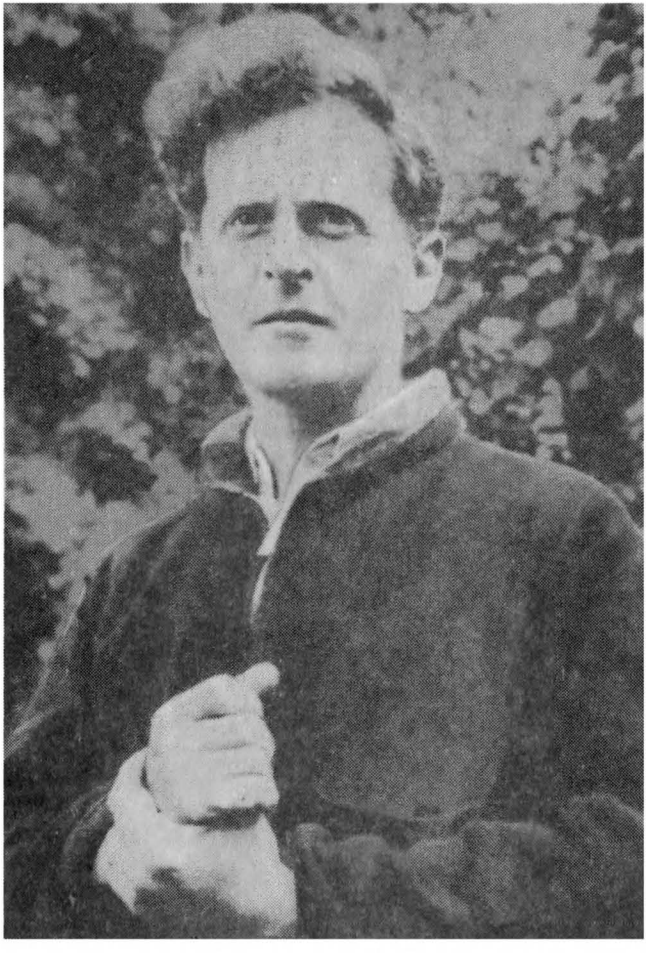
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН: ЧЕЛОВЕК И МЫСЛИТЕЛЬ



ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН: ЧЕЛОВЕК И МЫСЛИТЕЛЬ

Переводы с английского

Составление и послесловие
В.П.Руднева

Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»
1993

ББК 87.3
Л 93

Составитель серии
и ведущий редактор книги
В.П. РУДНЕВ

Л 93

Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель: Пер. с англ. / Сост. и заключит. ст. В.П. Руднева. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993. — 352 с.

Л $\frac{030102000-000}{006(01)-93}$ КБ-42-19-1992 **ББК 87.3**

Издательская фирма «Культура»

ISBN 5-01-003863-3

© Перевод и художественное оформление — Москва, «Прогресс», «Культура», 1993.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Книга о Витгенштейне построена по принципу смыслового контрапункта, который был одной из главных психологических пружин личности ее героя.

Начинается она классическим эссе, написанным профессором фон Вригтом вскоре после смерти Витгенштейна. По тону психологической и эмоциональной искренности и умудренности этот очерк и до сего дня остается лучшим из того, что можно было бы поместить в качестве предисловия к книге о Витгенштейне.

Воспоминания Нормана Малкольма, в оригинале впервые вышедшие в 1959 году, давно стали хрестоматийными. Они поражают своей внутренней достоверностью, глубиной, любовью и почтением к Витгенштейну, безусловным пониманием и приятием его личности.

Напротив, мемуары Фани Паскаль (бывшей в отличие от Малкольма не учеником, а учителем Витгенштейна — в его занятиях русским языком) яростно полемичны. Несмотря на то что к моменту написания мемуаров Витгенштейна уже более 20 лет не было в живых, она не перестает относиться к нему по-бахтински диалогично, как будто продолжает вести с ним нескончаемый спор.

Книга о Витгенштейне, написанная американским исследователем Уильямом Бартли, полифонична изнутри: она бросает читателя «из огня да в полымя». Витгенштейн предстает то гомосексуалистом-распутником (1918 — 1920), то едва ли не Иисусом Христом (1921 — 1926). Многие темные места биографии Витгенштейна раскрываются в этом увлекательном исследовании, и хотя не все ин-

терпретации автора кажутся в равной степени убедительными, последнее искупается тем, как блестяще написана книга.

Затем мы слышим голос самого Витгенштейна: ему 42 года, он читает лекции в Тринити-колледже, Кембридж. Лекции были записаны его тогдашними студентами Джоном Кингом и Даймондом Ли, с любезного разрешения которых мы публикуем их на русском языке. Как всегда, поразительны глубина и нетривиальность того, о чем и как размышляет Витгенштейн. Кроме того, находясь на переломе между ранним и поздним учением Витгенштейна, эти лекции позволяют увидеть, как изменялась и преформировалась доктрина «Логико-философского трактата» в те взгляды, которые мы знаем по поздним рукописям конца 30-х — начала 50-х годов.

Далее следует теоретическая статья Густава Бергмана, резко полемически заостренная по отношению к витгенштейновскому наследству.

Книгу заканчивает статья, написанная составителем, в которой суммируются представления о личности Витгенштейна и предлагаются интерпретации некоторых важных моментов его жизни.

15 апреля 1993 *В.Руднев*

Настоящее издание является второй вышедшей в свет книгой серии «Аналитическая философия в культуре XX века». К настоящему моменту вышла книга:

Норман Малкольм. **Состояние сна. — М.: «Прогресс» — «Культура», 1993.**

В этом и следующем году предполагается выпустить:

Возможные миры художественной фантазии.

Винни Пух **и философия обыденного языка.**

Джордж Эдуард Мур. **Существует ли внешний мир?**

Джон Уильям Данн. **Эксперимент со временем.**

Алан Яник, Стивен Тулмин. **Витгенштейновская Вена.**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОРГ Х. фон ВРИГТ. **Людвиг Витгенштейн: Биографический очерк.** *Перевод М. Дмитровской* 9

НОРМАН МАЛКОЛЬМ. **Людвиг Витгенштейн: Воспоминания.** *Перевод М. Дмитровской* 31

ФАНЯ ПАСКАЛЬ. **Витгенштейн: Личные воспоминания.** *Перевод М. Дзюбенко* 97

УИЛЬЯМ У. БАРТЛИ III. **Витгенштейн.** *Перевод Т. Нестеровой и О. Сапрыкиной* 139

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН. **Лекции: Кембридж 1930 — 1932. По записям Дж. Кинга и Д. Ли.** *Перевод Т. Михайловой* 273

ГУСТАВ БЕРГМАН. **Блеск и нищета Людвига Витгенштейна.** *Перевод М. Дзюбенко* 310

В.П. РУДНЕВ. **Витгенштейн как личность** 332

Георг Хенрик фон Вригт

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

Биографический очерк[1]

29 апреля 1951 года в Кембридже (Англия) умер один из самых известных и влиятельных философов нашего времени — Людвиг Витгенштейн.

Принято считать, что Витгенштейн положил начало двум важным философским направлениям, к которым, впрочем, себя не причислял. Одно из них — логический позитивизм, или логический эмпиризм, игравший заметную роль в течение десятилетия перед второй мировой войной. Другое — аналитическое, или лингвистическое направление, известное также под названием Кембриджской школы[2]. Это направление доминирует в современной британской философии, а также распространено во всем англосаксонском мире и в странах, где сильно англосаксонское влияние.

Философия Витгенштейна, бесспорно, имела исключительное значение для обеих отмеченных школ. Для первого направления важна была его ранняя работа «Логико-философский трактат» и те дискуссии, которые он вел с некоторыми членами Венского кружка; для второго — помимо «Трактата» — его лекции в Кембридже, а также известные узкому кругу людей его работы, не опубликованные им при жизни. Отчасти верно, что Витгенштейн отрицал результаты своего влияния. Он не принимал участия в широких философских дискуссиях, которые были стимулированы его идеями. Он

---

[1] G.H. von Wright Biographical Sketch// N. Malcolm. Ludwig Wittgenstein: A Memoir. Oxford, 1959, p. 1 — 22. *Перевод М. Дмитровской.*

[2] На самом деле это весьма неоднородное течение, для которого едва ли подойдет какое-то одно название. Даже термин «Кембриджская» школа не является вполне точным. Мне он представляется приемлемым только потому, что напоминает о той важной роли, которую сыграли несколько видных ученых, преподававших там, в разработке современных философских подходов. Позиции Кембриджской школы сегодня наиболее сильны в Оксфорде.

считал — полагаю, вполне справедливо, — что его идеи неправильно понимаются и искажаются даже теми, кто причислял себя к его ученикам. Он сомневался, что в будущем его поймут лучше. Однажды он сказал, что у него такое чувство, что он пишет для людей, которые бы мыслили и воспринимали мир совершенно иначе, чем сегодня. Для людей какой-то другой культуры. Это было одной из причин, по которой он не публиковал свои поздние произведения.

Витгенштейн избегал быть в центре внимания. Он уклонялся от любых контактов, которые считал для себя нежелательными. За пределами круга его близких друзей и родных мало кто знал о его жизни и характере. Его недоступность во многом способствовала созданию фантастических слухов и распространившемуся непониманию его учения. Те сведения, которые содержатся в появившихся на его смерть некрологах, часто ошибочны, а атмосфера, изображенная в большинстве известных мне биографических статей, не имеет ничего общего с реальной.

Людвиг Иосиф Иоганн Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года в Вене в еврейской семье. Витгенштейны переехали в Австрию из Саксонии. В противоположность довольно распространенному мнению, они никак не связаны с княжеским родом Витгенштейнов. Дед Витгенштейна перешел из иудаизма в протестантство. Мать была католичкой. Сам Витгенштейн был крещен в католической церкви.

Отец Витгенштейна, несомненно, был человеком незаурядного ума и сильной воли. Он был инженером, ставшим ведущей фигурой в сталелитейной промышленности Дунайской империи. Заслугой матери Витгенштейна было создание художественной атмосферы, царившей в доме. Она и ее муж были исключительно музыкальны. Богатый дом Витгенштейнов, в котором ценили культуру, скоро стал центром музыкальной жизни. Близким другом семьи был Иоганнес Брамс.

Людвиг был младшим среди пятерых братьев и трех сестер. Природа щедро одарила всех детей как внутренними свойствами личности, так и художественными и интеллектуальными способностями. Витгенштейн, несомненно, был в высшей степени необычным человеком. Будучи полностью лишенным тщеславия, которое проявлялось бы в желании отличаться от окружающих, Витгенштейн тем не

менее сильно выделялся на общем фоне. Вполне допускаю, что он действительно жил на грани психического расстройства. Страх утратить рассудок преследовал его всю жизнь. Но неверно было бы видеть в его работах какие-то отклонения. Его работы оригинальны, но вовсе не эксцентричны. Они несут на себе отпечаток той естественности, искренности и отсутствия условности, которые составляли суть характера Витгенштейна.

До четырнадцати лет Витгенштейн обучался дома. Следующие три года он провел в школе в Линце (Верхняя Австрия). Кажется, потом он хотел изучать физику под руководством Больцмана. Однако в 1906 году, как раз в том году, когда Витгенштейн закончил школу, Больцман умер. Свое образование Витгенштейн продолжил в Высшей технической школе в Шарлоттенбурге под Берлином.

Его решение изучать технику было скорее следствием рано проявившихся склонностей и таланта, чем результатом влияния отца. Витгенштейн интересовался техникой всю жизнь. Будучи маленьким мальчиком, он сконструировал швейную машинку, которая вызвала всеобщее восхищение. Даже в последние годы своей жизни он мог провести целый день среди своих любимых паровых машин в музее Южного Кенсингтона. Известно несколько историй о том, как он чинил механизмы, когда что-нибудь выходило из строя.

Витгенштейн пробыл в Берлине до весны 1908 года. Затем он отправился в Англию, где летом 1908 года проводил эксперименты с воздушными змеями около Глоссона в графстве Дербишир на станции, где занимались запуском змеев в верхние слои атмосферы. Осенью того же года он был зачислен студентом-исследователем на технический факультет Манчестерского университета. Он числился там до осени 1911 года, при этом, впрочем, подолгу живя на континенте. В течение этих трех лет Витгенштейн занимался исследованиями в области воздухоплавания. От экспериментов с воздушными змеями он перешел к конструированию пропеллера для самолета с реактивным двигателем. Сначала его интересовал сам двигатель, но вскоре он сосредоточился на расчете пропеллера, что было главным образом математической задачей. Именно тогда интересы Витгенштейна начали постепенно перемещаться в сторону чистой математики, а потом и к основаниям математики.

В разговоре со мной Витгенштейн однажды заметил, что проблемы, над которыми он работал в манчестерский период, приобрели потом исключительное значение. Я сожалею, что не был достаточно любопытен, чтобы расспросить его подробнее. Полагаю, что он имел в виду ту роль, которая принадлежит сейчас реактивным двигателям, особенно в воздухоплавании[1].

В жизни Витгенштейна период с 1906 по 1912 год был временем мучительных поисков и постепенного осознания своего призвания. Он говорил мне, что в эти годы был постоянно несчастен. Об отсутствии в нем равновесия свидетельствует то, что он несколько раз оставлял начатую работу и переходил к чему-либо новому. Достаточно вспомнить его отъезд из Германии в Англию, эксперименты с воздушными змеями, работу над реактивным двигателем, расчеты пропеллера, интерес к чистой математике и, наконец, к философии математики.

Рассказывают, что однажды Витгенштейн обратился к кому-то с просьбой указать ему литературу по основаниям математики. Ему рекомендовали книгу Бертрана Рассела «Основания математики», которая вышла в 1903 году. Эта книга глубочайшим образом повлияла на дальнейшее развитие Витгенштейна. Возможно, именно «Основания математики» Рассела способствовали тому, что Витгенштейн обратился к работам Фреге. «Новая» логика, которая в лице Фреге и Рассела имела двух своих самых блестящих представителей, стала теми воротами, через которые Витгенштейн вошел в философию.

Если я правильно помню[2], Витгенштейн говорил мне, что в юности он прочитал книгу Шопенгауэра «Мир как

---

[1] Материалы о пребывании Витгенштейна в Манчестере собраны У Экклзом и У Мейзом. Чертеж и расчеты реактивного двигателя, а также некоторые другие документы, имеющие отношение к данному периоду жизни Витгенштейна, хранятся в университетской библиотеке Манчестера. Как мне сообщили, некоторые изобретения Витгенштейна в области аэронавтики были им запатентованы.

[2] Сведения биографического характера, которые я узнавал от Витгенштейна, я не записывал вплоть до его смерти. У меня было стойкое ощущение, что нечестно заносить их на бумагу сразу же после наших бесед. Витгенштейн не так часто говорил о своем прошлом и крайне редко — о юности, которая была связана для него с тяжелыми воспоминаниями. Мысль о том, что кто-то собирает материалы для его биографии, несомненно, была бы ему неприятна.

воля и представление», и его первой философской концепцией был шопенгауэровский эпистемологический идеализм. О том, как связан этот его интерес с более поздним интересом к логике и философии математики, мне ничего не известно. Помню только его слова о том, что именно концептуальный реализм Фреге способствовал его отказу от ранних идеалистических взглядов.

В конце концов Витгенштейн принимает решение оставить свои занятия техникой и отправляется в Германию, в Иену, чтобы обсудить свои планы с Фреге. По-видимому, именно Фреге посоветовал ему поехать в Кембридж, чтобы заниматься под руководством Рассела. Витгенштейн последовал совету[1].

Это было, по-видимому, осенью 1911 года[2]. В начале следующего года он был принят в Тринити-колледж и сначала стал просто студентом, а потом «студентом продвинутого этапа обучения». Он учился в Кембридже в течение всех трех триместров 1912 года и двух первых триместров 1913 года. Ранней осенью 1913 года он посетил Норвегию вместе с Дэвидом Пинсентом — молодым математиком, с которым Витгенштейн подружился в Кембридже. После короткой поездки в Англию, предпринятой им в октябре, Витгенштейн возвратился в Норвегию уже один и поселился на ферме на берегу Согне-фьорда, — в Скъёлдене, к северо-востоку от Бергена. Там он большей частью и жил вплоть до начала войны 1914 года. Он очень полюбил эту страну и людей. Постепенно он научился говорить по-норвежски. В безлюдном месте около Скъёлдена он построил себе хижину, где мог жить в полном уединении.

Десятилетие перед первой мировой войной было временем исключительной интеллектуальной активности. В Кембридже Бертран Рассел находился в зените славы. Он и А.Н. Уайтхед написали книгу «Principia Mathematica», ставшую вехой в истории логики. Среди

---

[1] Так рассказывал мне сам Витгенштейн. Об этом же говорят и записи его сестры Гермины. Поэтому сообщение Рассела в его написанной на смерть Витгенштейна статье (Mind, LX(1951)) о том, что Витгенштейн не знал Фреге до своего приезда в Кембридж, следует считать ошибочным.

[2] Мне не удалось установить точной даты первого визита Витгенштейна к Фреге и приезда в Кембридж. Осенью 1911 года он еще числился студентом Манчестерского университета.

философов наибольшим влиянием пользовался Дж. Э.Мур. Вскоре Витгенштейн сблизился с Расселом[1]. Он также часто встречался с Муром и Уайтхедом. Среди друзей Витгенштейна этого кембриджского периода следует также назвать экономиста Дж.М. Кейнса, математика Г.Г. Харди и логика У.Э. Джонсона. «Трактат» Витгенштейна посвящен памяти Дэвида Пинсента, который погиб на войне.

Помимо занятий философией, в Кембридже Витгенштейн проводил эксперименты. В психологической лаборатории он занимался исследованием музыкального ритма. Он надеялся, что эти эксперименты помогут ему ответить на некоторые интересовавшие его вопросы из области эстетики. Витгенштейн был исключительно музыкален, даже если придерживаться самых высоких стандартов. Он играл на кларнете, а одно время даже хотел стать дирижером. Он имел редкий талант к художественному свисту. Он мог таким образом исполнить целый концерт, прерываясь только для того, чтобы обратить внимание слушателя на некоторые музыкальные детали. Слушать его было огромным удовольствием.

Важным источником наших знаний о жизни Витгенштейна этих лет являются его письма к Расселу. Другой источник — дневник Пинсента, в котором содержатся сведения об их жизни в Кембридже и совместных поездках в Исландию и Норвегию. Письма и дневник помогают понять личность не только молодого Витгенштейна, но и увидеть его таким, каким он был для знавших его друзей в 30-е и 40-е годы. По письмам можно также проследить ход работы Витгенштейна над произведением, которое после выхода сразу же составило его славу как философа.

Ранние философские исследования Витгенштейна лежали в сфере проблем, над которыми работали Фреге и Рассел. Его мысли занимали также такие понятия, как «пропозициональная функция», «переменная», «всеобщность» и «тождество». Вскоре он сделал интересное открытие — создал новый символический язык для так назы-

---

[1] В своих мемуарах Рассел пишет: «Знакомство с Витгенштейном было одним из самых волнующих приключений в моей жизни».

ваемых «значений истинности». Это позволило ему описать предложения логики как «тавтологии»[1].

Самые ранние разделы «Трактата» посвящены логическим проблемам. Свои основные мысли в этой области Витгенштейн сформулировал еще до начала войны 1914 года, то есть до достижения им двадцати шести лет. Потом его захватила другая проблема. Это был вопрос о природе значимых пропозиций[2]. Витгенштейн рассказывал мне о том, как у него возникла мысль о языке как образе, или картине, реальности[3]. Это было на Восточном фронте. Он сидел в окопе и рассматривал журнал, где на рисунках было изображено последовательное развитие событий автомобильной катастрофы. Рисунок здесь служил пропозицией — он выступал как описание возможного положения дел. Он выполнял эту функцию благодаря тому, что фрагменты изображения соответствовали предметам в реальном мире. Витгенштейн подумал, что, воспользовавшись обратной аналогией, можно сказать, что пропозиция выступает в роли образа (картины) в силу такого же соответствия между частями пропозиции и миром. Способ, которым соединены части пропозиции, — собственно, структура пропозиции — отражает возможную комбинацию элементов в реальности, то есть возможное положение дел.

«Трактат» Витгенштейна можно рассматривать как синтез теории «значений истинности» и идей о языке как образе реальности. Из этого синтеза рождается еще одна, третья по счету, основная идея книги — теория о том, что́ не может быть сказано, а может быть только показано.

В начале войны Витгенштейн вступил в австрийскую армию добровольцем, несмотря на то что был освобожден от воинской службы по состоянию здоровья. Он служил сначала на корабле на Висле, потом — в артиллерийской

---

[1] Этот символический язык — в принципе тот же самый, о котором говорится в «Трактате» (6.1203). Известные нам по «Трактату» таблицы истинности(4.31 и т.д.) были придуманы позже.

[2] «Моей единственной целью является объяснение природы пропозиций», — писал он в одной из своих записных книжек во время войны.

[3] Интересно выяснить, существует ли связь между концепцией Витгенштейна о пропозиции как образе и введением к книге Генриха Герца. Витгенштейн знал эту книгу и очень высоко ее ценил. Похоже, следы влияния этого произведения можно обнаружить и в «Трактате», и в других произведениях Витгенштейна.

мастерской в Кракове. В 1915 году Витгенштейн был переведен в Ольмютц (Моравия) для подготовки к получению офицерского звания. Как уже было сказано, он воевал на Восточном фронте. В 1918 году он был переброшен на Южный фронт. После развала австро-венгерской армии в ноябре этого года он был взят в плен итальянцами. Витгенштейн смог вернуться в Австрию не раньше августа следующего года. Большую часть времени в плену он провел в лагере в Монте-Кассино в Южной Италии.

Когда Витгенштейн оказался в плену, с ним была рукопись «Логико-философского трактата», которую он носил в своем ранце. Это произведение обычно известно под латинским названием, предложенным для него Дж.Э. Муром, «Tractatus Logico-Philosophicus». Витгенштейн завершил работу над ним в Вене в августе 1918 года. Из плена Витгенштейну удалось отправить письмо Расселу и установить с ним контакт. Позже он переслал ему рукопись книги, воспользовавшись помощью своего друга по Кембриджу Кейнса. Он также послал экземпляр Фреге и вступил с ним в переписку.

Витгенштейн привык заносить свои мысли в записную книжку. Записи там обычно датированы и образуют нечто вроде дневника. По записным книжкам видно, что Витгенштейн часто возвращался к ранее занимавшей его внимание проблеме и снова обдумывал ее. Иногда Витгенштейн диктовал своим ученикам и коллегам. Весной 1914 года в Норвегии он диктовал Муру заметки по логике. Кажется, в 20-е годы он диктовал Шлику и Вайсману. Так называемая «Голубая книга» диктовалась им одновременно с чтением лекций в Кембридже в 1933 — 1934 годах. Она содержит в себе первую, еще весьма приблизительную версию того, что позже составит «новую» философию Витгенштейна. Большое значение имеет «Коричневая книга». Она диктовалась частным образом нескольким ученикам в 1935 году.

Некоторые записные книжки, предшествовавшие «Трактату», к счастью, сохранились. Эти ранние наброски и фрагменты представляют большой интерес. Во-первых, они отражают развитие мысли Витгенштейна, во-вторых, помогают понять многие сложные места в сжатом до крайности окончательном варианте книги. Особое впечатление произвели на меня записные книжки 1916 года. В них затрагиваются проблемы «я», свободы воли,

смысла жизни и смерти. Таким образом, краткие, как афоризмы, соответствующие идеи «Трактата» родились в результате отбора из большого количества материала. По этим записным книжкам Витгенштейна видно, насколько сильно повлиял на него Шопенгауэр. Иногда можно различить также влияние Спинозы.

В ранних записных книжках часть записей сделана с помощью особого кода, которым Витгенштейн продолжал пользоваться всю свою жизнь. Только часть этих записей расшифрована. Все они имеют личный характер. Еще слишком рано думать о том, чтобы сделать их достоянием широкой публики.

Годы войны были кризисными для Витгенштейна. О том, какое влияние имели на этот кризис события истории и его опыт войны и плена, мне ничего не известно. Важным обстоятельством для Витгенштейна стало его знакомство с этическими и религиозными произведениями Толстого. Толстой оказал очень сильное влияние на формирование жизненной позиции Витгенштейна и пробудил в нем интерес к изучению Священного Писания.

После смерти отца в 1912 году Витгенштейн оказался владельцем большого состояния. Первое, что он сделал после возвращения с войны, — это избавился от всех своих денег[1]. С тех пор его всегда отличали величайшая простота и умеренность во всем. В своей одежде он был далек от условностей: невозможно было представить его в галстуке или шляпе. Вся его обстановка состояла из кровати, стола и нескольких стульев. В его жизни не было никаких украшений.

После войны Витгенштейн решил стать школьным учителем. В 1919 — 1920 годах он прошел в Вене курс обучения в колледже для учителей начальных школ. С 1920 по 1926 год Витгенштейн учительствовал в отдаленных деревнях Нижней Австрии, в районах Шнеберг и Земмеринг. Это отвечало его стремлению к простой и уединенной жиз-

---

[1] Перед войной Витгенштейн сделал большой анонимный дар для поддержания литературы. Этим способом он помог двум поэтам — Георгу Траклю и Райнеру Марии Рильке. (Более подробную информацию можно найти в статье Людвига Фикера «Рильке и его неизвестный друг», Der Brenner, 1954). Коротко замечу, что Витгенштейн высоко ценил талант Тракля, но поклонником Рильке, по крайней мере в более поздний период, не был. Он считал его поэзию искусственной.

ни. В других отношениях это не устраивало его совсем. Похоже, у него были постоянные трения с окружающими людьми. Наконец последовал кризис. Витгенштейн подал в отставку и навсегда распрощался с профессией учителя. После этого он стал работать вместе с монахами помощником садовника в Хюттельдорфе, около Вены.

В то время Витгенштейн подумывал уйти в монастырь. К этой мысли он возвращался и в последующие годы. То, что он не решился на этот шаг, отчасти связано с тем, что его не устраивали внутренние условия монастырской жизни.

Его совместная работа с монахами скоро закончилась. Осенью 1926 года Витгенштейн занялся делом, которое поглощало все его силы и талант в течение следующих двух лет. Он решил построить в Вене особняк для одной из своих сестер. В этом здании все до мельчайших подробностей продумано им самим. Оно во многом отражает личность его создателя. Здание лишено украшений и отмечено строгостью размеров и пропорций. Его красота напоминает простоту и отточенность предложений «Трактата». Вряд ли можно отнести этот дом к какому-то стилю. Однако горизонтальные линии крыш и использованные материалы — сталь и стекло — сразу заставляют вспомнить об архитектуре стиля модерн. (В 1914 году Витгенштейн познакомился с Адольфом Лоосом, которого очень ценил.)

Одновременно Витгенштейн занимался в студии своего друга, скульптора Дробила. Он работал над головой девочки или эльфа, чьи черты отмечены той совершенной и спокойной красотой, которая присуща греческим скульптурам классического периода и, похоже, составляла идеал Витгенштейна. Поражает резкий контраст между беспокойным, ищущим характером Витгенштейна, постоянными переменами в его жизни и совершенством и отточенностью его работ.

Автор «Трактата» считал, что решил все философские проблемы. Это отвечало его намерению оставить философию. «Трактат» был опубликован в большой степени благодаря Расселу. В 1919 году Витгенштейн и Рассел встречались в Голландии, чтобы обсудить рукопись. Поиск издателя вызвал дополнительные трудности, а вскоре дело застопорилось из-за несогласия Витгенштейна с введением

к книге, которое написал Рассел. В конце концов Витгенштейн отказался от всего предприятия. Книга была издана в 1922 году в Лондоне Кеганом Полом с параллельными текстами на немецком и английском языках. За год до этого немецкий текст появился в издаваемых Оствальдом «Анналах натурфилософии». В английском переводе было много ошибок, которые искажали смысл и настоятельно требовали исправлений[1].

Когда Витгенштейн работал учителем и был архитектором, он не был совершенно оторван от философского мира. В 1923 году в Пухберге его посетил приехавший из Кембриджа молодой человек по имени Фрэнк Рамсей. Рамсей имел отношение к переводу «Трактата» и в возрасте двадцати лет написал об этой книге чрезвычайно проницательную статью для журнала *Mind*. Через год Рамсей приехал снова. Он пытался убедить Витгенштейна посетить Англию. В этом году ему помогал Кейнс, который и достал необходимые деньги. Летом 1925 года Витгенштейн наконец навестил своих английских друзей.

Вслед за Рамсеем контакт с Витгенштейном установил венский профессор Мориц Шлик. Книга Витгенштейна произвела глубокое впечатление на этого умного и честного человека. Шлик известен как основатель и руководитель Венского кружка. Влияние Витгенштейна на развитие философского направления, начатого Венским кружком, определялось, по крайней мере частично, личными контактами, которые Витгенштейн и Шлик поддерживали в течение ряда лет. Другим членом кружка, на которого Витгенштейн повлиял лично, был Фридрих Вайсман. Сейчас он живет в Оксфорде.

Витгенштейн говорил, что вернулся к занятиям философией потому, что почувствовал, что снова способен успешно работать. Внешним толчком, побудившим его к этому шагу, возможно, была лекция Брауэра по основаниям математики, которую Витгенштейн прослушал в Вене в марте 1928 года. (По крайней мере утверждают, что именно с этой лекции началось его возвращение в философию.) В начале 1929 года Витгенштейн приехал в Кембридж и

---

[1] С учетом того, что мне рассказывал Витгенштейн, едва ли можно полностью доверять словам переводчика о том, что «корректура перевода была тщательно сверена автором».

стал студентом-исследователем, что было несколько неожиданно для человека, который был в глазах многих одним из крупнейших авторитетов в своей области. Это было связано с намерением Витгенштейна работать над получением степени доктора философии. Однако оказалось, что предвоенные годы его пребывания в Кембридже могут быть засчитаны как свидетельство уровня его подготовки, а в качестве тезисов диссертации может служить книга, опубликованная восемь лет назад. Степень была ему присвоена в июне 1929 года. В следующем году он стал членом Тринити-колледжа.

Представление о философских взглядах Витгенштейна этого периода (около 1930 года) дают два его объемистых машинописных труда. Во-первых, это диссертация, содержащая около восьмисот страниц и написанная в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным трудам. Она разделена на главы и параграфы, которые имеют название. Можно представить, насколько мучительным был для Витгенштейна процесс работы над этим сочинением. В другом труде, который носит название «Философские заметки», сразу узнается автор «Трактата» и «Философских исследований». В обеих работах затрагивается многочисленное количество проблем. Много места уделено философии математики[1].

Статья «Несколько рассуждений о логической форме» тоже помогает прояснить философские взгляды Витгенштейна данного периода. Это единственная философская работа, опубликованная Витгенштейном после «Трактата»[2]. Предполагалось, что Витгенштейн выступит с этой

---

[1] Возможно, одну из этих работ Бертран Рассел в 1930 году представлял следующим образом Совету Тринити-колледжа в связи с обсуждением вопроса о предоставлении Витгенштейну субсидии: «Теории, изложенные в этой работе Витгенштейна, являются новыми, весьма оригинальными и, бесспорно, важными. Правильны ли они, я не знаю. Как логик, который стремится к простоте, я склоняюсь к мысли, что это не так. Однако из прочитанного мною я вынес стойкое убеждение, что их автор должен иметь возможность продолжать работу, ибо, когда она будет закончена, вполне может оказаться, что перед нами целая новая философия». (Цитируется с разрешения лорда Рассела и Совета Тринити-колледжа, Кембридж.)

[2] Во время работы учителем он опубликовал учебный словарь немецкого языка для начальных школ (Holder — Piehler — Tempskl, Vienna, 1926).

работой на ежегодной встрече британских философов — так называемой объединенной сессии Mind Association и Артистотелевского общества. Это событие произошло в 1929 году, вскоре после его приезда в Кембридж. Доклады, предназначенные для этих встреч, обычно печатаются и заранее распространяются между участниками, потом из них формируется Дополнительный том к Трудам Аристотелевского общества. Витгенштейн удивил всех собравшихся тем, что не стал читать доклад, а сделал сообщение на совсем другую тему — о понятии бесконечности в математике.

В рукописных и машинописных трудах Витгенштейна, относящихся к этому периоду, читателя поражают формулировки, с которыми он уже знаком по работам Шлика и других членов Венского кружка. Поскольку не может быть сомнений относительно истинного направления влияния, данные труды Витгенштейна представляют большой интерес для истории философских идей. Конечно, эти работы не столь значительны, как «Трактат» или «Философские исследования». Это вполне понятно, ибо они отражают переходную стадию философского развития Витгенштейна. Как раз в это время он стремился освободиться от влияния «Трактата» и был занят поисками новых путей.

Около 1933 года в воззрениях Витгенштейна произошли радикальные изменения. А именно: у него возникли основные идеи, развитием и разработкой которых он занимался всю оставшуюся жизнь. Я не ставлю перед собой цель говорить здесь о них. Я остановлюсь только на тех моментах, которые имеют отношение к самому факту их появления.

«Новая» философия Витгенштейна связана с отрицанием некоторых фундаментальных принципов «Трактата». Это относится к теории языка как образа реальности, к положению о том, что все значимые пропозиции состоят из простых, и к теории о невыразимом. Кто-то, возможно, скажет, что некоторые из этих вопросов уже и так не находились в центре внимания философов. Однако, если у других изменения во взглядах были связаны главным образом с дальнейшим развитием уже существующих философских проблем (совсем не обязательно поставленных в ранней работе Витгенштейна), то перемена в воззрениях само-

го Витгенштейна свидетельствовала о полном отходе от существующих направлений мысли.

С этим связан тот факт, что новая философия Витгенштейна не принадлежит, как мне кажется, ни к какой философской традиции и не имеет аналогов. По этой причине она исключительно трудна для понимания и ее трудно охарактеризовать. Автор «Трактата» учился у Фреге и Рассела. Его проблемы возникли как следствия их проблем. У автора «Философских исследований» не было предшественников в философии. Иногда можно услышать, что поздний Витгенштейн похож на Мура. В действительности это не так. Иллюзия сходства создается во многом благодаря тому, что оба они оказали влияние на формирование философского направления, получившего название аналитической или лингвистической философии. Разграничение роли каждого из них представляет большой интерес. Подходы Мура и Витгенштейна на самом деле совершенно различны. Хотя дружба между Муром и Витгенштейном продолжалась вплоть до смерти последнего, мне трудно найти следы какого-либо влияния философии Мура у Витгенштейна. То, чему Витгенштейн воздавал должное, были такие качества Мура, как живость мысли, стремление к истине и полное отсутствие тщеславия. Большую роль в развитии у Витгенштейна новых идей сыграла критика его прежних взглядов со стороны двух его друзей. Один из них был Рамсей, чья ранняя смерть в 1930 году явилась тяжелой потерей для современной философии. Другим был итальянский экономист Пьерро Сраффа, приехавший в Кембридж незадолго до появления там Витгенштейна. Главным образом именно острая и действенная критика Сраффы заставила Витгенштейна отказаться от своих прежних взглядов и взяться за разработку новых подходов. Витгенштейн говорил, что после этих дискуссий со Сраффой он чувствовал себя как дерево, у которого отрубили ветви. Зазеленеет ли дерево вновь, зависело только от его собственных жизненных сил.

С 1929 года и до смерти Витгенштейн, за исключением нескольких перерывов, живет в Англии. Когда после «аншлюса» его австрийский паспорт стал недействительным, он мог выбирать между немецким и британским гражданством. Он выбрал последнее. Но, вообще говоря, он не лю-

бил английский стиль жизни, и ему не нравилась академическая атмосфера Кембриджа. Когда в 1935 году истек срок его членства в Тринити-колледже[1], он подумывал о том, чтобы поселиться в Советском Союзе. Он посетил эту страну вместе с другом и, по-видимому, остался доволен поездкой. То, что его планы не осуществились, связано, по крайней мере отчасти, с ужесточением в России в середине 30-х годов. Итак, Витгенштейн оставался в Кембридже до лета 1936 года. Потом он почти год жил в своей хижине в Норвегии. Именно там он начал писать «Философские исследования». В 1937 году Витгенштейн возвратился в Кембридж, где через два года он сменяет Мура на кафедре философии.

С начала 1930 года с несколькими перерывами Витгенштейн читает лекции в Кембридже. Как и следовало ожидать, его лекции были совсем не академическими[2]. Обычно он проводил занятия в своей комнате или же у своих друзей, живущих, как и он, в Кембридже. Он не пользовался никакими предварительными записями или заметками. Он думал перед аудиторией. Создавалось впечатление огромной концентрации мысли. После вступления обычно следовал вопрос, который он задавал присутствующим. Полученные ответы стимулировали работу его мысли, что вело в свою очередь к новым вопросам. В большой степени от самой аудитории зависело, была ли дискуссия плодотворной и выдерживалось ли единое направление рассуждений в течение всей лекции, а также от одной лекции к другой. Многие его слушатели были известными специалистами в своих областях. Ряд лет в начале 30-х годов лекции Витгенштейна посещал Мур[3]. Его лекции слушали также несколько других ведущих философов Англии и Америки.

---

[1] Его членство было продлено еще на несколько месяцев до конца 1935/36 академического года. Когда Витгенштейн стал профессором, его членство в Тринити-колледже было возобновлено.

[2] Очень живо и точно впечатления о Витгенштейне как о преподавателе переданы в статье, посвященной его памяти в журнале *The Australasian Jourhal of Philosophy*, XXIX (1951). Статья подписана инициалами. D.A.T.G. – A.C.J.

[3] Опубликованные в журнале *Mind*, LXIII-IV (1954–1955) статьи Мура содержат подробный рассказ об этих лекциях и их интересное обсуждение. Эти статьи можно рассматривать как своеобразный комментарий некоторых взглядов Витгенштейна «переходного периода», предшествующего «Голубой книге».

Сохранились хорошие, подробно сделанные записи некоторых его лекционных курсов.

Незадолго до того, как Витгенштейн занял кафедру, разразилась вторая мировая война. У кого-то, вероятно, возникнет мысль, что он хотел войны. На самом деле он, как и в 1914 году, просто не хотел наблюдать за ней из башни из слоновой кости. Сначала он поступил санитаром в лондонский Гай-госпиталь, потом работал в медицинской лаборатории в Ньюкасле. Следует отметить, что Витгенштейна очень привлекала профессия медика, и в 30-е годы он даже серьезно подумывал о том, чтобы оставить философию и заняться медициной. За время пребывания в Ньюкасле он изобрел несколько технических новинок, которые сам и испытал.

Неудивительно, что его беспокойный гений задыхался в обстановке академической рутины. Если бы не началась война, его пребывание на кафедре могло быть еще менее продолжительным. Весной 1947 года состоялись его последние лекции в Кембридже. Осенью он был в отпуске, а в конце года подал в отставку. Он хотел все оставшееся ему время посвятить исследованиям. Как это бывало уже не раз, он предпочел уединенную жизнь. Зиму 1948 года он провел на ферме в сельской местности в Ирландии. После этого он жил один в хижине на берегу океана, в Голуэе, на западном побережье Ирландии. Его соседями были простые рыбаки. Говорят, что Витгенштейн стал среди них легендой. Он приручил множество птиц: они слетались к нему каждый день, чтобы получить корм из его рук. Однако жизнь в Голуэе была физически слишком тяжела для Витгенштейна, и осенью 1948 года он переехал в Дублин, где поселился в отеле. Следующие полгода были для него исключительно плодотворными. Именно тогда он закончил вторую часть «Философских исследований».

Два последних года своей жизни Витгенштейн был серьезно болен. Осенью 1949 года у него обнаружился рак. В это время Витгенштейн находился в Кембридже после непродолжительного пребывания в Соединенных Штатах. Витгенштейн предпочел не возвращаться в Ирландию, а остаться у своих друзей в Оксфорде и Кембридже. Осенью 1950 года он вместе с другом поехал в Норвегию и даже планировал поселиться там в начале следующего года. Большую часть болезни он не был способен работать. Од-

нако последние два месяца он провел на ногах и чувствовал себя на подъеме. Мысли, записанные им за два дня до смерти, не уступают лучшему из созданного им.

Сильная и яркая личность Витгенштейна не могла не воздействовать на окружающих. К нему нельзя было остаться равнодушным. У некоторых он вызывал активное неприятие. Но многих очаровывал и вызывал восхищение. Верно, что Витгенштейн избегал заводить знакомства, но нуждался в дружбе и настойчиво искал ее. Он был удивительным, но требовательным другом. Мне кажется, что большинство его друзей одновременно и любили и боялись его.

Распространение слухов и легенд о личности и жизни Витгенштейна вело к росту нездорового сектантства в рядах его учеников. Это доставляло ему немало огорчений. Он считал, что его влияние как учителя в целом не способствовало развитию самостоятельной мысли у его учеников. Боюсь, что он был прав. Я даже могу объяснить, почему это было именно так. Из-за глубины и оригинальности его учения идеи Витгенштейна трудны для понимания и еще более трудны для полного их усвоения. В то же время магия его личности и стиля действовала сильно и неотразимо. Невозможно было учиться у Витгенштейна и не перенять его слова и выражения, не начать копировать его интонации, мимику и жесты. Его мыслям грозила опасность стать расхожей монетой. Учениям великих людей часто присущи простота и ясность, которые создают иллюзию легкости понимания. Поэтому их ученики обычно становятся эпигонами и не создают ничего значительного. Влияние великих умов на историю развития мысли обычно осуществляется не через учеников, а более косвенным, незаметным и часто совсем неожиданным образом.

Отличительными чертами Витгенштейна были его исключительная серьезность и мощный ум. Я никогда не встречал человека, который бы производил на меня столь сильное впечатление в этом отношении.

По моему мнению, существуют две разновидности того, что называют серьезностью характера. В одном случае все упирается в «строгие принципы», в другом — идет от сердца. Первый случай имеет отношение к морали, второй, как мне кажется, ближе к религии. Витгенштейн был до болезненности чувствителен к требованиям долга, но честность

и строгость его характера носили в чем-то религиозный характер. Впрочем, не знаю, можно ли говорить о «религиозности человека», используя это слово в каком-то значении, отличном от общепринятого. Конечно, его религией не было христианство. Но его восприятие жизни не было и языческим, как у Гёте. Сказать, что Витгенштейн не был пантеистом, — значит сказать нечто важное. «Бог не обнаруживает себя в мире», — писал он в «Трактате». Мысль Бога, говорил он, была для него прежде всего мыслью беспощадного судьи.

Витгенштейн иногда говорил, что испытывает чувство обреченности. Будущее рисовалось ему мрачным. Современность была беспросветной[1]. Его мысль о беспощадности человека явно близка некоторым теориям-предопределениям.

Витгенштейн не был, строго говоря, образованным человеком. Он не соответствовал обычному типу ученого. «Холодная объективность» и «беспристрастность в работе» не имеют к нему никакого отношения. Он вкладывал всю свою душу в то, что делал. Его жизнь была беспрерывным движением, в котором его направляло сомнение. Он редко оглядывался на свои прежние позиции, а если делал это, то обычно только затем, чтобы их опровергнуть.

Значение для Витгенштейна было обязательно связано с действием. Большое значение имело то, что он начал свое образование с изучения технических дисциплин. Его знания в области физики и математики имели не книжный характер, а проистекали из хорошего теоретического и практического знания техники. Его многочисленные художественные наклонности имели тот же активный характер и практическую направленность. Он мог спроектировать дом, создать скульптуру и выступить в роли дирижера оркестра. Возможно, он никогда бы не достиг совершенства в этих областях. Но он не был «дилетантом». Любое проявление его многостороннего духа коренилось в этом стремлении к созидательной деятельности.

У Витгенштейна не было систематических знаний по истории философии. Он мог читать только то, что воспринимал личностно. Уже упоминалось, что в юности он

---

[1] См. во Введении к «Философским исследованиям»: «беспросветность нашего времени».

читал Шопенгауэра. В работах Спинозы, Канта и Юма он смог понять, по его собственным словам, только отдельные места. Не думаю, чтобы он мог получить удовольствие от чтения Аристотеля и Лейбница, двух великих логиков, предшествующих ему. Однако доподлинно известно, что он читал Платона и наслаждался им. Его должны были привлекать в Платоне те черты, которые он создавал в себе. Это касается как художественного и философского метода, так и беспокойства души, охваченной стремлением к истине.

Витгенштейн испытал гораздо большее влияние со стороны авторов, занимающих промежуточное положение между философией, религией и поэзией, чем со стороны философов в строгом смысле слова. Это Блаженный Августин, Кьеркегор, Достоевский и Толстой. Философские разделы «Исповеди» Блаженного Августина обнаруживают удивительное сходство с философским методом Витгенштейна. Существуют явные параллели между Витгенштейном и Паскалем — они заслуживают внимательного изучения. Следует также отметить, что Витгенштейн был высокого мнения о работах Отто Вейнингера.

Язык Витгенштейна, несомненно, будет вызывать все возрастающий интерес. Не удивлюсь, если однажды его причислят к классикам немецкой литературы. Литературные достоинства «Трактата» не остались незамеченными. Столь же замечателен и язык «Философских исследований». Он прозрачен и легок, структура предложений проста и завершенна, текст ритмически организован. Иногда автор прибегает к диалогу — в вопросно-ответной форме, иногда, как в «Трактате», выражает мысль афористично. Поражает полное отсутствие литературных «излишеств» и специальной терминологии. Сплав строгой сдержанности и богатства фантазии, сочетание спокойного развития мысли с ее неожиданными поворотами заставляют вспомнить творения другого венского гения. (Шуберт был любимым композитором Витгенштейна.)

Как это ни странно, но Шопенгауэр, признанный мастер философской прозы, не оказал никакого влияния на стиль Витгенштейна. Автором, который иногда до удивления напоминает Витгенштейна, является Лихтенберг. Витгенштейн очень ценил его. Не знаю, можно ли гово-

рить о том, что он учился у него. Однако следует заметить, что некоторые высказывания Лихтенберга на философские темы очень похожи на мысли Витгенштейна[1].

Несомненно, что личность и труды Витгенштейна будут вызывать споры и порождать различные мнения в будущем. Автор афоризмов «Загадки не существует» и «То, что может быть сказано, может быть сказано ясно» сам был загадкой. Содержание его мыслей часто глубоко скрыто под внешним словесным уровнем. В Витгенштейне соединилось много контрастов. Кто-то однажды сказал, что он был логиком и мистиком одновременно. Ни одна из этих характеристик не является верной, хотя каждая указывает на что-то очень существенное. В своем желании приблизиться к Витгенштейну некоторые будут пытаться понять сущность его работ на рациональном, фактическом уровне, другие же предпочтут отход в сторону большей метафизичности. В уже существующей литературе о Витгенштейне представлены оба подхода. Ценность подобных «интерпретаций» невелика. Они покажутся искажающими суть дела любому, кто будет стремиться понять Витгенштейна во всей его сложности и многообразии. Они интересны только как свидетельство разнообразия форм его влияния. Мне иногда кажется, что классическим творение человеческого разума становится как раз благодаря этой сложности и неоднозначности, которые неудержимо влекут к себе, но в то же время сопротивляются любым нашим попыткам достичь окончательного понимания.

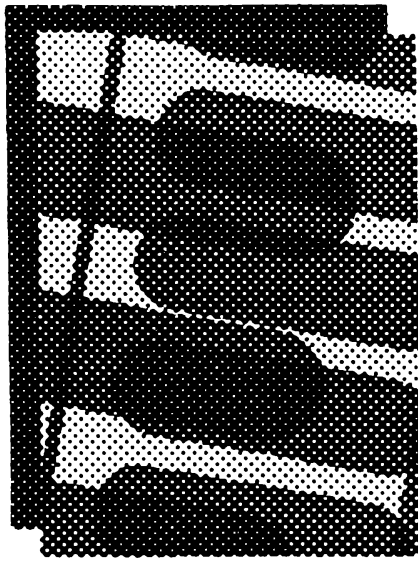
---

[1] См. мою статью «Георг Кристоф Лихтенберг как философ», *Theoria*, VIII (1942).

НОРМАН МАЛКОЛЬМ

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН: ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод М.Дмитровской



NORMAN MALCOLM

LUDWIG WITTGENSTEIN: A MEMOIR

London 1959

Я впервые увидел Витгенштейна осенью 1938 года, в начале моего пребывания в Кембридже. На заседании в Клубе Моральных Наук после того, как был прочитан доклад, слово взял один из присутствующих. Формулируя свою мысль, он испытывал огромные трудности, и его речь была неразборчива. Я шепотом спросил у соседа: «Кто это?» Он ответил: «Витгенштейн». Я был поражен, потому что, по моим представлениям, автор знаменитого «Логико-философского трактата» должен был быть человеком пожилым, а этот человек выглядел *молодо* — лет на тридцать пять. (На самом деле ему было сорок девять.) У него было худощавое загорелое лицо, удивительно красивый орлиный профиль и шапка вьющихся каштановых волос. Я отметил вежливое и внимательное к нему отношение со стороны всех присутствующих. После неудачного вступления он некоторое время молчал, но было видно, как напряженно он пытается сформулировать мысль. Его вид выражал предельную концентрацию, а короткие рубленые движения рук как бы сопровождали его речь. Остальные присутствующие ждали, храня напряженное молчание. Впоследствии я наблюдал подобную картину бесчисленное количество раз и стал считать ее совершенно естественной.

Зимой 1939 года я посещал лекции Витгенштейна по философским основаниям математики. Он продолжил чтение этих лекций в весеннем и осеннем триместрах 1939 года. Мне кажется, я почти ничего не понимал в его лекциях, пока десять лет назад заново не пересмотрел сделанные мной тогда записи. И в то же время я, как и

все остальные, осознавал, что Витгенштейн делает что-то очень важное. Все знали, что он занят решением исключительно сложных проблем и что его метод подхода к ним совершенно оригинален.

Он читал свои лекции без всякой подготовки и без предварительных записей. Он мне рассказывал, что однажды пробовал пользоваться записями, но остался недоволен результатом: мысли казались «затхлыми», а от слов, казалось, «веяло мертвечиной», когда он начинал читать их. Как он мне рассказывал, метод подготовки к лекциям, к которому он пришел, состоял исключительно в том, что перед началом занятий он несколько минут восстанавливал в памяти ход предыдущей встречи. С изложения сделанного на прошлом занятии он обычно начинал каждую лекцию, а затем, развивая мысль, старался продвинуться вперед. Он говорил, что мог проводить свои занятия без подготовки только потому, что очень много думал и продолжал много думать о всех тех проблемах, которые поднимались на лекциях. Это чистая правда, и тем не менее все, что происходило на занятиях, было в значительной степени *новым* исследованием.

Читая лекцию или же просто беседуя с кем-либо, Витгенштейн всегда говорил отчетливо и очень выразительно. Он говорил на отличном английском языке — так, как говорят образованные англичане, но с вкраплением отдельных германизмов. Его звучный голос был несколько выше по тону, чем это бывает обычно, но это не резало слуха. Его слова не текли свободно, но выговаривались с большой силой. Каждому, кто слышал Витгенштейна, становилось ясно, что перед ним человек необыкновенный. Когда он говорил, его лицо было удивительно подвижно, выразительно. Взгляд был пронзителен и часто неистов. Весь его вид был внушителен и даже величественен.

Одевался он, напротив, настолько просто, насколько это было возможно. Он всегда носил светло-серые фланелевые брюки, фланелевую рубашку с расстегнутым воротом, жакет из грубой шерсти или кожаную куртку. Выходя на улицу в сырую погоду, он надевал желтовато-коричневый плащ и твидовую кепку. Он почти всегда ходил с легкой тростью. Невозможно было представить его в костюме, галстуке и шляпе.

Его одежда, за исключением плаща, всегда была идеальной чистоты, а ботинки блестели. Он был строен, ростом около пяти футов шести дюймов.

Он читал лекции дважды в неделю, каждый раз по два часа, с пяти до семи вечера. Он требовал пунктуальности и страшно сердился, когда кто-нибудь опаздывал на две минуты. Пока он еще не был профессором, его встречи с учениками происходили в основном у его университетских друзей, а потом уже в его собственных комнатах в Уэвелл-Корт, Тринити-колледже. Его слушатели должны были приносить стулья с собой или же сидели на полу. Иногда было ужасно тесно. Это особенно относится к его лекциям в начале осеннего триместра 1946 года, когда приходило около тридцати человек и все сидели, прижавшись друг к другу, так что яблоку негде было упасть.

Две комнаты Витгенштейна в Уэвелл-Корт были скромно обставлены. Не было никаких плетеных стульев и настольных ламп. На стенах не висело никаких украшений, картин или фотографий, — стены были голыми. В гостиной находились два шезлонга и простой деревянный стул, в спальне — раскладушка. В центре гостиной стояла старая железная печь, служившая для обогрева комнаты. В ящике на окне росло несколько цветов, и еще несколько горшков с цветами было в комнате. Был также металлический сейф, в котором Витгенштейн хранил свои рукописи, и ломберный стол, за которым он писал. В комнатах всегда было необыкновенно чисто.

Стулья, которые слушатели приносили с собой, были собственностью Тринити-колледжа и между лекциями стояли снаружи. Чье-либо опоздание влекло за собой разрушительные последствия, ибо сидящие должны были сдвигать свои стулья, чтобы освободить место.

Нужно было обладать значительной храбростью, чтобы войти после того, как лекция уже началась, и некоторые предпочитали сразу уйти, нежели выдержать свирепый взгляд Витгенштейна.

Витгенштейн сидел в центре комнаты на простом деревянном стуле. Видно было, как он напряженно борется со своими мыслями. Он часто чувствовал, что зашел в тупик, и говорил об этом. Нередко у него вырывались такие выражения, как «Я дурак», «У вас ужасный учитель», «Сегодня я очень глуп». Иногда он выражал со-

мнение в том, что сможет продолжать лекцию, но на самом деле крайне редко заканчивал раньше семи часов.

Вряд ли можно назвать эти занятия «лекциями», хотя Витгенштейн называл их именно так. С одной стороны, на этих встречах он разрабатывал совершенно новые проблемы. Он обдумывал какой-нибудь вопрос точно так же, как делал бы это, находясь в одиночестве. С другой стороны, занятия велись в основном в форме беседы. Витгенштейн обычно задавал вопросы присутствующим и отвечал на их реплики. Часто бо́льшую часть занятия вообще шел прямой диалог. Однако, когда Витгенштейну нужно было сформулировать мысль, он обычно резким движением руки пресекал все вопросы и замечания. У него были частые и продолжительные периоды молчания, когда только его бормотание изредка нарушало полнейшую тишину в комнате. В эти периоды Витгенштейн был особенно активен и собран. Его взгляд был сосредоточен, лицо подвижно, резкие движения рук как бы отмечали ход мысли, выражение лица было суровым. Каждый присутствующий сознавал, что является свидетелем мыслительного процесса исключительной глубины, силы и концентрации.

Витгенштейн доминировал на этих встречах. Не думаю, чтобы кто-нибудь из его учеников мог не подпасть под его влияние в том или ином отношении. Только некоторым из нас удалось удержаться от копирования его манер, жестов, интонаций и восклицаний. Подобное подражание легко могло показаться смешным при сравнении с оригиналом.

На занятиях Витгенштейн наводил страх. Он был очень нетерпелив и легко раздражался. Если кто-нибудь чувствовал несогласие с тем, что он говорил, Витгенштейн настойчиво требовал от оппонента четко сформулировать свое возражение. Однажды, когда Йорик Смидис, старый друг Витгенштейна, не смог облечь свое возражение в слова, Витгенштейн грубо сказал ему: «С таким же успехом я мог говорить с этой печью!» Страх, вызываемый Витгенштейном, помогал неустанно поддерживать наше внимание. Это был важный результат, поскольку обсуждаемые проблемы были исключительно сложными, а подход Витгенштейна был труден для понимания. Я всегда сознавал, какое умственное напряжение требова-

лось, чтобы следить за ходом его мысли, и два часа занятий были почти на пределе моих возможностей.

Жесткость Витгенштейна была, как мне кажется, связана с его страстной любовью к истине. Он постоянно бился над разрешением сложнейших философских проблем. Решение одной проблемы влекло за собой другую. Витгенштейн был бескомпромиссен: он должен был достичь *полного* понимания. Он был в неистовстве. Все его существо находилось в величайшем напряжении. Ни от чьего взгляда не могло укрыться, что эта работа требовала предельной концентрации воли и интеллекта. Это было одним из проявлений его абсолютной, беспредельной честности. Главным образом его безжалостная честность, которая распространялась как на него самого, так и на окружающих, и была причиной того, что он действовал на людей устрашающе и часто бывал просто невыносим и как учитель, и в личных взаимоотношениях с людьми.

После лекций Витгенштейн всегда был в изнеможении. Он также испытывал чувство отвращения: он был недоволен и тем, что он говорил, и самим собой. Очень часто сразу же после окончания занятий он шел в кино. Как только его слушатели со своими стульями направлялись к выходу, он умоляюще смотрел на кого-нибудь из своих друзей и тихо говорил: «Пойдем в кино?» По пути в кинотеатр Витгенштейн обычно покупал булочку с изюмом или кусок пирога с мясом и ел их во время сеанса. Он любил сидеть в первых рядах, так, чтобы экран занимал все поле зрения. Это было необходимо для того, чтобы полностью отрешиться от мыслей о лекции и избавиться от чувства отвращения. Однажды он прошептал мне: «Это действует как душ». Во время фильма он был собран и не отвлекался. Он сидел сильно подавшись вперед и почти не отрывал глаз от экрана. Он не комментировал происходящее и не любил, когда это делали его спутники. Витгенштейн хотел полностью погрузиться в фильм, сколь бы заурядным и неестественным он ни был, чтобы его голова хотя бы на время освободилась от мыслей, которые преследовали его и не давали покоя. Он любил американские фильмы и не любил английских. Он склонялся к мысли, что не может быть приличного английского фильма. Это было связано с его отрицательным отношением к английской культуре и ментальности

в целом. Ему нравились такие кинозвезды, как Кармен Миранда и Бетти Хаттон. Перед своим приездом в Америку он в шутку просил меня, чтобы я познакомил его с мисс Хаттон.

Некоторые думают, что Витгенштейн читал свои лекции только для друзей и избранных. На самом деле на его лекции мог ходить любой, однако он требовал, чтобы занятия посещались регулярно в течение значительного периода времени. Он не разрешал приходить на одно-два занятия. На подобную просьбу он однажды ответил: «Мои лекции не для туристов». Мне известны два случая, когда он позволил кому-то ходить в течение одного семестра, но вообще он неохотно давал подобные разрешения. Это было разумно, поскольку спасало от наплыва большого числа любопытствующих. На самом деле надо было посещать лекции достаточно долго (по крайней мере в течение года), чтобы начать хоть *сколько-нибудь* разбираться в том, о чем говорил Витгенштейн.

Для него имело значение, ктó находился в его аудитории. Он любил обсуждать философские вопросы «с друзьями». Для него было важно видеть на занятиях несколько «дружеских лиц». Он часто говорил, что ему нравится какое-то определенное «лицо», и хотел, чтобы это лицо находилось в классе, даже если человек не говорил ни слова. Когда во время второй мировой войны он читал лекции по субботам, его занятия посещал американский солдат — негр. Витгенштейн не раз говорил о том, какое хорошее и доброе лицо было у этого солдата и как он был огорчен, когда тот перестал ходить. Обычно больше половины тех, кто приходил осенью на первую лекцию, прекращали посещение после пяти-шести встреч, потому что находили обсуждаемые проблемы малопонятными или малоинтересными, зато десять или пятнадцать оставшихся, напротив, относились к занятиям необычайно ревностно.

Бесчисленное количество раз я наблюдал на занятиях следующую забавную сцену: чтобы проиллюстрировать какое-то положение, Витгенштейн приводил пример и сам начинал улыбаться над бессмысленностью того, о чем в нем говорилось. Но если кто-нибудь из присутствующих реагировал подобным же образом, выражение лица у Витгенштейна становилось свирепым, и он сердито вос-

клицал: «Нет, нет, я серьезно!» То, о чем говорилось в примере, было так нелепо и так далеко от реальности, что сам Витгенштейн не мог не улыбнуться, однако цели, с которыми приводился пример, были, конечно, самыми серьезными. Витгенштейн не терпел на своих занятиях шутливого тона, характерного для философских разговоров, которые ведутся умными людьми, не ставящими перед собой никаких серьезных задач.

Здесь следует упомянуть, что Витгенштейн сказал однажды, что хорошая серьезная философская работа может целиком состоять из *шуток* (и не быть смешной). В другой раз он заметил, что философское сочинение может не содержать ничего, кроме вопросов (без ответов). В своих собственных работах он широко использовал оба приема. Например, «Почему собака не может притвориться печальной? Потому что она слишком честная?» («Философские исследования», § 250).

Витгенштейн знакомился со своими учениками, приглашая их поодиночке на чай. Я получил такое приглашение в 1939 году. Беседа не носила легкого характера: разговор был серьезным и часто прерывался молчанием. Единственная тема, которую я помню, была связана с моим будущим. Витгенштейн хотел убедить меня отказаться от намерения стать преподавателем философии. Он интересовался, не могу ли я вместо этого делать что-нибудь руками, например работать на ранчо или ферме. Он отрицательно относился к академической жизни в целом и к жизни профессионального философа в частности. Он считал, что человек не может быть университетским преподавателем и одновременно оставаться искренним и серьезным человеком. О Смидисе он однажды сказал: «Он никогда не будет читать лекций. Для этого он слишком серьезен». Витгенштейн не выносил общества своих ученых коллег. Несмотря на то что он был членом Совета Тринити, он никогда не посещал обедов. Он рассказывал мне, что пытался сделать это (существовал анекдот по поводу того, как однажды он получил выговор от заместителя начальника колледжа за то, что пришел на официальный обед без галстука), но был неприятно поражен искусственностью разговора. Он действительно *ненавидел* любые проявления притворства и неискренности.

Витгенштейн несколько раз возобновлял свои попытки убедить меня не делать философию своей профессией. То же самое он говорил и другим своим студентам.

Несмотря на эти свои убеждения, он помог мне остаться в Кембридже еще на шесть месяцев, чтобы я мог продолжить изучение философии. Это произошло следующим образом. Я находился в Кембридже как стипендиат Гарвардского университета. Стипендия давалась только на два года — не больше. Летом 1939 года финансирование прекращалось, и я должен был вернуться в Штаты. Но мне очень хотелось остаться еще на некоторое время. Меня очень интересовали идеи, имевшие хождение в Кембридже, и, кроме того, у меня было ощущение, что я наконец-то начал немного понимать то, чем занимался Витгенштейн, а мне хотелось понять как можно больше. Однажды в разговоре с Витгенштейном я упомянул о своем нежелании возвращаться в Штаты непосредственно по истечении срока. Витгенштейн расспросил меня обо всем. Затем он сказал, что я заметно «очарован» кембриджской философией и было бы неправильно отпустить меня в таком состоянии. Он имел в виду, что, если я останусь и узнаю о кембриджской философии больше, я уже не буду так очарован ею, — а это, по его мнению, было бы неплохо. Он решил, что он сам в продолжение шести месяцев сможет выдавать мне сумму, достаточную для проживания. Так оно и случилось. Он давал (а не одалживал) мне определенную сумму наличными каждый месяц с августа 1939 по январь 1940 года, когда я должен был вернуться в Штаты. Общая сумма за весь период составила около восьмидесяти фунтов. Он никогда не считал, что эти деньги должны быть возвращены.

В 1939 году я довольно часто сопровождал Витгенштейна на прогулках. Он заходил за мной сам. Обычно мы гуляли по Летнему выгону и далее вдоль реки. Прогулка с Витгенштейном была делом нелегким. О чем бы мы ни говорили, он начинал думать об этом с такой серьезностью и интенсивностью, что от меня требовалось большое напряжение, чтобы следить за ходом его мысли. Витгенштейн обычно ходил рывками, иногда останавливался, чтобы сказать что-то особенно важное, и при этом смотрел на меня своим пронизывающим взглядом. Затем он срывался с места, но через несколько ярдов замедлял

шаг, чтобы потом его ускорить или остановиться, и так до бесконечности. И это неравномерное продвижение вперед сопровождалось наисложнейшим разговором! Необычность и глубина мыслей Витгенштейна (независимо от обсуждаемой темы) требовали много от его спутника. Витгенштейн никогда не говорил об *общеизвестном*.

Когда он был в хорошем расположении духа, он восхитительно шутил. При этом он говорил заведомый абсурд самым серьезным тоном и с самым серьезным выражением лица. Так, на одной из прогулок он «дарил» мне все деревья, которые встречались на нашем пути, с тем условием, что я не могу срубить, или что-либо сделать с ними, или запретить их бывшим владельцам что-либо сделать с ними: при этих условиях они становились *моими*. Однажды, когда мы гуляли с ним поздно вечером, он, показав на Кассиопею, заметил, что она имеет форму буквы W, под которой скрывается его фамилия. Я же сказал, что, по моему мнению, это перевернутая буква M, что означает *Малкольм*. Он с полной серьезностью убеждал меня, что я ошибаюсь.

Но такие моменты были сравнительно редки. Чаще всего он был мрачен. Причиной такого угнетенного состояния духа была, я думаю, ощущаемая им невозможность достичь полной ясности в философских вопросах. Но больше всего его мучили, пожалуй, человеческая глупость и бессердечность, которыми наводнена наша жизнь и которые претендуют на уважение со стороны окружающих. Из того, что происходило вокруг и составляло обычный ход вещей, вряд ли что могло доставить ему радость, но многое вызывало в нем чувство, близкое к страданию. Часто во время наших прогулок он останавливался и восклицал: «О мой Боже!» При этом он жалобно смотрел на меня, как бы прося о божественном вмешательстве в людские дела.

Однажды во время прогулки вдоль реки на стенде у газетчика мы прочитали, что немецкое правительство обвиняет английское в причастности к недавней попытке убить Гитлера гранатой. Это было осенью 1939 года. Об этом утверждении немецкой стороны Витгенштейн сказал, что он бы не удивился, если бы это оказалось правдой. Я же возразил, что мне трудно поверить, чтобы верхушка английского правительства могла быть замешана в

этом. Я имел в виду, что англичане слишком цивилизованы и порядочны для того, чтобы заниматься подобными закулисными делами, и добавил, что это несовместимо с английским «национальным характером». Мои слова привели Витгенштейна в ярость. Он расценил их как величайшую глупость и свидетельство того, что занятия философией под его руководством ничему не научили меня. Он произнес все это с большим жаром, и, когда я отказался признать свое замечание глупым, он совсем замолчал, и вскоре мы расстались. Обычно он дважды в неделю перед своими лекциями заходил за мной на Честертон-роуд, чтобы немного прогуляться. После случившегося он перестал это делать. Как будет ясно из дальнейшего, он не забыл об этом происшествии и через несколько лет.

В 1939 году в Клубе Моральных Наук выступил Дж.Э. Мур, Витгенштейна в тот вечер не было. В своем докладе Мур стремился доказать, что человек может *знать*, что испытывает то или иное ощущение, например боль. Это противоречило взгляду, который впервые был изложен Витгенштейном, что понятия знания и достоверности не могут быть приложены к ощущениям (см. «Философские исследования», § 246). Некоторое время спустя Витгенштейн узнал о докладе Мура и «закусил удила». Он пришел на очередной муровский «вторник» к нему домой, где уже собрались Г.Х. фон Вригт, С. Леви, Смидис, я и, кажется, еще один-два человека. Мур еще раз прочитал свой доклад, и Витгенштейн сразу же набросился на него. Я никогда раньше не видел, чтобы во время дискуссии Витгенштейн был так возбужден. Он буквально горел и говорил быстро и с большой силой. Он задавал вопросы Муру, но делал это так быстро, что у того не было возможности ответить. В продолжение по крайней мере двух часов Витгенштейн говорил почти непрерывно, Муру удалось вставить буквально несколько замечаний, а остальным не удалось и того. Сила и блеск выступления Витгенштейна производили неизгладимое и даже устрашающее впечатление. Когда несколько дней спустя Витгенштейн говорил об этой встрече со Смидисом, тот заметил, что Витгенштейн вел себя довольно невежливо по отношению к Муру, так как не давал ему ответить. Витгенштейн посмеялся над мнением Смидиса,

посчитав его абсурдным. Однако, увидев в следующий раз Мура, Витгенштейн спросил у него: «Вам кажется, что я был тогда груб по отношению к вам?» Мур ответил утвердительно. Я слышал, что потом Витгенштейн извинился, но его извинения носили принужденный характер и звучали натянуто[1].

Зимой 1939 года Мур опять читал доклад в Клубе. Во время дискуссии Витгенштейн выступил с критикой Мура, пропустив при этом, как мне показалось, часть его рассуждений. Я высказался на этот счет, заметив, что, по моему мнению, критические замечания в адрес Мура не вполне справедливы. Сразу же после окончания заседания, когда присутствующие еще не разошлись, Витгенштейн подошел ко мне и со сверкающими от гнева глазами сказал: «Если вы вообще что-то знаете, вам должно было быть известно, что я никогда ни к кому не бываю несправедлив. Это говорит о том, что вы ничего не поняли из моих лекций». Я стоял как громом пораженный.

В тот же вечер или на следующий день я рассказал Смидису о случившемся и объяснил, что я отнюдь не имел в виду, что Витгенштейн вел себя нечестно по отношению к Муру, но просто хотел сказать, что он не обратил внимания на часть его рассуждений. Спустя день или два я неожиданно заболел гриппом. Мой молодой немецкий друг, Том Розенмейер, был обеспокоен тем, что за мной некому присмотреть, и, зная, что мы с Витгенштейном близкие друзья, направился к нему. Раньше он никогда не видел Витгенштейна. Когда Витгенштейн открыл дверь, Розенмейер сказал только: «Малкольм болен». Витгенштейн сразу же ответил: «Подождите, я сейчас». Они пришли вдвоем. Витгенштейн приблизился к моей кровати и сказал довольно суровым тоном: «Смидис считает, что я вас не понял, и если это так, то я прошу меня извинить». Затем он развернул бурную деятельность, чтобы создать мне в комнате максимум удобств, и взял на себя задачу доставить мне еду и лекарства. Я был

---

[1] Прочитав написанное выше, м-р Йорик Смидис сказал мне, что, насколько он может вспомнить сейчас, вопрос о «невежливости» впервые был поднят самим Муром, когда он случайно встретил Витгенштейна на улице, а уже затем Витгенштейн говорил об этом со Смидисом или Леви.

счастлив, что мы помирились. Примерно спустя неделю я уехал в Соединенные Штаты. Едва ли не самыми последними его словами перед моим отъездом были: «Надеюсь, что ваша жена не будет иметь никакого отношения к философии!»

Итак, в феврале 1940 года после двух с половиной лет пребывания в Кембридже я снова оказался в Соединенных Штатах. Мы с Витгенштейном поддерживали переписку. Я знал, что он был большим любителем журналов с детективами. Эти журналы во время войны невозможно было достать в Англии, и я периодически посылал Витгенштейну по нескольку номеров. Он предпочитал журналы издательства *Street & Smith*, где в каждом выпуске печатали несколько коротких детективных историй. Витгенштейн известил меня о получении журналов в письме из Кембриджа:

> Большое спасибо! Я знаю, что они чудесны. Мой критический взгляд видит это и без чтения, ведь мой взгляд — рентгеновский и проникает на глубину от 2 до 4000 страниц. Именно этим способом я добываю все свои знания.
>
> Пожалуйста, не беспокойся! Одного журнала в месяц достаточно. Если я буду получать больше, у меня не останется времени на философию. Прошу также, не трать деньги на журналы для меня и следи, чтобы *тебе* всегда хватало на еду!

В своих следующих письмах, которые я получал во время и после войны, Витгенштейн еще не раз писал о детективных журналах:

> Я в предвкушении твоих журналов. У нас здесь они ужасная редкость. Мой мозг на голодном пайке, а они *богаты* нужными витаминами и калориями.
>
> Окончание ленд-лиза затронуло меня только в одном: в этой стране исчезли детективные журналы. Одна надежда, что лорд Кейнс доведет это до сведения в Вашингтоне. Мое мнение таково: если США не будут поставлять нам журналы, мы не сможем поставлять им философию, и в итоге Америка окажется в убытке. Ну как?

Он сравнивал журналы *Street & Smith* с международным философским журналом *Mind*:

> Когда я читаю твои журналы, я часто задаю себе вопрос, как это люди читают *Mind* при всей беспомощности и несостоятельности этого журнала, в то время как они могли бы читать журналы *Street & Smith. Что ж, каждому свое.*

Два с половиной года спустя он возвращается к этому сравнению:

> Твои журналы превосходны. Меня поражает, как люди читают *Mind*, если можно читать *Street & Smith*. Если философия должна иметь какое-то отношение к мудрости, то ее нет ни грамма в журнале *Mind*, чего не скажешь о детективах.

Однажды Витгенштейну так понравился детектив, что он давал читать его Смидису и Муру и хотел, чтобы я узнал, какие еще произведения написал этот автор.

> Возможно, это покажется тебе ненормальным, но, когда я недавно перечитал повесть, я снова пришел в такой восторг, что мне даже захотелось написать автору и поблагодарить его. Если я спятил, то не удивляйся, ибо я таков.

Витгенштейн не раз в письмах предостерегал меня против опасности недобросовестного отношения к своим обязанностям, которая могла бы подстерегать меня как университетского преподавателя. Когда я написал, что мне присвоили докторскую степень по философии, он мне ответил:

> Поздравляю тебя с докторской степенью! Но помни: ты должен быть на высоте! Это значит, ты не должен дурачить ни себя, ни студентов. Ибо, если я не ошибаюсь, именно *этого* и будут ожидать от тебя. Будет *очень* трудно не делать этого, может быть, даже невозможно. В этом случае хватит ли у тебя сил *уйти*? На этом свою сегодняшнюю проповедь кончаю.

Письмо заканчивалось такими словами:

> Желаю тебе хороших, не обязательно умных, мыслей и несмываемой порядочности.

Когда осенью 1940 года я стал преподавать в Принстоне, Витгенштейн написал мне:

> Желаю тебе удачи, особенно в твоей работе в университете. Искушение обмануть самого себя будет у тебя *непреодолимым* (как и у любого другого на твоем месте). *Только чудом* ты сможешь работать честно, преподавая философию. Пожалуйста, помни эти мои слова, даже если ты забудешь все, о чем я тебе когда-либо говорил, и, если сможешь, не думай, что это мои причуды, ведь никто другой тебе этого не скажет.

Следующим летом я написал ему, что в Принстоне не смогут продлить мне еще срок работы больше чем на год и я должен буду идти в армию. Он мне ответил:

Мне искренне жаль, что через год ты не сможешь преподавать в Принстоне. Ты знаешь мое мнение относительно преподавания. Я не изменил его, но мне бы хотелось, чтобы ты распрощался с этой деятельностью по *разумным* причинам, а не по неразумным (в моем понимании «разумного» и «неразумного»). Я знаю, что ты будешь хорошим солдатом, и все же надеюсь, что необходимости в этом не возникнет. Мне бы хотелось, чтобы ты жил по возможности спокойно и был бы добрым и *понимающим* по отношению ко всем, кто нуждается в этом! Потому что все мы невероятно нуждаемся в этом.

Весной 1942 года я перестал быть преподавателем Принстонского университета и стал военным моряком. В течение следующих лет я писал Витгенштейну только от случая к случаю. Он всегда отвечал без задержек, и письма его были очень сердечными. Однажды он прислал мне книгу Готфрида Келлера *Hadlaub* в бумажном переплете. При этом он писал:

Посылаю тебе затертый экземпляр прекрасного немецкого романа. Я не смог достать хороший экземпляр — точнее, не имел времени искать что-то более приличное. Немецкие книги, как ты понимаешь, сейчас большая редкость. Возможно, она тебе покажется трудной или не понравится, но я надеюсь, что этого не случится. Пусть эта книга будет тебе подарком к Рождеству. Надеюсь, ты не обидишься, что она такая грязная. В этом есть свое преимущество: ты можешь читать ее в машинном отделении, не опасаясь, что загрязнишь ее еще больше. Если она тебе понравится, я постараюсь достать всю книгу, от которой присланная тебе составляет только одну часть. Их всего пять — под общим названием «Цюрихские новеллы». Все они так или иначе связаны с Цюрихом: Келлер был швейцарцем и одним из величайших немецких прозаиков.

Витгенштейн писал это письмо в ноябре 1942 года в Гай-госпитале в Лондоне, где часть войны проработал санитаром. В течение последующих двух лет письма приходили из Королевского лазарета Виктории в Ньюкасле-на-Тайне, где он работал в клинической исследовательской лаборатории. В одном из писем он высказывает сожаление по поводу того, что:

По внешним и внутренним причинам я не могу заниматься философией, а это единственное, что может дать мне настоящее удовлетворение. Никакая другая работа не трогает меня. Сейчас я постоянно занят, голова моя все время работает, но к концу дня я чувствую только усталость и тоску. Но, *возможно*, хорошие времена вернутся опять... Я сейчас очень

редко бываю в Кембридже — приблизительно раз в три месяца. Я отказался от своих комнат в Кембридже. Конечно, после войны я надеюсь снова вернуться туда и работать профессором, хотя, должен сказать, не совсем представляю себе, как я буду этим заниматься. Я сомневаюсь, смогу ли я регулярно проводить занятия по философии. Я склоняюсь к мысли, что, скорее всего, не смогу.

Три месяца спустя он пишет мне оттуда же:

Я все еще на своей прежней работе, но, возможно, скоро уеду отсюда, поскольку мой начальник идет в армию, и либо все исследовательское подразделение прекратит свое существование, либо появится новый начальник. Я чувствую себя здесь одиноким и, возможно, попытаюсь поехать туда, где будет с кем поговорить. Например, в Суонси, где Рис преподает философию.

Возможно, я ответил Витгенштейну не скоро, потому что его следующее письмо было отправлено почти через год, в ноябре 1944-го. Он возвратился в Тринити-колледж, Кембридж. В этом письме Витгенштейн вспоминает нашу ссору по поводу предполагаемого участия Англии в покушении на Гитлера:

Спасибо за твое письмо от 12 ноября, оно пришло сегодня утром. Я был очень рад получить его. Я думал, что ты совсем забыл меня или, возможно, хотел забыть. У меня есть особые причины так думать. Каждый раз, когда я думал о тебе, я не мог не вспомнить о случившейся между нами размолвке, которая кажется мне очень важной. Мы шли с тобой вдоль реки по направлению к железнодорожному мосту и горячо спорили. Ты высказал мысль о «национальном характере», которая поразила меня своей ограниченностью. Я подумал тогда: какой смысл изучать философию, если все, что она дает тебе, сводится к умению с определенной долей уверенности рассуждать о некоторых сложных логических проблемах, но не оказывает положительного влияния на твою способность мыслить о важных вопросах повседневной жизни, если ты не становишься более сознательным, чем какой-нибудь... журналист, в использовании *опасных* фраз, которые употребляют люди в своих личных целях. Я знаю, что, конечно, трудно думать по-настоящему о таких проблемах, как «достоверность», «вероятность», «восприятие» и т.д. Но еще более трудно, если вообще возможно, думать или *стараться* думать действительно честно о своей жизни и о жизни других людей. Дело в том, что думать об этом *не доставляет* радости, а часто даже просто вызывает отвращение. И когда это вызывает отвращение, именно это и является *самым* важным. Впрочем, довольно поучений. Вот что я хочу тебе сказать: я бы *очень* хотел увидеть тебя опять, но, если мы встретимся,

было бы неверно избегать разговоров о серьезных вещах, не имеющих отношения к философии. В силу присущей мне робости я не люблю конфликтов, особенно с людьми, которых я люблю. Но лучше уж конфликт, чем просто поверхностная беседа. И вот когда ты постепенно перестал писать мне, я подумал, что это случилось потому, что ты почувствовал, что, если бы нам пришлось копнуть поглубже, мы бы не сошлись во взглядах по многим серьезным вопросам. Возможно, я абсолютно не прав. Но в любом случае, если нам суждено увидеться снова, давай не будем бояться глубины. Нельзя мыслить честно, если боишься причинить себе боль. Я говорю со знанием дела, потому что сам часто грешу этим... Надеюсь, что мое письмо не испортило тебе настроения. Удачи тебе!

Когда полгода спустя (в мае 1945-го) мой корабль пришел в Саутгемптон, я получил увольнение на тридцать пять часов и смог посетить Кембридж. Я встретился с Витгенштейном днем и остался с ним поужинать. Наша встреча протекала трудно и была тягостной. Он не проявил совершенно никакой сердечности. Он даже не поприветствовал меня. Он просто кивнул — довольно угрюмо — и предложил сесть (это было в его комнатах в Уэвелл-Корт, Тринити). Мы долго сидели молча. Когда же он начал говорить, я, сколько ни старался, не мог уловить смысла его слов. У меня было ощущение, что за годы службы моя голова стала хуже работать. Он был холоден и суров в продолжение всей встречи. Между нами совсем не было контакта. Он приготовил ужин. Яблоком раздора стал омлет из яичного порошка. Витгенштейн спросил, нравится ли мне омлет, я, зная, что он ценит искренность, ответил, что, по моему мнению, омлет ужасный. Ему не понравился мой ответ. Он пробурчал что-то в том смысле, что если омлет достаточно хорош для него, то мог быть достаточно хорош и для меня. Позже он рассказал об этом Смидису, по словам которого, Витгенштейн воспринял мое отрицательное отношение к омлету как свидетельство того, что я стал снобом.

На следующий день после встречи Витгенштейн получил мое письмо, которое было отправлено несколько недель назад и представляло собой ответ на его письмо, которое я цитировал выше последним. Кажется, я согласился с тем, что мои замечания о «национальном характере» были неумны (я сам пришел к такому выводу), и высоко отозвался о том, что он написал мне. Как бы то ни было, он мне ответил немедленно. Он писал, что, если бы

получил письмо «до того, как мы встретились, нам было бы значительно легче установить контакт». И далее:

> Мне кажется, что у тебя и у меня было много что сказать друг другу при встрече. Если ты мне напишешь — а я надеюсь, что именно так и будет, — обращайся ко мне просто по имени, и, если позволишь, я буду делать то же самое. Если это покажется тебе глупым или в чем-то неправильным, прямо скажи мне об этом. Меня это не обидит.

В письме, посланном через месяц, я писал о войне как о «скучном деле». Витгенштейн на это ответил:

> Я бы хотел высказать свое мнение по поводу войны как «скучного дела». Если школьник говорит, что ему скучно в школе, на это ему могут возразить, что, если бы он смог заставить себя получить от школы все, что там могут ему дать, он бы не думал, что там *так уж* скучно. Прости, что я об этом говорю, но я убежден, что на войне можно очень много узнать о людях — *если*, конечно, держать глаза открытыми. И чем больше ты будешь размышлять, тем больше ты сможешь почерпнуть из увиденного. В этом отношении мышление подобно *пищеварению*. Если я читаю тебе наставление, я просто осел. Однако факт остается фактом: если тебе скучно, это значит, что твой мозг не усваивает того, что должен усваивать. Я думаю, что хорошее средство от этого — время от времени открывать глаза пошире. Иногда может помочь книга, например «Хаджи-Мурат» Толстого. Если ты не сможешь найти эту книгу в Америке, сообщи мне. Я *постараюсь* достать ее здесь.

Он выслал мне эту книгу и в следующем письме пишет о ней: «Надеюсь, что ты много почерпнешь из нее, потому что много *в* ней самой». Об авторе книги — Толстом — он говорит следующее: «Это *настоящий* человек, у него есть *право* писать». В ответ на одно мое наблюдение он говорит в том же письме: «Мне кажется, я понял, почему корабль не лучшее место для «размышлений», — это *помимо* того факта, что ты очень занят».

Когда мы позднее разговаривали с Витгенштейном о его собственной службе в период первой мировой войны, он подчеркнул, что ему никогда не было скучно, и, насколько я помню, даже сказал, что военная служба не была ему в тягость. Он рассказал о том, как он носил в своем походном ранце записную книжку и, когда у него была свободная минута, записывал туда мысли, которые составили его первую книгу — «Логико-философский трактат».

В том письме, где Витгенштейн впервые упоминает о «Хаджи-Мурате», он пишет также о ходе подготовки своей новой книги — «Философские исследования»:

> Моя работа идет чертовски медленно. Мне бы хотелось подготовить книгу к публикации к следующей осени, но, возможно, из этого ничего не выйдет. Из меня *ужасно* плохой работник!

Два месяца спустя, в августе 1945-го, он пишет:

> Я хорошо поработал в предыдущем академическом году, я имею в виду, поработал на себя, и если все будет идти хорошо, я смогу опубликовать свою книгу к Рождеству. Не то чтобы написанное мною было хорошо, но оно хорошо настолько, насколько это почти вообще в моих силах. Думаю, что, когда работа будет закончена, я смогу более подробно написать о ней.

Однако в следующем месяце он пишет:

> Моя работа идет не очень хорошо, отчасти из-за того, что меня начала беспокоить одна почка. Ничего серьезного, но это приводит меня в дурное расположение духа и делает нервным. (Я всегда найду себе какое-то оправдание.)

Две недели спустя он пишет:

> Моя книга постепенно приобретает свою окончательную форму, и, если ты будешь хорошим мальчиком и приедешь в Кембридж, ты сможешь ее прочитать. Возможно, она разочарует тебя. Сказать по правде, она и впрямь паршивая. (Это не значит, что я смог бы каким-то образом существенно улучшить ее, если бы работал над ней еще 100 лет.) Это, однако, не беспокоит меня. Гораздо больше беспокоит меня то, что я слышу о Германии и Австрии. Эти воспитатели немцев действуют превосходно. Жаль, что немного останется тех, кто будет наслаждаться плодами перевоспитания.

Он добавляет:

> Я рад был узнать, что скоро твоя служба во флоте заканчивается, и надеюсь, что ты приедешь в Кембридж до того, как я приму окончательное решение оставить бессмысленную работу преподавателя философии. Это как смерть заживо.

Четыре месяца спустя он пишет:

> Мои лекции начинаются через 3 дня. Я буду говорить много ерунды. Было бы хорошо, если бы ты смог приехать в Кембридж на целый академический год перед тем, как я по-

дам в отставку. Это был бы хороший ход и достойное завершение моей сомнительной профессиональной карьеры.

Я прочитал роман Толстого «Воскресение», и на меня большое впечатление произвело рассуждение, которым начинается глава LIX: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т.д.» Я процитировал это рассуждение Витгенштейну, и он следующим образом отреагировал на него:

Однажды я начал читать «Воскресение», но не смог. Видишь ли, когда Толстой просто повествует о чем-либо, он воздействует на меня бесконечно сильнее, чем когда он адресуется читателю. Когда он поворачивается к читателю спиной, тогда он производит *наиболее* сильное впечатление. Возможно, однажды мы сможем поговорить об этом. Его философия представляется мне самой верной, когда она *скрыта* в повествовании.

В другом письме он пишет:

На днях я прочитал «Жизнь священника» Джонсона, и эта книга мне очень понравилась. Как только я приеду в Кембридж, я вышлю тебе небольшую книгу Джонсона «Молитвы и медитации». Возможно, она тебе совсем не понравится, а может быть, и понравится. Мне понравилась.

Он действительно послал мне эту книгу, написав при этом:

Это та маленькая книжка, которую я обещал выслать. По-моему, ее сейчас не издают, поэтому посылаю тебе свой собственный экземпляр. Хочу сказать, что обычно я не могу читать напечатанных молитв, но Джонсон покорил меня своей *человечностью*. Думаю, ты поймешь, что я имею в виду, когда сам их прочитаешь. Впрочем, они могут тебе и не понравиться. Потому что ты, вероятно, не будешь смотреть на них под тем *углом*, под которым смотрю я. (А может быть, и будешь.) Если книга тебе не понравится, выброси ее. Только сначала вырви лист с моим посвящением. Ибо когда я стану очень знаменитым, этот автограф приобретет большую ценность, и твои дети смогут продать его за хорошие деньги.

В письме из Уэльса он пишет:

У хозяина дома, в котором я живу, есть новый американский перевод Библии. Мне не понравился перевод Нового завета (сделанный Э.Дж. Гудспидом), но перевод Ветхого заве-

та (коллективный) многое прояснил для меня и кажется мне достойным чтения. Возможно, ты его когда-нибудь увидишь.

Я начал читать Фрейда, нашел его просто великолепным и написал об этом Витгенштейну. Он ответил (декабрь 1945-го):

На меня Фрейд тоже произвел большое впечатление, когда я впервые прочитал его. Он выдающийся человек. Однако у него много сомнительных идей, а интерес, который вызывает он вкупе с изучаемым им предметом, так велик, что легко впасть в заблуждение. Он всегда подчеркивает, как сильно наше сознание и существующие предрассудки работают против идеи психоанализа. Но он никогда не говорит о той огромной привлекательности, которой обладают для людей, да и для него самого, эти идеи. Могут существовать сильные предубеждения, препятствующие приоткрыванию чего-либо запретного, но иногда это гораздо больше *привлекает*, чем отталкивает. Если не обладать *большой* ясностью мысли, психоанализ может стать опасным и бесчестным занятием, от него будет очень много вреда и соответственно очень мало пользы. (Если ты думаешь, что я старая дева преклонных лет, — можешь думать и дальше!) Все это, конечно, нисколько не умаляет выдающихся научных достижений Фрейда. Жаль только, что выдающиеся научные достижения сегодня используются против человека (против его тела, души и *разума*). *Поэтому береги свои мозги.*

Весной 1946 года Витгенштейн пишет:

Моя голова сейчас *очень* не в порядке. Я уже тысячу лет не занимался никакой серьезной работой, помимо своих учебных занятий. В прошлом триместре они шли хорошо. Но что касается моих мыслительных способностей, я чувствую, что у меня все сгорело, как будто на пепелище остались стоять только четыре стены да валяются обуглившиеся головешки. Будем надеяться, что я немного войду в норму к тому времени, когда ты появишься здесь!.. Завтра моя первая лекция. *К черту!!*

Он добавляет:

Желаю тебе лучшей головы и лучшего сердца, чем у меня.

Наша переписка закончилась, потому что осенью 1946 года я с семьей прибыл в Кембридж, где оставался в течение года, который оказался последним годом пребывания Витгенштейна на кафедре. Один или два раза в неделю Витгенштейн приходил в наш дом на Серль-стрит, около Джесус-Грин. Поначалу он с подозрением относил-

ся к моей жене, которую раньше не видел (так он относился ко всем «профессорским женам»), но скоро это прошло. Когда он ужинал с нами, он иногда изъявлял настойчивое желание вымыть потом посуду. Он был убежден, что это может быть более эффективно проделано с помощью душа, когда фонтанирует непрерывный поток горячей воды. Так он мыл посуду не один раз, несмотря на то что ему было трудно нагибаться. У Витгенштейна были очень высокие критерии чистоты. Он нервничал, если считал, что мы моем посуду без достаточного количества мыла и чистой горячей воды. Он подарил моей жене щетку для мытья посуды в порядке усовершенствования кухонной тряпки.

В течение трех триместров этого года Витгенштейн читал лекции на темы, связанные с философией психологии. Я записал первые две или три лекции, но потом перестал это делать, когда обнаружил, что Витгенштейн адресует мне очень много вопросов и я не могу ответить ничего вразумительного, если в этот момент пишу. (Питер Гич записал все лекции, и эти записи сохранились.) В конце одного из первых занятий Витгенштейн сказал мне, что ждет от меня активного участия в дискуссиях. Я решил делать максимум того, что могу, и во время занятий в течение всего года изо всех сил старался следить за развитием его мысли; напряжение было столь велико, что к концу второго часа мой мозг просто отказывался что-либо воспринимать. Эти занятия были более интересны для меня, чем семь лет назад. Я понимал идеи Витгенштейна лучше, хотя все еще не вполне хорошо, и мне поразительно ясны были удивительная глубина и оригинальность его мышления. Часто после лекции я коротко записывал резюме того, что было мной понято. Я приведу отрывки из моих записей нескольких лекций, чтобы дать представление о тех вопросах, которые задавал Витгенштейн, и тех мыслях, которые возникали у него в ответ на эти вопросы. Эти записи не были нацелены на дословную передачу услышанного, хотя частично могут оказаться таковыми. Они были просто кратким изложением тех идей, которые на лекции произвели на меня наиболее сильное впечатление. Эти записи делались не сразу — не в течение нескольких часов после лекции и часто даже не в течение первых одного или двух дней.

На одной из лекций Витгенштейн говорил о понятии *объяснения* использования слова:

> В определении данного цвета как красного (а также в феномене идентификации чего-либо вообще) есть что-то необычное и не поддающееся описанию. Обычно считают, что можно научиться идентифицировать красный цвет просто путем зрительного восприятия красного. Но что, если я ударю кого-то по голове, после чего он станет правильно использовать слово «красный»? Будет ли это объяснением того, что такое красное? Конечно, нет. Объяснением является *далеко не все*, что вызывает понимание. Так же, как *далеко не все,* что открывает дверь, является ключом.
>
> Человек может сказать: «Я знаю, что эта книга красная, потому что у меня есть ментальный образ красного». Но откуда ему известно, что он правильно помнит этот образ? И как именно он сравнивает этот образ с книгой?
>
> Объяснение не может быть чем-то личным. Оно должно быть всеобщим. Объяснение должно давать технику достижения чего-либо. Оно должно указывать путь. Оно должно задавать способ использования нужного слова.
>
> Поэтому, если кто-либо говорит: «Я могу показать (объяснить) себе, что такое мышление, хотя не могу показать (объяснить) этого кому-либо другому», — мы должны ответить, что он, конечно, может делать что-то, что позволяет ему правильно использовать нужное слово, но это может совсем не иметь отношения к тому, что мы называем «объяснением» или «показом».
>
> На предложенный нами метод может последовать такое, например, возражение: «Если кто-то спрашивает, что такое *время*», вы в ответ спрашиваете: «Как мы измеряем время?» Однако время и измерение времени — две разные вещи. Это как если бы кто-нибудь спросил: «Что такое книга?» — а вы бы ответили: «Как можно приобрести книгу?» Это возражение основано на следующем допущении: мы знаем, что такое время, и знаем, что такое измерение, поэтому мы знаем, что такое измерение времени. Но это не так. Если я научил вас измерять длину, а потом сказал: «А теперь идите и измерьте время», это будет бессмысленно.
>
> Представьте себе племя людей, которые измеряют размер земельных участков количеством шагов при ходьбе. Если измерение одного и того же участка даст разные результаты, это их не смутит, — даже если от этого будет зависеть размер оплаты. Но если там появитесь вы и скажете, что знаете лучший способ измерения — при помощи рулетки, — это их, возможно, нисколько не заинтересует. Они могут сказать: «Что за странный метод, который требует столь сложного приспособления и к тому же всегда дает один и тот же результат! Наш метод намного лучше!»
>
> В их жизни не существует представления о более точном измерении, и поэтому отсутствует представление о том, что такое *настоящая* длина. Если мы скажем: «Они должны

иметь понятие о настоящей длине», то только потому, что имеем при этом в виду более сложно организованную систему жизни, где одному способу измерения оказывается предпочтение в сравнении с другим. Но все это не имеет никакого отношения к жизни этого племени.

В другой раз Витгенштейн размышлял о том, как мы можем знать о положении нашего тела и конечностей:

Для того чтобы совершить задуманное движение рукой, я должен знать, в каком положении она находится и двинул ли я ее. Но откуда мне известно положение моей руки, если я не смотрю на нее и не прикасаюсь к ней другой рукой? Откуда мне известно, например, что мои пальцы согнуты? Возникает искушение ответить: «Я чувствую, что они согнуты». Это странный ответ. Ибо испытываете ли вы всегда какое-то определенное ощущение, когда ваши пальцы согнуты? Фиксируете ли вы всегда это ощущение? И каково вообще это ощущение?

Ощущение того, что мои пальцы согнуты — может ли оно быть больше или меньше, может ли оно быть *градуируемо,* как ощущение температуры или давления? Нет. Это должно продемонстрировать, что «Я чувствую, что мои пальцы согнуты» значит ровно «Я знаю, что мои пальцы согнуты». Если мы постараемся определить, какие ощущения температуры, давления и т.д. соответствуют описанию того ощущения, что мои пальцы согнуты, то обнаружим, что трудно сказать, каковы именно эти ощущения, и, более того, обнаружим, что мы вообще редко их испытываем.

Конечно, *могут* быть случаи, когда я знаю о положении своей руки благодаря ощущению. Так же, если мне сделают обезболивающий укол в руку, то я могу *не* знать о ее положении. Но из этого не следует, что обычно я знаю о положении своей руки благодаря определенным ощущениям.

Вопрос «Откуда я знаю, что мои пальцы согнуты?» очень похож на вопрос «Откуда я знаю, где у меня болит?» Мне не нужно, чтобы мне показывали, где у меня болит. Мой указующий жест и словесное описание *локализует* боль. Точно так же мне не нужно разузнавать, каково положение моего тела.

А вот записи другой лекции:

Существует философский вопрос о том, что *на самом* деле видит человек. Видит ли он на самом деле глубину, физические объекты, горе, лицо и т.д.? Возникает искушение сказать, что все это есть «интерпретация», «гипотеза» и т.д. и что на самом деле человек видит плоскую поверхность цветных пятен.

Однако если меня попросят описать то, что я вижу, я прибегну к обозначениям физических объектов, например: «Я вижу желтовато-коричневую поверхность стола, на нем

ближе к правому краю стоит пузырек чернил» и т.д. Я не могу описать это, обращаясь только к цветным пятнам.

Может возникнуть мысль, что если нельзя описать это словами, так по крайней мере это можно нарисовать. Однако на самом деле я вряд ли вообще смогу рисовать, если я не знаю, какие физические *объекты я рисую*.

Критерием того, что я правильно нарисовал то, что я вижу, является то, что я *говорю*, что это так. Я могу что-то изменить в рисунке, но буду продолжать настаивать, что это в точности то, что я вижу.

Мы склонны предполагать наличие *идеальной* модели или *идеального* описания того, что человек видит в каждый данный момент. Но на самом деле такого идеального описания не существует. Есть разнообразные варианты того, что мы называем «описаниями» того, что мы видим. Все они *грубые*. «Грубые» здесь — *не* в смысле «приблизительные». Представление о том, будто бы существует определенное точное описание того, что видит человек в каждый данный момент, неверно.

На одной из лекций Витгенштейн сделал несколько общих замечаний о характере своего философского метода:

То, что я делаю, — это даю морфологию употребления выражения. Я демонстрирую, что оно имеет такие способы употребления, которые вам и в голову не приходили. Занимаясь философией, человек принужден смотреть на понятия определенным образом. То, что делаю я, — это пробую или даже ввожу другие способы их рассмотрения. Я предлагаю такие варианты, о которых вы даже не думали. Вы думали, что существует только один вариант или от силы два. Но я заставил вас думать о других. Более того, я заставил вас понять, что нелепо было бы ожидать, чтобы понятие вмещалось в узкие заданные рамки. Ваша мысль освобождается от оков, и вы свободны взглянуть на весь спектр употребления выражения и описать различные способы его употребления.

Помимо посещения лекций Витгенштейна, у нас с ним еще были частные занятия один раз в неделю в дневное время. Витгенштейн предложил мне совместно читать его книгу. Он дал мне напечатанный на машинке экземпляр. Это была работа, опубликованная после его смерти как Часть I «Философских исследований». Наши еженедельные встречи проходили следующим образом: мы усаживались в его гостиной в придвинутых друг к другу шезлонгах, так что могли читать один экземпляр. Начиная с самой первой страницы, Витгенштейн сначала читал предложение по-немецки, потом переводил его на английский, потом коротко объяснял его смысл. Затем он

переходил к другому предложению и так далее. При следующей встрече он начинал с того места, где остановился в прошлый раз. Поначалу мне нравился этот метод. Витгенштейн однажды сказал: «Я делаю это затем, чтобы был по крайней мере один человек, который поймет мою книгу, когда она будет опубликована». Однако спустя некоторое время я почувствовал, что этот метод ставит слишком тесные границы. Мне хотелось обсуждать различные философские вопросы, которые в то время волновали меня. И в самом деле, постепенно наши занятия утратили свой жесткий заданный характер, а наши дискуссии стали более свободными.

Однажды во время нашей встречи он высказал поразительное наблюдение о философии: «Человек, запутавшийся в философской проблеме, подобен человеку, который хочет выбраться из комнаты, но не знает как. Он пробует через окно, но оно слишком высоко. Пробует через камин, но он слишком узок. Но если бы он только *повернулся вокруг*, он бы увидел дверь, которая все время была открыта!» Эта мысль перекликается с содержанием § 108, 123 и 309 «Философских исследований». (Витгенштейн однажды на лекции отметил, что существует сходство между его представлением о философии (например, «проблемы разрешаются не путем поиска нового, а путем упорядочивания того, что мы уже знаем», «Философские исследования», § 109; «работа философа заключается в собирании с особой целью своих воспоминаний», там же, § 127) и сократическим учением о знании как припоминании; впрочем, он считал, что в этом последнем заключены также и другие возможности.)

Приблизительно после двух часов чтения или обсуждения мы обычно шли на прогулку, а затем пили чай в «Лайонзе» или в ресторане над «Королевским» кинотеатром. Иногда мы шли ужинать ко мне на Серль-стрит. Однажды после ужина Витгенштейн, я и моя жена пошли гулять на Летний выгон. Мы говорили о движении тел Солнечной системы. Витгенштейну пришло в голову, что мы втроем можем изобразить движение Солнца, Земли и Луны в их связи между собой. Моя жена, равномерно двигаясь по полю, изображала Солнце. Я, изображая Землю, быстро вращался вокруг нее. Витгенштейн взял на себя самую сложную задачу: изображая Луну, он бе-

гал вокруг меня, в то время как я вращался вокруг своей жены. Витгенштейн отдался этой игре с величайшей серьезностью и энтузиазмом, на бегу он еще выкрикивал нам свои инструкции. Под конец он совершенно изнемог: у него перехватило дыхание и закружилась голова.

Витгенштейн любил ярмарки, которые иногда устраивались на Летнем выгоне. Он любил играть в игру, где надо было пустить пенсовую монетку так, чтобы она докатилась до призов. Он отказывался от любых попыток придать необходимое направление движению монетки, даже закрывал глаза перед тем, как пустить ее, ибо «все должно быть отдано на волю случая». Он не одобрил, когда моя жена попыталась направить движение своего пенни. Он уговаривал меня бросать мячи в цель, приходил в восторг, когда это мне удавалось, а после этого расхваливал мои самые скромные достижения.

Однажды во время нашей беседы Витгенштейн обрадовался, услышав, что мне знакомы «Двадцать три сказки» Толстого. Витгенштейн был очень высокого мнения о них. Он задал мне несколько вопросов, чтобы выяснить, понял ли я мораль притчи «Много ли человеку земли нужно?». В самом начале нашего разговора Витгенштейн был холоден со мной: не помню уже, по какой причине он был недоволен мной. Но как только он обнаружил, что я читал, понял и оценил рассказы Толстого, он стал дружелюбен и оживлен. Витгенштейн восхищался также произведениями Достоевского. Он читал «Братьев Карамазовых» огромное количество раз, но однажды сказал, что величайшим произведением Достоевского являются «Записки из мертвого дома».

В том учебном году Витгенштейна уговорили проводить «домашние встречи». Они проходили по субботам с пяти до семи. На них обсуждались философские вопросы, поднимаемые присутствующими. Хотя эти встречи носили менее формальный характер, чем его занятия, в том смысле, что опоздание не расценивалось как преступление и не требовалось постоянного посещения, тем не менее их атмосфера была серьезной вплоть до торжественности. Обычно приходило где-то около полудюжины людей. Пока мы собирались, Витгенштейн в молчании сидел в своем «рабочем» шезлонге, ни с кем не здороваясь. Его лицо было сурово, он явно был погружен в глу-

бокое размышление. Никто не осмеливался нарушать молчание какой-нибудь незначащей репликой. Мы сидели тихо, как будто были поглощены мыслью. Питер Гич однажды заметил, что все это напоминает религиозное собрание квакеров. Надо было иметь смелость нарушить молчание и предложить тему. Когда это происходило, Витгенштейн сразу становился весь внимание, старался ухватить смысл вопроса, расширить или переформулировать его, связать его с другими вопросами, на первый взгляд сюда не относящимися, и, как всегда, благодаря своей страстности и силе делал вопрос поразительно интересным. На этих встречах наиболее часто, пожалуй, затрагивались проблемы эстетики. Глубина и богатство мыслей Витгенштейна об искусстве были просто поразительны.

На одной из таких встреч Витгенштейн загадал загадку с целью несколько приблизить нас к пониманию природы философии. Представьте себе, что Землю по экватору опоясали веревкой. Теперь представьте, что веревку удлинили на один ярд и она продолжает оставаться в натянутом состоянии. На каком расстоянии от Земли она окажется? Не останавливаясь, чтобы подумать, каждый из присутствующих готов был ответить, что это расстояние окажется настолько *ничтожным*, что останется незаметным. Но этот ответ является ошибочным. На самом деле расстояние от Земли составит около шести дюймов. Витгенштейн сказал, что ошибка того же *рода* встречается в философии. Она заключается в *запутывающем воздействии картинки.* В загадке картинкой, которая сбивает нас с толку, является сравнение дополнительного куска веревки с длиной целой веревки. Впрочем, сама картинка верна: кусок веревки длиной в один ярд составит ничтожную часть от общей длины веревки. Однако картинка ведет нас к ложному заключению. То же самое происходит и в философии: нас постоянно вводят в заблуждение ментальные картины, которые сами по себе правильны. Это был рисунок Земли в форме шара с людьми на верхнем и противоположном нижнем полушариях. Витгенштейн отметил, что этот рисунок сам по себе не содержит ошибки, но он заставляет нас думать, что жители противоположного полушария действительно на-

ходятся под нами и висят вниз головами. (Этот рисунок обсуждается в § 351 «Философских исследований».)

В тот год Витгенштейн уделял много времени своим ученикам. Дважды в неделю он читал лекции по два часа каждая, еженедельно проводил двухчасовые домашние встречи, раз в неделю встречался со мной, с Элизабет Энском и В.А. Хайджабом и, наконец, обычно посещал еженедельные вечерние заседания в Клубе Моральных Наук. Атмосфера дискуссий на этих заседаниях была в высшей степени чужда Витгенштейну. Он ходил туда только из чувства долга, считая, что должен делать все от него зависящее, чтобы дискуссия прошла с максимальной пользой. После того как оканчивалось чтение доклада, Витгенштейн неизменно брал слово первым и лидировал в дискуссии все время, пока находился в зале. Он считал, как он говорил мне, что для Клуба не совсем хорошо, что он играет там слишком большую роль, но, с другой стороны, он не мог бы принимать участие в дискуссии только в полсилы. Он решил уходить с заседаний по истечении полутора-двух часов. Результат был следующий: обсуждение было живым и содержательным, когда присутствовал Витгенштейн, и сразу же шло на спад и становилось пустым, как только он уходил.

Во время всех этих контактов: лекций, домашних заседаний, частных бесед и встреч в Клубе — Витгенштейн щедро делился своими мыслями. У него никогда не было желания сохранить свои исследования в тайне. Более того, во время каждой подобной встречи Витгенштейн старался *творить*. Он демонстрировал величайшее напряжение воли и духа. Когда он был занят какой-то проблемой, у окружающих часто возникало ощущение, что они являются свидетелями самого настоящего страдания. Витгенштейн любил проводить аналогию между философским размышлением и плаванием: как находящееся в воде человеческое тело стремится к поверхности и человеку нужно определенное *усилие*, чтобы достичь *дна*, — точно так же обстоит дело и в философии. Витгенштейн заметил однажды, что, по его мнению, степень величия человека определяется тем, чего ему *стоила* его работа. Не подлежит никакому сомнению, что философская деятельность Витгенштейна стоила ему самому очень много.

Витгенштейн имел удивительный дар отгадывать мысли человека, с которым он вел разговор. В то время как его собеседник тщетно пытался хоть как-то выразить свою мысль, Витгенштейн быстро схватывал суть дела и давал словесную формулировку. Эта его способность, которая иногда казалась сверхъестественной, являлась, я уверен, следствием его постоянных неустанных размышлений. Он знал о том, что думает другой, потому что *сам* бесчисленное количество раз путешествовал по всем изгибам и ответвлениям мысли. Он сказал мне однажды, что считает весьма маловероятным, что на его занятиях кто-нибудь может подумать о том, о чем он сам еще не думал. И это не было бравадой.

Такая насыщенная жизнь требовала от него большого напряжения. Иногда он оказывался в сомнении, должен ли он при этом еще идти навстречу другим просьбам. Так, один человек пересек чуть ли не полмира, принеся значительные жертвы, только чтобы учиться у Витгенштейна. Помимо лекций, он хотел частным образом встречаться с Витгенштейном для философских бесед. Витгенштейн мучился сомнениями относительно этой просьбы. Он чувствовал себя как бы обязанным пойти навстречу, но, с другой стороны, считал, что должен беречь силы. Кажется, дело в конце концов окончилось отказом. Однако в правилах Витгенштейна было всегда рассматривать подобные вопросы, так как он считал это своим долгом.

На окраине Кембриджа находился лагерь для немецких военнопленных. Витгенштейн сам был в плену во время первой мировой войны и хотел сделать что-либо для облегчения участи этих людей. Он взял меня с собой, когда пошел в лагерь. Он получил разрешение встретиться с представителем заключенных. В результате этой встречи, кажется, Витгенштейн передал в лагерь несколько музыкальных инструментов и организовал там выступление музыкантов.

В ту зиму произошел случай, который глубоко взволновал и расстроил Витгенштейна. Некий философ опубликовал в одном литературно-критическом журнале статью, представлявшую собой популярный очерк современной английской философии. О Витгенштейне в статье было сказано, что характер его философских изысканий после публикации «Трактата» остается неизвестным, но

если судить по работам его главного последователя, философия в руках Витгенштейна стала чем-то вроде психоанализа. Кто-то показал эту статью Витгенштейну, и он страшно возмутился. Он сказал, что автор, похоже, совсем не знаком с направлением его мысли. Витгенштейна привела в ярость не только такого рода нечестность автора, но и усматриваемый им в статье намек на то, что будто бы он держит свои исследования в секрете. Витгенштейн сказал, что всегда рассматривал свои лекции как форму публикации. (Я должен здесь заметить, что два тома материалов, продиктованных им студентам, известных как «Голубая книга» и «Коричневая книга», будучи размноженными на мимеографе или на машинке, передавались из рук в руки и были широко известны английским философам.) Его также рассердило предположение, будто бы философия у него является разновидностью психоанализа. Ранее он уже дважды критиковал подобное мнение, считая его результатом подмены понятий. «Они имеют различную технику», — говорил он.

Из-за этой статьи Витгенштейн несколько дней находился в крайне возбужденном состоянии. Он спросил меня, не могу ли я опубликовать на нее ответ. Я ответил, что не имею ни малейшего представления, каким бы он мог быть. Витгенштейну не понравились мои слова. Он спросил, стал ли бы я защищать в печати Мура, если бы кто-нибудь неправильно и несправедливо отозвался о *его* взглядах. Я не мог не ответить утвердительно. Тогда Витгенштейн воскликнул, что это подтверждает то, что он всегда подозревал, — что *он* для своих друзей как «Vogelfrei»[1], что они смотрят на него как на изгоя, как на птицу, в которую каждый имеет право стрелять. По-моему, Витгенштейн узнавал также у Энском и Смидиса, не откликнутся ли они на статью, но не получил утвердительного ответа. В разговоре с Энском он снова сказал о «Vogelfrei». В течение двух или трех дней Витгенштейн был просто вне себя. Он даже намеревался сам написать ответ на эту статью. Кроме того, он серьезно говорил о передаче в издательство Кембриджского университета машинописного экземпляра своего труда (Части I «Фи-

---

[1] Vogelfrei (*нем.*) — аутсайдер, изгой. Дословно — вольная птица. — *Прим. ред.*

лософских исследований) для немедленной публикации. Спустя несколько дней он успокоился. Он сказал, что не собирается «поддаваться панике» и публиковать свой труд раньше времени. Он просто написал письмо автору статьи, в котором выразил уверенность, что тот гораздо больше знает о характере его философских исследований, чем продемонстрировал в своей статье. Витгенштейн получил вежливый и проникнутый чувством почтения к нему ответ, и инцидент был исчерпан.

Витгенштейн не раз выражал свои опасения по поводу того, что его рукописи могут погибнуть в огне. Он с ужасом рассказывал, как величайший историк Моммзен потерял в войну рукописный том своей «Римской истории». Витгенштейн приобрел облегченный стальной сейф, где и хранил свои записные книжки и рукописи в своей гостиной в Тринити. Он не раз говорил, что хотя не уверен, что при жизни он опубликует что-либо из своих работ, но твердо надеется, что его книга (Часть I «Философских исследований») будет опубликована после его смерти. С другой стороны, при мне он воскликнул однажды с горячностью, что был бы рад, если бы все его произведения были уничтожены, если бы вместе с ними исчезли все работы его учеников и последователей. Его иногда посещал страх, что, когда его главный труд будет посмертно опубликован, просвещенный мир подумает, что он заимствовал свои идеи у философов, которые на самом деле учились у него самого. Ведь может обнаружиться некоторое сходство между его работой и работами других философов, опубликованными раньше. Он спросил меня со всей серьезностью, буду ли я защищать его после его смерти от любых подобных утверждений или слухов, и я ответил утвердительно. Его беспокойство по этому поводу отражено в предисловии к «Философским исследованиям»: «Больше, чем по *одной* причине то, что я публикую здесь, будет иметь точки соприкосновения с тем, что пишут сейчас другие люди. Если мои мысли не несут на себе печати моего собственного творчества, я не буду в дальнейшем отстаивать свое право на них как на свою собственность».

Витгенштейна глубоко возмущал плагиат. Он рассказал мне о своих взаимоотношениях с одним человеком, о чем вообще ходило много слухов. Витгенштейн встречал-

ся с Морицем Шликом, который и был этим человеком, для совместного обсуждения философских вопросов. Во время этих бесед Витгенштейн выдвинул несколько идей, которые были ими записаны. Несколько позже Витгенштейн увидел принятую к публикации статью Шлика, в которой тот не только основывался на идеях Витгенштейна, но даже использовал его иллюстрации. В этой статье была выражена благодарность Витгенштейну, но сделано это было в такой форме, что заставляло думать, что хотя беседы с Витгенштейном и стимулировали мысль автора, но основная работа тем не менее была проделана им самим. Витгенштейн почувствовал себя глубоко оскорбленным. Он поднял этот вопрос в разговоре со Шликом, который был «порядочным человеком», и тот обещал это дело уладить. Но вскоре вслед за этим на Шлика было совершено нападение и он погиб, и статья вышла без соответствующего признания роли Витгенштейна.

Почти такую же реакцию, как и плагиат, вызывала у Витгенштейна и неверная передача его мыслей. Он рассказал мне об инциденте, связанном с одной молодой леди, которая посещала его лекции. Она написала статью, в которой излагала взгляды Витгенштейна по определенному вопросу. Она представила эту статью Муру — редактору журнала *Mind*, а также показала ее Витгенштейну. Витгенштейн нашел статью очень плохой и сказал, что ее *нельзя* публиковать. Но поскольку эта леди настаивала на своем решении, Витгенштейн пошел к Муру, чтобы убедить его не печатать статью. Он сказал Муру: «Вы посещали мои лекции. Вы знаете, что статья написана плохо». По словам Витгенштейна, Мур признал, что «статья не вполне хороша», но не отказался от частичной ее публикации. Я понял, насколько эта история рассердила и возмутила Витгенштейна. Возможно, один из подобных случаев он имел в виду, когда писал в предисловии к «Философским исследованиям»: «... я был поставлен перед фактом, что полученные мной результаты (которые нашли свое отражение в моих лекциях, рукописных трудах и дискуссиях), выхолощенные, неправильно понятые и подвергшиеся различным искажениям, получили широкое распространение. Это больно ударило по моему самолюбию, и мне стоило большого труда успокоиться».

И хотя соображения репутации явно не были чужды его натуре и даже могли становиться настоятельными, как это видно из только что рассказанных случаев, при этом нужно помнить, что Витгенштейн намеренно жил в неизвестности, пресекая любые попытки сделать из него знаменитость или общественного деятеля, кем бы он в противном случае непременно стал.

Не так-то легко сформулировать его собственную оценку значимости его работы. В предисловии к «Философским исследованиям» он пишет, что о его книге нельзя сказать, что она хорошая. Это замечание не является подчеркнутым выражением его скромности. Витгенштейн, конечно, верил, что его работа могла бы быть выполнена лучше, но уже не им самим. Доктору Луизе Муни, которая лечила его летом 1949 года и была немного в курсе его дел, он говорил: «Может быть, все это ошибочно; может быть, все это не так». Но подобное настроение не было характерным для него. Он разъяснял и отстаивал свои идеи в спорах с жаром и убежденностью. Он не думал, что центральные положения его философской концепции могли бы оказаться ошибочными. Он, конечно, по большей части считал, что сделал значительный вклад в развитие философии. Мне думается, однако, что он склонялся к мысли, что значение этого вклада может быть преувеличено теми, кто был тесно с ним связан. Возможно, это отразилось в выборе следующих слов И.Н. Нестроя в качестве эпиграфа к «Философским исследованиям»: «В природе каждого успеха, что он кажется гораздо значительней, чем является на самом деле».

Что касается вопроса о том, какое будущее ожидает его работы — исчезнут ли они, не оставив следа, или же, если останутся, будут в чем-то полезны для человечества, — здесь Витгенштейн пребывал в сомнении. В одном из своих писем Фрейд однажды заметил: «По вопросу о значении моей работы и ее влиянии на будущее развитие науки я затрудняюсь высказать какое-то определенное мнение. Иногда я верю в это, иногда сомневаюсь. Не думаю, чтобы это можно было каким-то образом предсказать; возможно, сам Бог еще ничего не знает об этом» (Ernest Jones. *Sigmund Freud*. London, 1955, vol. II, p. 446). Мне кажется, этими же словами можно было бы описать и отношение Витгенштейна к своей работе, с той

только разницей, что его пессимизм был сильнее, чем у Фрейда. Вряд ли он когда-нибудь думал о своих работах как о *великих*.

Витгенштейн иногда сомневался в своих друзьях, как это видно из эпизода с «Vogelfrei». Он подозревал, что их привязывает к нему не искреннее чувство, а скорее заинтересованность в нем как источнике философских изысканий. Он однажды сказал мне, что, отказавшись в молодости от богатства, он уже не мог иметь друзей на этой почве, но сейчас боялся, что имеет друзей по причине того, что они могут что-то получить от него в философском плане. Он бы хотел иметь друзей, которые не старались *что-нибудь получить* от него. В другой раз он сказал: «Хотя я сам не могу *дать* любовь, я очень сильно *нуждаюсь* в ней». Доброту и участие он считал гораздо более важными свойствами человека, чем интеллектуальные способности или утонченный вкус. Он с удовольствием рассказывал случай, который произошел с ним в Уэльсе. Он снимал комнату в доме проповедника. Когда он в первый раз появился там, хозяйка дома стала спрашивать его, не хочет ли он чаю, не хочет ли он того или этого. Тогда ее муж крикнул ей из соседней комнаты: «Не спрашивай, а *делай*!» Эти слова произвели на него сильное впечатление. Когда Витгенштейн хотел отозваться о комлибо, кто был великодушен, добр или честен, он говорил обычно: «Это *человек*!» При этом подразумевалось, что большинство людей просто не заслуживают называться людьми.

Несомненно, Витгенштейн очень нуждался в человеческом тепле и участии и был очень восприимчив к любому проявлению доброты. Но дружеские отношения с ним были делом изнурительным. Он мог резко отчитать своего друга. Он был склонен подозрительно относиться к людям и их намерениям. Иногда его суждения были голословными и ошибочными. Но в целом он проницательно и реалистично оценивал своих друзей. Как заметил Смидис, когда кто-то «получал» от Витгенштейна, обычно это было за дело. Человек узнавал о себе из упреков Витгенштейна. Витгенштейн был непримирим к любым проявлениям тщеславия, фальши и самодовольства.

Как видно из некоторых описанных выше случаев, Витгенштейн мог быть чрезмерно суров со своими друзь-

ями. Приведу еще один случай, который, возможно, вызовет улыбку. У него дома в Тринити-колледже в горшке росло маленькое цветущее растение. Когда он в перерыве между триместрами решил съездить в Уэльс, он принес этот цветок нам. Боюсь, что мы были невнимательны и иногда оставляли цветок в опасной близости от калорифера. Так или иначе, он начал хиреть и постепенно терять свои листья и бутоны. Когда Витгенштейн вернулся в Кембридж, я возвратил ему цветок, который, впрочем, уже совершенно засох. Несколько дней спустя он встретил мою жену на улице, впервые после отъезда в Уэльс шесть недель назад. Даже не поздоровавшись, Витгенштейн сурово сказал: «Я вижу, вы ничего не понимаете в растениях!». Моя жена была очень расстроена. Когда Витгенштейн в следующий раз пришел к нам, никаких упоминаний о цветке больше не было.

Быть с Витгенштейном всегда требовало большого напряжения. Были велики не только его интеллектуальные требования к собеседнику, но также его суровость, безжалостность его оценок; его склонность к осуждению и его депрессия. Каждый раз, когда я зимой 1946/47 года проводил с ним несколько часов, мой мозг и мои нервы были истощены до предела. Обычным было ощущение, что я не выдержу новой встречи с ним раньше, чем через несколько дней.

В ту зиму Витгенштейн несколько раз выражал свою неуверенность в том, что будет продолжать занимать кафедру. Несомненно, мысль о философии как *профессии* была невыносима для него. Он очень не любил университеты и академическую жизнь. Он был крайне переутомлен своими лекциями и дискуссиями. Возможно, более важной причиной была его уверенность в том, что его влияние как учителя во многом приносило вред. Витгенштейна сильно огорчало и отталкивало наблюдаемое им поверхностное понимание его философских идей, а также отсутствие настоящей глубины мысли у его студентов. Он считал, что из него не получился учитель. Мне кажется, это было источником его постоянных мучений. Иногда во время своих лекций он вдруг восклицал с выражением самого настоящего страдания: «Я ужасный учитель!» Однажды он закончил годовой курс лекций словами: «Наверное, я посеял только определенный жаргон».

Помимо всего прочего, я думаю, что действительно было нечто в его философии, что, будучи неверно воспринято, оказало и продолжает оказывать отрицательное воздействие на тех, кто испытал ее влияние. Здесь я имею в виду его теорию, согласно которой неверно, что слова употребляются с «фиксированным значением» («Философские исследования», § 79), а понятия имеют «жесткие границы» (там же, § 68, 76). По моему глубокому убеждению, это учение Витгенштейна дало возможность его ученикам увериться в том, что от них не требуется точности и тщательности в проработке мысли.

Мысль об отказе от преподавательской деятельности становилась у Витгенштейна все настойчивее. Это особенно наглядно показал инцидент, к которому оказался причастен один мой знакомый философ. Этот человек написал мне зимой 1946/47 года о том, что хотел бы провести следующий год в Кембридже, и интересовался, не мог ли он получить разрешение посещать лекции Витгенштейна. Я рассказал об этом Витгенштейну. Насколько я помню, он сам написал этому человеку и дал ему разрешение. Но Витгенштейн одновременно попросил написать и меня и предупредить, что не исключена возможность, что к началу следующего академического года Витгенштейн оставит свою работу. Витгенштейн хотел, чтобы это предостережение исходило от меня, а не от него самого, чтобы не давать повода к лишним слухам. Я сделал так, как он хотел. Летом 1947 года Витгенштейн отправился к вице-канцлеру, чтобы представить на рассмотрение вопрос о своей отставке. Но там ему сообщили, что ему положен научный отпуск, и убедили взять его этот отпуск осенью, отложив таким образом вопрос об отставке. Он попросил меня сообщить тому человеку обо всех изменениях и написать, что, насколько стало известно, Витгенштейн будет читать лекции зимой, хотя вероятность того, что он уйдет в отставку, по-прежнему остается. Я сделал, как он просил. Когда осенью Витгенштейн на самом деле оставил кафедру, этот человек очень оскорбился и выдвинул (как это будет видно в дальнейшем) абсурдные и несправедливые обвинения в адрес Витгенштейна. При этом он как бы считал, что либо Витгенштейн умышленно вводил его в заблуждение, либо он обязан был остаться на кафедре, потому что тот человек собирался посещать его

лекции. На самом же деле Витгенштейн был очень предупредителен по отношению к этому человеку.

Людям, которые не знали Витгенштейна, он часто казался загадочным и эксцентричным. Он не только многих настраивал против себя, но и был причиной многочисленных фантастических слухов. Однажды в Кембридже я слышал, как один студент со всей серьезностью убеждал другого, что Витгенштейн читает свои лекции, лежа на полу и упершись взглядом в потолок. Когда он гостил у меня в Штатах, о нем говорили, будто он живет в амбаре и что я — единственный, кто имеет к нему доступ. Впоследствии, когда он жил на побережье в Ирландии, о нем ходил слух, будто он пасет овец в Турции.

У одного студента, который жил во дворике Уэвелла этажом или двумя ниже Витгенштейна, было пианино, на котором этот студент часто играл. Звуки доходили до комнат Витгенштейна и приводили его буквально в состояние бешенства, особенно когда музыка была ему знакома. Он не мог думать, когда слышал пианино. Витгенштейн решил эту проблему характерным для него способом. Он приобрел большой подержанный вентилятор, который издавал при работе ровный гул, громкость которого была достаточна для того, чтобы заглушить пианино. Я приходил к нему несколько раз на философские беседы, когда работал вентилятор, но этот рев никак не давал мне сосредоточиться, в то время как Витгенштейна он нимало не беспокоил.

Специалист в области математической физики Фриман Дайсон, тогда еще студент, занимал комнаты, примыкающие к комнатам Витгенштейна. Однажды Витгенштейн пригласил его на чай. Разговор, как сказал мне Дайсон, сначала шел о характере его занятий. Затем Дайсон, несколько в нарушение правил, спросил в свою очередь Витгенштейна о характере его работы. Витгенштейн сначала насторожился и спросил, не журналист ли Дайсон. Когда тот убедил его, что это не так, Витгенштейн и в самом деле рассказал Дайсону о природе философии и его собственном месте в ней. Дайсон рассказывал мне одну из витгенштейновских историй, которая представляет большой интерес. Однажды, когда Витгенштейн шел через поле, где в самом разгаре была игра в футбол, ему впервые пришла в голову мысль, что в язы-

ке мы играем в *игры словами*. Основная идея его философии, понятие «языковой игры», явно берет свое начало в этом событии. Дайсон также рассказывал о своей последней встрече с Витгенштейном. Она была неожиданной и произошла в конце весеннего триместра 1946/47 года, когда Дайсон упаковывал чемодан внизу на лестнице. Витгенштейн, которого он не видел в течение нескольких недель, спускался по лестнице в плаще и твидовой кепке, с тростью в руке. Он кивнул Дайсону и уже прошел было мимо, как вдруг остановился и сказал: «Мои мозги делаются все тупее и тупее!» — и, не говоря больше ни слова, пошел прочь.

Отношение Витгенштейна к знаменитому «принципу верификации» логического позитивизма («Значением предложения является его метод верификации») часто вызывало к себе большой интерес. Витгенштейн рассказал мне историю, которая подтверждает это. Философ и психолог Дж.Ф. Стаут ненадолго приехал в Кембридж, и Витгенштейн пригласил его на чай. (Мне кажется, это было в начале 30-х годов.) Стаут сказал Витгенштейну, что, по слухам, Витгенштейн может сказать что-то интересное и важное о *верификации* и что ему бы очень хотелось услышать об этом. Оба они знали, что Стауту очень скоро надо уходить, чтобы не опоздать на поезд. В подобных условиях Витгенштейн обычно даже и не пытался говорить о философии. Однако серьезность Стаута и его искреннее желание понять взгляды Витгенштейна так подействовали на него, что он рассказал Стауту следующую притчу. В некоем городе от полицейских требуется, чтобы они получили от каждого жителя информацию относительно его возраста, предыдущего места жительства, характера занятий и т.д. Эти сведения записываются и каким-то образом используются. И вот полицейский узнает от одного жителя, что тот *ничем* не занимается. Полицейский записывает эти сведения, потому что *это тоже* полезная информация о человеке!

Смысл этой притчи, я думаю, в том, что если вы не поняли некоторое утверждение, то обнаружение того, что оно не поддается верификации, является важной информацией о нем и заставляет вас лучше его понять. Значит, вы понимаете его *лучше*: вы не обнаруживаете, что здесь нечего понимать.

В течение последнего года работы преподавателем Витгенштейн посещал Мура в среднем раз в две недели. Витгенштейн уважал Мура за честность и серьезность, а однажды сказал, что Мур «глубок». В то же время беседы с Муром почти всегда приводили Витгенштейна в состояние уныния, потому что Мур был слишком «похож на ребенка». Витгенштейн заметил однажды, что основная функция Мура как философа заключается в «разрушении преждевременных решений» философских проблем. Он добавил, что не уверен, однако, *распознает* ли Мур *правильное* решение, если оно окажется в его распоряжении. Он говорил, что посетил только несколько лекций Мура (еще в бытность студентом Кембриджского университета, до первой мировой войны), так как не мог вынести бесконечных повторений, которые были так характерны для Мура. Он заметил однажды, что единственной работой Мура, которая произвела на него большое впечатление, было открытие Муром того, что предложения типа «Идет дождь, но я так не считаю» отличаются особого рода бессмысленностью. (В разделе X Части II «Философских исследований» Витгенштейн называет это «парадоксом Мура».) Витгенштейн, однако, признавал, что и «защита здравого смысла» была важной заслугой Мура. Витгенштейн говорил, что если человек мучается поиском нужных слов для выражения тончайших нюансов мысли, то за советом лучше всего обратиться именно к Муру.

Витгенштейн рассказал мне историю, которая, по его мнению, показывала, что было наиболее привлекательного в характере Мура. Мур напряженно работал над своей лекцией «Доказательство внешнего мира», с которой должен был выступить на заседании Британской Академии в Лондоне. Муру не нравилась заключительная часть лекции, но он не мог переделать ее так, чтобы остаться ею довольным. В день лекции, когда Мур уже стоял на пороге своего дома в Кембридже, собираясь идти на вокзал, его жена сказала ему: «Не волнуйся, я уверена, что им понравится». На что Мур ответил: «Если *это* случится, они будут *не правы*». Мне кажется, этот случай показывает, что именно Витгенштейн считал «глубоким» в Муре.

В 1946 — 1947 годах здоровье Мура было хорошим, но перед тем он перенес удар, и доктор рекомендовал ему

не перевозбуждаться и не переутомляться. Миссис Мур, следя за выполнением этого предписания, не разрешала, чтобы длительность философских бесед Мура с кем бы то ни было превышала полтора часа. Витгенштейна страшно раздражали эти ограничения. Он считал, что Мур не должен находиться под надзором своей жены. Если же Мур перевозбудится или устанет и у него будет удар и он умрет — что ж, это будет достойная смерть на своем посту. Витгенштейн чувствовал всю невозможность того, чтобы Мура, со всей его страстной любовью к истине, принуждали прекращать дискуссию до того, как она придет к своему естественному завершению. Я думаю, что реакция Витгенштейна на эти ограничения полностью соответствовала его взглядам на жизнь. Человек должен заниматься тем делом, к которому у него есть талант, с полной отдачей всю свою жизнь и никогда не должен ослаблять своих усилий только для того, чтобы продлить свое существование. Такой платонистический подход был продемонстрирован им снова два года спустя, когда он, чувствуя, что теряет талант, задавался вопросом, должен ли он продолжать жить.

Витгенштейн не раз выражал восхищение остротой ума Рассела, когда рассказывал о том, как они вместе работали над логическими проблемами перед первой мировой войной. Рассел, по его словам, был просто *«блестящ»*, Мур несколько проигрывал в сравнении с ним. Витгенштейн с удовольствием рассказывал, как однажды после нескольких часов совместной напряженной работы Рассел воскликнул: *«Чертова* логика!» Это высказывание характеризовало отношение Витгенштейна к его собственным философским занятиям. Витгенштейн считал, что теория дескрипций была самым важным достижением Рассела, и однажды заметил, что она многого стоила ему. Но в 1946 году Витгенштейн был плохого мнения о новых философских работах Рассела. «Рассел теперь не умрет от занятий философией», — говорил он с улыбкой. Я заметил, что в тех редких случаях, когда Рассел и Витгенштейн одновременно присутствовали на заседаниях в Клубе Моральных Наук, Витгенштейн был очень почтителен с Расселом во время дискуссии, чего я никогда не замечал от него по отношению к кому-либо другому.

Витгенштейн рассказал мне две истории, связанные с «Трактатом», о которых я, возможно, должен упомянуть, хотя он рассказывал их также некоторым другим людям. Одна из них имеет отношение к возникновению центральной идеи «Трактата» о том, что пропозиция — это *картина*. Эта идея возникла у Витгенштейна, когда он служил в австрийской армии во время первой мировой войны. Он увидел газету, где схематично в рисунках было изображено, как произошла автомобильная катастрофа. Витгенштейн решил тогда, что эта схема является пропозицией и что тем самым открыто центральное свойство пропозиций — быть *изображением* реальности.

Другой случай определенным образом способствовал разрушению этого представления. Витгенштейн и преподаватель экономики в Кембридже П. Сраффа подолгу обсуждали между собой идеи «Трактата». Однажды (кажется, они ехали на поезде), когда Витгенштейн настаивал, что пропозиция и то, что она описывает, должны иметь одинаковую «логическую форму», характеризоваться одинаковой «логической сложностью», Сраффа сделал жест, знакомый неаполитанцам и означающий что-то вроде отвращения или презрения: он прикоснулся к месту под подбородком наружной стороной кончиков пальцев и спросил: «А какая логическая форма у *этого*?» Вопрос Сраффы породил у Витгенштейна чувство, что абсурдно настаивать на том, будто бы пропозиция и то, что она описывает, должны иметь ту же самую «форму». Это разрушило власть над его же собственной теорией о том, что пропозиция на самом деле должна быть «картиной» реальности, которую она описывает[1].

Витгенштейн в разговорах со мной часто отзывался о «Трактате» пренебрежительно. Однако я уверен, что он по-прежнему считал его важной книгой. Во-первых, в «Философских исследованиях» он стремился исправить ошибки своей предыдущей книги. Он сказал мне однажды, что на самом деле думает, что он дал в «Трактате»

---

[1] Профессор Г.Х. фон Вригт сообщил мне, что Витгенштейн рассказывал ему об этом случае несколько иначе. По словам Витгенштейна, спорным вопросом был следующий: должна ли каждая пропозиция иметь «грамматику», и Сраффа спросил Витгенштейна, какова «грамматика» его жеста. Рассказывая об этом фон Вригту, Витгенштейн не использовал выражений «логическая форма» и «логическая сложность».

хорошую разработку точки зрения, которая является *единственной* альтернативой взглядам, изложенным в его более поздней работе. Во-вторых, он определенно хотел, чтобы «Трактат» был переиздан вместе с его более поздними произведениями. Как он пишет в предисловии к «Философским исследованиям», «мне кажется, что я должен опубликовать те свои старые и новые работы совместно, ибо, я думаю, последние можно будет увидеть в правильном свете только в сравнении и только на фоне моего прежнего образа мысли».

Здесь же я бы хотел рассказать то, что мне известно об отношении Витгенштейна к религии. Он говорил мне, что в юности относился к религии с пренебрежением, но в возрасте двадцати одного года что-то заставило его измениться. В Вене он посмотрел пьесу, которая была весьма посредственной драмой, но в ней один из героев выразил следующую мысль: неважно, что происходит в мире, ничего плохого не может случиться со *мной*, — *я* независим от судьбы и обстоятельств! Витгенштейн был поражен этой стоической мыслью: впервые перед ним открылась возможность религии. Он рассказывал, что во время военной службы в первую мировую войну ему попались работы Толстого о Евангелии, которые произвели на него большое впечатление.

Витгенштейн писал в «Трактате»: «Мистично не то, *как* есть мир, но то, что он *вообще* есть» (§ 6.44). Мне кажется, что Витгенштейн испытывал чувство удивления по поводу того, что *что-то вообще должно существовать,* не только в период работы над «Трактатом», но и в период моего с ним знакомства[1]. Является ли это чувство в какой-то мере религиозным, мне не вполне ясно. Однажды Витген-

---

[1] Уже после того, как я написал эти строки, я узнал, что Витгенштейн однажды читал доклад по этике (дата мне неизвестна, но, возможно, это было вскоре после его возвращения в Кембридж в 1929 г.), в котором говорил, что иногда испытывает ощущение, которое лучше всего передать словами: «Когда я испытываю его, *я удивляюсь существованию мира* и готов сказать следующее: "Как странно, что что-либо должно существовать!" или "Как странно, что мир должен существовать!"» Далее он говорил нечто связанное с мыслью, выраженной в вышеупомянутой пьесе, а именно что он иногда «испытывает чувство *абсолютной* безопасности. Я имею в виду такое состояние, когда человек может сказать себе: «Я в безопасности, ничто не может причинить мне вред, что бы ни случилось»».

штейн сказал, что, как ему кажется, он может воспринять понятие Бога, если оно относится к осознанию человеком своего греха и вины. Он добавил, что *не* может понять представление о *Творце*. Я думаю, что в определенной степени идеи Божьего суда, прощения, искупления были понятны ему, связываясь в его сознании с чувством отвращения к себе, страстным желанием чистоты и ощущением безнадежности для человеческих существ любых попыток сделаться лучше. Но представление о существе, *творящем мир*, бесспорно, было ему чуждо.

Однажды Витгенштейн высказал предположение, что понятие бессмертия может наполниться смыслом на пути осознания человеком того, что он имеет обязанности, от которых не может быть избавлен даже смертью. Сам Витгенштейн обладал сильнейшим чувством долга.

Я считаю, что Витгенштейн в силу своего характера и опыта был подготовлен к восприятию идеи Бога-судьи и Спасителя. Но любое космологическое понимание Божества на основе понятий причинности или бесконечности было для него невозможно. Он не принимал «доказательств» существования Бога и отвергал любые попытки дать религии *рациональное* обоснование. Когда однажды я процитировал ему высказывание Кьеркегора на этот счет: «Как может быть, чтобы Христос не существовал, если я знаю, что Он спас меня?» — Витгенштейн воскликнул: «Вот видишь! Здесь не надо ничего *доказывать!*» Ему не нравились теологические труды кардинала Ньюмана, которые он внимательно читал в свой последний год пребывания в Кембридже. И напротив, он очень высоко ценил труды Бл. Августина. Он сказал мне, что решил начать свои «Философские исследования» цитатой из «Исповеди» Бл. Августина не потому, что нельзя было найти выраженную в этой цитате мысль так же хорошо сформулированной другими философами, но потому, что эта мысль *должна* быть важной, если об этом думал такой великий ум. Кьеркегора он тоже очень ценил. Он говорил о нем с каким-то трепетом, как о «по-настоящему религиозном человеке». Он читал его «Заключительное ненаучное послесловие», но нашел его «слишком глубоким» для себя. Он с удовольствием читал «Дневник» Джорджа Фокса, английского квакера, и даже подарил мне экземпляр. Он хвалил один из очерков

Диккенса, где описывается посещение пассажиров корабля, заполненного англичанами, ставшими мормонами, перед отплытием в Америку. Витгенштейна поразила спокойная решимость этих людей, как это было изображено Диккенсом.

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто Витгенштейн принимал любую религиозную веру, — конечно, это было не так, — или что он был религиозным человеком. Но я думаю, что в нем присутствовало то, что можно назвать *возможностью* религии. Я считаю, что он смотрел на религию как на одну из «форм жизни» (если воспользоваться выражением из «Философских исследований»), к которой он не был причастен, но которая вызывала у него симпатию и очень его интересовала. К тем людям, которые были причастны к религии, он относился с уважением — хотя здесь, как и везде, он презирал неискренность. Я полагаю, он считал, что религиозная вера основывается на таких свойствах характера и воли, которыми он сам не обладал. О Смидисе и Энском, которые стали католиками, он однажды сказал: «Возможно, я не смог бы поверить в то, во что верят они». Я думаю, в этом замечании не было пренебрежения к их вере. Он скорее просто говорил о своих особенностях.

По своей натуре Витгенштейн был глубоким пессимистом как в отношении своих собственных перспектив, так и всего человечества в целом. Каждый, кто был близко знаком с Витгенштейном, не мог не знать его ощущения того, что наша жизнь ужасна, а мысль блуждает во мраке, ощущения, которое было близко к отчаянию.

Летом 1947 года я с семьей покинул Кембридж и вернулся в Штаты. Из Америки я послал Витгенштейну письмо с выражением благодарности за то, что он щедро делился со мной своими мыслями. Он ответил:

> Ты знаешь, как мне хорошо было с тобой в Кембридже. И конечно, ты мне *ничего* не должен. Моя голова в последние дни несколько не в порядке. Я почти уверен, что уйду в отставку этой осенью... *пожалуйста, держи это при себе*, так как это еще не точно. Мне жаль подводить [*далее следовала фамилия человека, который хотел посещать его лекции и которого я предупредил, по просьбе Витгенштейна, о возможности его отставки*], но боюсь, что здесь ничего нельзя сделать. Мне бы хотелось побыть где-нибудь одному и постараться написать и подготовить к публикации по крайней мере одну часть своей книги. Я никогда не смогу сделать это, пока

работаю в Кембридже. Также я думаю, что совершенно независимо от необходимости писать мне нужен длительный период, чтобы я мог думать один и не должен был ни с кем говорить. Но я еще не сообщал руководству о моих планах и не собираюсь делать это до октября, когда уже приму окончательное решение.

Три месяца спустя (в ноябре 1947-го), после поездки в Австрию, он писал:

Как только я вернулся из Австрии, я подал вице-канцлеру прошение об отставке. Я перестану быть профессором 31 декабря в 12 часов ночи. И *что бы ни случилось* со мной (я совсем не уверен в своем будущем), я чувствую, что принял единственно правильное решение. Приблизительно через 2 — 3 недели я собираюсь уехать отсюда в Ирландию. Эти дни я очень занят: главным образом диктую материал, который написал в течение последних 2 — 3 лет. Он по большей части *плох*, но мне бы хотелось иметь его с собой в приемлемой форме. — Раз в неделю я вижусь с Муром. Мне нравится бывать с ним, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Похоже, что мы с ним стали как-то лучше понимать друг друга. Он чувствует себя попеременно то хорошо, то немного хуже, но не должен принимать это близко к сердцу.

В этом письме был постскриптум:

Я получил очень наглое письмо от [*далее опять следовало имя человека, которому я написал по просьбе Витгенштейна*]. Он упрекает меня за то, что я не известил его заранее о своей отставке. Он написал мне, что это демонстрирует «чудовищные недостатки» моего характера и что я «ужасный человек». Я написал ответ и постарался указать ему, «где он выходит за рамки». Похоже, что он осел.

В декабре Витгенштейн писал из Ред-Кросс, графство Уиклоу, Ирландия:

Я только сегодня приехал сюда. Это маленькая гостиница в 2,5 — 3 часах езды автобусом из Дублина. Здесь не *так уж* плохо, и надеюсь, что я привыкну. Я единственный постоялец. Конечно, в данный момент мне здесь непривычно и неуютно. Что я уже целую вечность не ударял палец о палец, понятно без слов. ...Я желаю тебе много счастья и знаю, что ты мне желаешь того же. Мы оба чертовски нуждаемся в нем. И другие люди тоже.

Месяц спустя он писал моей жене:

Это прелестное тихое место, и, если бы оно было еще тише, оно бы нравилось мне еще больше. Моя работа продвига-

ется относительно хорошо, и думаю, что она могла бы продвигаться даже очень хорошо, если бы я не страдал от нарушения пищеварения, от которого не знаю как избавиться. Мне надо приехать в Итаку и питаться тем, что вы так превосходно готовите...

Отвечая на ее вопрос, правильно ли иногда просить нашего одиннадцатилетнего сына почитать нам вслух, он добавляет:

Я думаю, это *очень* хорошая идея — заставлять Рея читать вам. *Хорошее*, то есть внимательное, чтение вслух учит человека *многому*. Посмотрите, как плохо и небрежно пишет большинство людей, особенно в газетах: они пишут, как *думают*.

В феврале 1948 года он писал мне:

Я сейчас очень хорошо чувствую себя физически, и моя работа тоже идет неплохо. У меня иногда бывают болезненные состояния нервной неустойчивости, которые ужасны и учат взывать к Богу.

Ранее я написал ему о двух книгах: «Работы о любви» Кьеркегора, которые произвели на меня большое впечатление, и «Завоевание Перу» Прескотта, доставившее мне удовольствие. Витгенштейн продолжал свое письмо:

Я не читал «Работ о любви». Кьеркегор все-таки слишком глубок для меня. Он ставит меня в тупик, не оказывая на меня того влияния, которое должен иметь на другие, *более глубокие* души. — Несколько лет назад Друри читал Скиннеру и мне начало книги «Завоевание Мексики» Прескотта, которую мы нашли очень интересной. Мне не нравится точка зрения священника у Прескотта, но это уже другая история. — Я, слава Богу, читаю немного. Читаю из волшебных сказок братьев Гримм и из книги «Мысли и воспоминания» Бисмарка, которая мне очень нравится. Это, конечно, не значит, что я разделяю взгляды Бисмарка. ...Желаю тебе много счастья и знаю, что ты мне желаешь того же, *и я на самом деле нуждаюсь в нем*.

Он добавляет в качестве постскриптума:

Мне тут совершенно не с кем говорить. Это и хорошо, и в известном смысле плохо. Мне бы хотелось видеть иногда кого-нибудь, кому можно было бы сказать дружеское слово. Мне не нужны *разговоры*, мне бы хотелось просто иногда кому-нибудь улыбнуться.

Месяц спустя:

Моя работа продвигается *очень* медленно и с большими мучениями, но она продвигается. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше физических сил и чтобы я не уставал *так* быстро. Но я должен принимать все таким, как оно есть.

Шесть недель спустя он написал письмо уже из другого места. Его новый адрес: Коттедж Росторо, почтовое отделение Ренвиль, графство Голуэй, Ирландия.

Пишу главным образом для того, чтобы сообщить свой новый адрес. Последнее время был не в форме: душа, голова, тело. В течение многих недель я находился в состоянии глубокой депрессии, последние 5 — 6 недель. Я живу здесь в коттедже совершенно один, на западном побережье прямо у моря, вдали от цивилизации. Я приехал сюда 2 дня назад и пока еще не чувствую себя как дома. Я должен буду постепенно научиться выполнять необходимую работу по хозяйству, не затрачивая на нее много времени и сил. ...Больше всего выбивает меня из колеи то, что я плохо сплю. Если это дело наладится, а я надеюсь на это, то все еще может измениться.

Месяц спустя (в июне 1948 года) он был уже в лучшем состоянии духа:

Большое спасибо за детективные журналы. До того как они пришли, я читал детективную повесть Дороти Сайерс, и повесть была настолько скверной, что повергла меня в состояние депрессии. Но когда я открыл один из твоих журналов, я почувствовал, что выбрался из душной комнаты на свежий воздух. ...Моя работа идет так себе: не слишком хорошо, не *слишком* плохо. Не думаю, чтобы я мог быть сейчас на высоте в философских дискуссиях, но все может измениться, и тогда, я надеюсь, мы поговорим с тобой!

На следующий день, обнаружив в одном из журналов письмо от моей жены с настойчивым приглашением приехать к нам в Штаты, он написал ей следующее:

Большое вам спасибо за приглашение. Радостно сознавать, что вы не откажетесь принять меня, когда я окончательно дозрею. Но не сейчас. Видите ли, главный источник моих проблем — я сам, и, к сожалению, это всегда будет со мной, куда бы я ни уехал. Мне *намного* лучше сейчас, чем до моего приезда сюда. Я здоров настолько, насколько этого можно ожидать от старого чудака. (Почему-то я всегда жалуюсь *именно* на болезни!) Моя работа идет так себе, но, значит, именно *таковы* возможности моего таланта: в профессиональном плане я износился, и с этим ничего не поделаешь. Меня это часто раздражает, но я просто должен (или *обязан*) суметь примириться с этим. Одиночество здесь часто — боль-

шое зло, но оно также часто и благо; необходимость самому выполнять работу по дому доставляет неудобства, но одновременно является и большим благом, потому что поддерживает мой тонус и *вынуждает* вести размеренный образ жизни: это действительно хорошо для меня, *хотя я и проклинаю ее каждый день*. Конечно, я не должен превращаться в ворчливую старуху и постоянно жаловаться, но это, наверное, еще один момент, который не может быть устранен. — Но, вполне *серьезно*, я надеюсь приехать и побыть с вами, когда лучше созрею. (Конечно, вам известно, что некоторые яблоки так никогда и не созревают: сначала они твердые и кислые, а потом сразу становятся мягкими и дряблыми.) — Местность кругом совершенно дикая, и мне нравится здесь гулять, хотя я и не могу совершать долгих прогулок. Я люблю смотреть на разных морских птиц, кроме того, у нас здесь есть тюлени, правда, до сих пор я встретил только одного. Я не вижусь ни с кем, кроме человека, который каждый день приносит мне молоко. Он также помогает мне немного по дому и следит, чтобы у меня не кончился запас торфа (это то, чем мы топим и на чем готовим). Он очень хороший человек и, без сомнения, лучшая компания, чем те люди, среди которых я был в графстве Уиклоу. Ближайшая деревня в 10 милях отсюда. Когда мне надо что-то из бакалеи, я пишу в Голуэй, и мне присылают все по почте. — Надеюсь, что Судьба будет благосклонна ко мне и в один прекрасный день я увижусь с вами. Я знаю, что буду счастлив, и, кроме того, надеюсь, что от меня будет какой-то толк в дискуссиях (сейчас я слишком выдохся).

Все еще находясь в Росоро-коттедже, в июле он пишет мне:

Моя работа идет не вполне хорошо, хотя и движется потихоньку. Вчера я спросил себя: правильно ли я сделал, уйдя из университета, не должен ли я был все-таки остаться и продолжать преподавать? И я сразу понял, что не смог бы продолжать преподавать философию, и даже подумал, что, возможно, я должен был уйти раньше; но затем я подумал о тебе, о фон Вригте в Кембридже и сказал себе, что ушел именно тогда, когда было надо. Если мой философский талант сейчас кончается, это большое несчастье, но это так.

Он объявил о своем намерении остаться в Росоро-коттедже еще на месяц, а потом поехать в Австрию на три-четыре недели. Он действительно съездил в Австрию, а после этого в октябре 1948 года провел две недели в Кембридже, диктуя со своих рукописей. Его следующее письмо было написано в ноябре из отеля Росса на Паркгейт-стрит в Дублине. Он планировал оставаться там очень недолго, только чтобы встретиться со своим другом Друри, а затем вернуться в Росоро. Но его планы изменились.

Когда я приехал сюда, то, к своему удивлению, обнаружил, что снова могу работать, а так как мне надо успеть скосить траву и высушить сено как можно быстрее, пока солнце светит в моей голове, то я решил не ехать этой зимой в Росоро, а остаться здесь, где у меня есть спокойная теплая комната.

Во время моего пребывания в Кембридже в 1946 — 1947 годах Витгенштейн давал мне машинописный экземпляр работы, которая позже была опубликована как Часть I «Философских исследований». Перед отъездом в Штаты я вернул его Витгенштейну. Теперь я обратился к нему с просьбой, не может ли он прислать мне экземпляр. На это он ответил мне в том же письме:

Мне бы *хотелось*, чтобы у тебя был машинописный экземпляр моего труда, но я не знаю, как было бы возможно дать тебе его сейчас. Существуют только 3 копии. Одна у меня (и нужна мне), другая у мисс Энском. Половина или $^3/_4$ у Мура, а другая половина или $^1/_4$ где-то среди моих вещей в Кембридже. Здесь нет никого, кто бы мог сделать копию с моей, и это стоило бы *много* денег. Конечно, мисс Энском могла бы послать тебе копию, но, честно говоря, пусть она лучше будет в сохранности в Англии, раз существуют всего только три копии. Надеюсь, ты не подумаешь обо мне плохо. Мне очень приятно, что ты хочешь иметь экземпляр моей работы. Я постараюсь, чтобы ты его получил, как только я смогу сделать другую копию.

Вышло так, что, когда Витгенштейн приехал к нам в Америку, он привез с собой экземпляр, который был у Мура, и, уезжая в Англию, оставил его у меня. После его смерти я передал экземпляр его литературным душеприказчикам.

Мы с женой иногда посылали Витгенштейну небольшие посылки с продуктами, за которые он всегда сверх меры благодарил. Вот отрывок из его письма к моей жене:

Как всегда, большое спасибо Вам и Норману за ваш чудесный подарок. Как я говорил раньше, над вами надо установить опеку! И в этом случае я бы постарался добиться полномочий поверенного лица. (Это то, о чем я часто читаю в своих детективных журналах.) В посылке все было самое нужное и замечательное.

Он все еще оставался в отеле Росса в Дублине, «работая много и даже относительно хорошо. ...Я хочу, чтобы удача не изменяла мне еще шесть месяцев, тогда бы я мог завершить большой кусок работы».

Четыре недели спустя (в январе 1949 года) он сообщает, что удача ему изменила:

> У меня очень хорошо шла работа последние 3 месяца или около того, но где-то 3 недели назад я заболел каким-то инфекционным заболеванием кишечника и все еще не пришел в себя. Если это продлится еще неделю, я обращусь к врачу. Конечно, все это не способствовало моей работе. Я должен был полностью прерваться на неделю, и после этого она еще ползет, совсем как я на прогулках эти дни.

В отправленном мной раньше письме содержалось несколько замечаний о Муре. Я написал Витгенштейну, как я однажды рассказал Муру о том, что один хорошо известный философ из числа моих знакомых враждебно реагирует на критику своих опубликованных философских работ. Мура это явно удивило, и я спросил его, разве он не может понять, что профессиональная гордость заставляет человека обижаться на критику. Мур, к моему изумлению, ответил: «Нет!» Написав об этом Витгенштейну, я добавил, что это незнание человеческой натуры было к чести Мура. Витгенштейн ответил:

> Теперь относительно Мура. Я не вполне понимаю его, поэтому то, что я скажу, может быть совершенно неверным. Но я хочу сказать следующее: в Муре необычайно много детского, это очевидно, и его реплика, которую ты процитировал (о гордости), лишний раз это подтверждает. В нем есть также *какое-то* простодушие: он, например, совершенно лишен тщеславия. Что же касается того, что к его «*чести*» иметь много детскости, я не могу этого понять, если это только не значит «к чести *ребенка*». Ибо ты говоришь не о простоте, к которой стремится человек, но о простоте, которая проистекает из абсолютного отсутствия соблазнов. — Мне кажется, все, что ты хотел сказать, — это то, что ты любишь или, может быть, *любил* детскость Мура. И это я могу *понять*. Я думаю, что расхождения между нами лежат не столько в сфере рационального, сколько в сфере чувства. Я *люблю* и очень уважаю Мура, но это все. Он не согревает мое сердце (или всего лишь слегка), ведь больше всего согревает мое сердце человеческая доброта, а Мур — *как любой ребенок* — не может быть добрым. Он доброжелателен и может быть очаровательным и милым по отношению к тем, кого он любит, и в нем есть большая глубина. — Вот как мне все это видится. Если я не прав, то я не прав.

Он продолжает в том же письме:

> Моя работа идет пока довольно хорошо, хотя и не так хорошо, как, скажем, 6 недель назад. Это частью из-за того, что

я был немного болен, а также потому, что меня многое беспокоит. — Деньги здесь ни при чем. Я трачу, конечно, многовато, но еще года на два, я думаю, денег хватит. За это время я закончу свою работу, если будет на то Божья воля. Ведь это, в конце концов, то, из-за чего я перестал быть профессором. *Сейчас* я не должен думать о деньгах, потому что в противном случае не смогу работать. (Что будет потом, я еще не знаю. Возможно, я и не проживу так долго. Одна из моих нынешних забот — здоровье одной из моих сестер в Вене. Не так давно она была прооперирована по поводу рака, как видно, успешно, но она долго не проживет. По этой причине я *планирую* поехать в Вену следующей весной. Это имеет некоторое отношение к тебе, ибо если я поеду, а потом вернусь в Англию, я намереваюсь диктовать материал, над которым работал с прошлой осени, и, *если* все это получится, я пришлю тебе копию. Возможно, это удобрит твои поля.

Действительно, когда он приехал в Штаты следующим летом, он привез мне копию упомянутой работы. Этот материал включен в Часть II «Философских исследований».

В марте 1949 года Витгенштейн все еще жил в отеле Росса в Дублине. Мы с женой снова послали ему письмо с настойчивым приглашением посетить нас в Америке. Он ответил:

Как и в тот раз, благодарю вас за ваше сердечное приглашение. Я получил его почти неделю назад, но не мог ответить, потому что мои мысли были в совершенном беспорядке, и даже сегодня я не способен выдать ничего лучшего, чем набор бессвязных предложений. Во-первых, хочу сказать, (*a*) что я глубоко благодарен вам за вашу доброту и (*b*) что у меня *сильное* желание принять ваше предложение. Но существуют большие затруднения. — Моя старшая сестра, к счастью, еще жива, и две моих других сестры *могут* по-прежнему хотеть увидеть меня в Вене. Если это будет так, то я, возможно, уеду в Вену в течение ближайших 3 недель и пробуду там 3 — 4 недели. — Я ходил в туристическое агентство узнавать насчет поездки в Америку и обнаружил, что путешествие обойдется мне в сумму от 80 до 120 фунтов. Еще мне сказали, что ты сам должен будешь оплачивать мое пребывание в Америке, потому что мне разрешается взять с собой не больше 5 фунтов. Поэтому тебе нужно прислать письменное подтверждение, что ты можешь и намерен оплачивать все расходы во время моего пребывания в США. Если бы этих правил не существовало, я теоретически мог бы расходовать в Америке свои собственные деньги, но на самом деле *я не мог бы этого себе позволить*. Я могу позволить себе путешествие только в том случае, если буду *2 — 3 месяца* жить у вас за ваш счет! — Что касается меня, то перспектива провести с вами этот пе-

риод времени очень приятна для меня, но здесь есть одно «но», заключающееся в том, что я пожилой человек и очень быстро старею. Я имею в виду — физически, а не, насколько я могу судить, умственно. Это значит, что вы не должны брать меня в какие-либо поездки. Я могу гулять, но не намного больше, чем в Кембридже. — По этой же причине я не смогу работать в саду. — Если бы не было всех этих затруднений, я прибыл бы *незамедлительно*, так как мне очень хочется побыть с вами, дискутировать с одним и сильно надоедать другой. ...Мне кажется, вы не вполне представляли себе всех этих сложностей, когда приглашали меня. Пожалуйста, отнеситесь *ко всему*, о чем я написал, с серьезностью и вниманием.

Я послал Витгенштейну требуемое письменное подтверждение и успокоил его насчет всего остального. В своем следующем письме он сообщил, что заказал билет на теплоход. Он прибавлял:

В этой жизни никто не знает, что может случиться, поэтому, если *по какой-либо причине* ваше мнение относительно желательности моего визита изменилось, пожалуйста, *без колебаний* сообщите мне об этом. ...Я совсем не работаю последние 2 — 3 недели. Мой мозг устал и омертвел, отчасти, я думаю, потому, что я выдохся, отчасти оттого, что меня сейчас беспокоит множество разных дел. Мне кажется, что я все-таки мог бы обсуждать философские проблемы, если бы здесь было с кем их обсуждать, а один я не могу на них сконцентрироваться. Надеюсь, когда-нибудь все опять изменится. Чем скорей, тем лучше. — Ну хорошо, пришли мне, пожалуйста, это письменное подтверждение и готовь себя к шоку от встречи со мной.

В мае он пишет мне из Дублина:

В середине апреля я отправился в Вену, чтобы увидеть свою старшую сестру, которая очень больна. Когда я уезжал оттуда 5 дней назад, она была жива, но не было никакой надежды на ее выздоровление. Я приехал сюда прошлой ночью. В Вене я почти совсем не мог работать. Я чувствовал себя отвратительно. Я ничего не делал с начала марта, и у меня нет даже сил *пытаться* что-либо делать. Бог знает, как будет дальше. ...Надеюсь, что с вами все в порядке, и надеюсь, что вы не найдете меня ужасным и скучным, когда я приеду.

В июне, по-прежнему из Дублина:

Когда я приехал сюда три недели назад, я пошел к своему врачу, и он сделал анализ крови. Он нашел у меня тяжелую

форму какой-то необычной анемии. Было подозрение на опухоль в желудке, но рентген не подтвердил этого. Я принимаю много железа и экстракта печени, и мне понемногу становится лучше. Уверен, что смогу отплыть на «Королеве Марии» 21 июля. Остается, однако, вопрос, как моя анемия будет влиять на мою способность к дискуссиям. В настоящее время я совсем не могу заниматься философией и не думаю, что у меня хватило бы сил провести даже сравнительно небольшую дискуссию. Более того, я *уверен*, что сейчас бы этого не смог. Но, конечно, не исключена возможность, что к концу июля мое здоровье поправится настолько, что голова сможет работать опять. ...Я *знаю*, что вы будете гостеприимными хозяевами даже в том случае, если я буду совсем глупым и бестолковым, но мне бы не хотелось быть просто мертвым грузом в вашем доме. Я хочу чувствовать, что могу дать хоть *немного* в ответ на вашу доброту.

Когда я написал Витгенштейну, что он не должен думать о том, чтобы платить за свой визит философией, он ответил:

Я никогда не имел в виду *платить* дискуссиями за вашу доброту. К тому же, даже самое лучшее, что я мог дать вам, все равно было бы ничтожной платой. Я имел в виду следующее: я не хочу наскучить моим гостеприимным хозяевам до *смерти*. Впрочем, давай не будем больше об этом, тем более что у меня есть хорошие новости: за последние несколько недель мне стало намного лучше. Это, наверное, подействовало железо и экстракт печени.

Далее он писал, что если я не смогу встретить его в Нью-Йорке, он «прекрасно справится» с восьми-девятичасовой поездкой на поезде один. «Возможно, как это бывает в фильмах, на корабле я встречусь с прекрасной девушкой, и она поможет мне».

Я поехал в Нью-Йорк встречать его корабль. Как только я увидел его, я был поражен его явным физическим здоровьем. Он широким шагом сошел с трапа с рюкзаком за спиной, чемоданом в одной руке и тростью в другой. Он был в прекрасном расположении духа, совсем не выглядел изможденным и даже не разрешил помочь с вещами. Главное мое воспоминание о нашей поездке домой — то, что мы разговаривали о музыке и Витгенштейн удивительно точно и выразительно просвистел мне несколько отрывков из Седьмой симфонии Бетховена.

В течение первого месяца или полутора, которые он провел с нами, его здоровье было довольно хорошим. Он любил совершать прогулки в соседних лесах с женой или со мной. Его выносливость была удивительна. На этих прогулках он очень интересовался определением видов деревьев. Одну прогулку я помню особенно хорошо. Витгенштейн захотел установить высоту деревьев. Процедура, которую он предложил, заключалась в следующем: он должен был встать на значительном расстоянии от дерева, так, чтобы, когда он смотрел по направлению своей руки с вытянутой тростью на верхушку дерева, угол, образуемый его рукой с горизонталью, составил приблизительно 45°. Я должен был измерить шагами расстояние от Витгенштейна до дерева, и этот несложный подсчет давал нам приблизительную высоту дерева. Витгенштейн руководил всем этим с полной самоотдачей.

Однажды во время ленча моя жена подала швейцарский сыр и ржаной хлеб, которые Витгенштейн очень любил. После этого он обычно всякий раз в той или иной форме настаивал, чтобы на столе были только сыр и хлеб, и почти не обращал внимания на те разнообразные блюда, которые готовила моя жена. Витгенштейн заявил, что для него не имеет большого значения, *чем* он питается, если это всегда *одно и то же*. Когда на стол подавалось особенно аппетитное блюдо, я иногда восклицал: «Hot Ziggety!» — сленговое выражение, которое я слышал мальчиком в Канзасе. Витгенштейн заимствовал у меня это выражение. Было невероятно смешно слышать, как он восклицал: «Hot Ziggety!» — когда моя жена ставила перед ним хлеб и сыр. Во время первой половины своего пребывания у нас Витгенштейн настаивал на том, чтобы помогать мыть тарелки после еды. Как и прежде, он беспокоился о наличии хорошей щетки для мытья посуды и волновался по поводу того, в достаточном ли количестве имеются мыло и горячая вода. Однажды он строго отчитал меня за то, что я недостаточно хорошо ополоснул посуду. Скоро, однако, он забыл о своих тарелках. И действительно, он так ослаб физически, что эта работа потребовала бы от него слишком больших усилий.

Одним из любимых выражений Витгенштейна было «Оставь эту *чертову* штуку *как есть*!» Он произносил эту фразу очень выразительно, с подчеркнутой торжественностью в голосе. Она приблизительно означала, что эта самая «штука» в порядке и не надо стараться ее исправить.

Когда однажды у нас перестал работать слив, Витгенштейн проявил самый живой интерес, помогая мне починить туалетный бачок. Он был явно неравнодушен к техническим проблемам. Когда бачок был починен, я предложил сделать еще одно приспособление, но Витгенштейн остановил меня словами: «Оставь эту *чертову* штуку *как есть*!» В Тринити-колледже Витгенштейн както брал меня с собой, чтобы взглянуть на один хорошо работающий туалет и изучить его конструкцию, и сейчас он весьма неодобрительно отзывался о конструкции нашего. Он всегда очень высоко ценил хорошую работу и высказывал настоящее моральное осуждение в адрес плохой. Ему было приятно думать, что могут быть мастера, которые стремятся довести свою работу до *совершенства* по одной-единственной причине: просто потому, что так *должно быть*.

Вскоре после своего приезда Витгенштейн предложил, чтобы мы вместе читали его книгу. Мы занимались этим несколько раз, но я снова почувствовал, что это ставит нас в слишком жесткие рамки и вообще — не лучший способ совместных занятий философией. Мне кажется, что Витгенштейн почувствовал то же самое. В то лето он проводил многочисленные философские дискуссии с разными людьми. Совместно со мной и с Оетсом Боувсма он начал читать «Смысл и значение» Фреге, это повлекло за собой две или три встречи, на которых Витгенштейн говорил о своих расхождениях с ним. Еще на одной встрече мы обсуждали свободу воли и детерминизм. С Уиллисом Дони и со мной он начал читать «Трактат», но это продолжалось недолго. Здесь вспоминается одна история. Я спросил Витгенштейна, думал ли он хоть раз, когда писал «Трактат», о каком-либо *примере* «простого объекта». Он ответил, что в то время считал себя *логиком*, а поскольку он был логиком, то в его задачи не входило решать, является ли та или иная вещь простой или сложной, поскольку все это был чисто *эмпирический* ма-

териал! Было ясно, что он расценивает свои прежние взгляды как абсурдные.

Однажды Витгенштейн встретился с Джоном Нельсоном, Дони и мной, чтобы обсудить проблему памяти. Состоялось несколько дискуссий на различные темы с некоторыми из моих коллег по Корнелльскому университету, среди которых были Макс Блэк, Стюарт Браун и Боувсма; я тоже присутствовал. На некоторых из этих встреч Витгенштейн демонстрировал тот огонь и ту энергию, которые отличали его в Кембридже. Болезнь в конце концов сделала эти встречи невозможными. В начале осеннего триместра он провел подряд две вечерние встречи с выпускниками Корнеллского университета. На одной встрече он говорил о верификации, на другой — о знании.

Однако наибольший интерес для меня имели наши с Витгенштейном дискуссии, посвященные разбору работ Мура «Доказательство внешнего мира» и «Защита здравого смысла». Особенно подробно мы обсуждали отстаиваемый Муром тезис, согласно которому будет правильным использованием языка сказать, держа вытянутую руку перед собой: «*Я знаю*, что это моя рука», или, указывая на дерево в нескольких шагах от себя: «Я *точно знаю*, что это *дерево*». В своей опубликованной ранее статье я доказывал, что в подобных случаях имеет место бессмысленное употребление глагола «знаю», и получил от Мура заинтересованный ответ. Мы с Витгенштейном посвятили обсуждению этих проблем большое количество встреч, во время которых он сделал много исключительно важных наблюдений относительно понятия знания. Далее я привожу сжатое изложение его взглядов на основе тех кратких записей, которые я делал:

> Существует тенденция думать о знании как о *ментальном состоянии*. При этом предполагается, что я знаю свои собственные ментальные состояния. Если я говорю, что нахожусь в определенном ментальном состоянии, но на самом деле это не так, то я говорю ложь. Но я могу сказать, что знаю то-то и то-то, и может оказаться, что это то-то и то-то неверно, однако из этого не будет следовать, что я лгал. Следовательно, знание не является ментальным состоянием.
>
> Ментальные состояния, такие, как беспокойство и страдание, имеют степени. *Уверенность* тоже имеет степени, ср.: «Насколько вы уверены?» Раз уверенность имеет степени, это помогает нам думать, что знание является ментальным состоянием.

Муру хотелось бы пристально смотреть на дом всего в 20 футах от себя и произносить с особой интонацией: «Я *знаю*, что *здесь дом*». Он делает это затем, чтобы вызвать в себе *чувство* знания. Он хочет продемонстрировать самому себе, что он *знает точно*. Он думает, что таким образом дает ответ философам-скептикам, которые утверждают, что подобные примеры обыденного знания, вроде знания того, что на заднем дворе собака или в соседнем доме пожар, на самом деле или в строгом смысле слова *знанием* не являются, не являются знанием в *самой высокой степени*. Это как если бы кто-нибудь сказал: «На самом деле вы не чувствуете боли, когда вас щиплют», а Мур ущипнул бы себя, чтобы почувствовать боль и тем самым доказать себе, что другой не прав. Мур рассматривает предложение «Я знаю то-то и то-то» аналогично предложению «Мне больно». Критерием того, что он знает то-то и то-то, является то, что он *говорит*, что знает.

Такие высказывания о физических объектах, как «Это дерево», иногда играют роль, близкую пропозициям математики, в том отношении, что опыт не может их опровергнуть. Если я подойду к дереву, а под моими руками вместо дерева окажется пустота, я могу утратить доверие ко всем показаниям моих органов чувств. Точно так же я могу усомниться во всех вычислениях, если 2+2 вдруг станет равно 5. Мур говорит «Я *знаю*, что это дерево» отчасти потому, что чувствует, что если бы это оказалось *не* деревом, ему, Муру, надо было бы «подавать в отставку».

Я могу отказаться рассматривать что бы то ни было как *свидетельство* в пользу того, что это не дерево. Если я подойду к дереву и вместо дерева почувствую под своими руками пустоту, я смогу сказать, что я *раньше* обманывался, но не смогу сказать, что я раньше ошибался, когда думал, что это дерево. Если я скажу, что не буду *рассматривать* что бы то ни было как свидетельство против того, что это дерево, то это мое заявление будет носить не психологический, но логический характер.

В обыденном употреблении глагола «знать» всегда ощутимо значение «убедиться». Однако Мур произносит высказывания типа «Я знаю, что это туфля» в таких обстоятельствах, когда нет никакого смысла «убеждаться». Но именно это и может на самом деле являться причиной того, что он настаивает в подобных случаях на выражении «я знаю». Вероятно, он хочет сказать, что здесь невозможно дальше «убеждаться» в том, что это туфля, и что если бы можно было «убеждаться» дальше, то нельзя было бы найти лучших доказательств, чем те, которые сейчас перед нами. То есть мы должны здесь остановиться! Если нужно убеждаться *здесь*, тогда вообще нельзя ни в чем убеждаться! Утверждение Мура «Я *знаю*, что это туфля» может значить следующее: «*Невозможно* убеждаться, что это туфля, и, что бы ни произошло, я не смогу назвать это *свидетельством* в пользу того, что это не туфля».

Лучше не квалифицировать утверждение Мура «Я знаю, что это дерево» как неправильное употребление языка, а ска-

зать, что у этого утверждения нет определенного значения и сам Мур не знает, как именно он использует его. Мы можем *предположить*, что он использует его, чтобы продемонстрировать некоторое философское положение, гласящее, например, о том, что ряд утверждений о физических объектах обнаруживает близость к пропозициям математики или что выражение «Возможно, это не дерево» будет неверным употреблением языка. Но Муру самому неясно, что он имеет в виду. Он не понимает разницы между использованием этого выражения в некотором обычном смысле и использованием его для иллюстрации философского положения.

На этой стадии нашей дискуссии Витгенштейн пришел к выводу, что в противоположность тому, что он говорил раньше, неверно, что «в обычном употреблении глагола «знать» всегда ощутимо значение «убедиться».

Выражение «я знаю» употребляется тогда, когда не надо ни в чем «убеждаться». Например, человек может употребить это выражение в разговоре со слепым, который спрашивает: «Ты уверен, что это дерево?» И также, когда мы *закончим* исследование, мы можем сказать: «Сейчас я знаю, что это дерево». Другой пример: мы с тобой пробираемся через лес к дому, и вот я вышел на расчищенный участок, где прямо перед собой увидел дом. В этом случае я мог бы воскликнуть: «Здесь дом», а ты, все еще находясь позади, в зарослях, мог бы спросить с сомнением: «Ты уверен?» — и я мог бы ответить: «Я *знаю* это». Здесь использование выражения «Я знаю это» было бы естественным и одновременно характеризовалось бы «самой высокой степенью» достоверности, т.е. я не смог бы рассматривать что бы то ни было как свидетельство в пользу того, что здесь нет дома.

Мур должен был бы привести подобные примеры, то есть такие примеры использования выражения «я знаю», когда оно действительно употребляется «im sprachlichen Verkehr», в естественной стихии языка, в «потоке жизни». Но он не приводит подобных примеров: он предпочитает буравить взглядом дерево и говорить при этом: «Я *знаю*, что это дерево». И все оттого, что он хочет убедиться в *ощущении* знания.

Можно сказать: «Человек знает, что у него две руки», подразумевая при этом, что он не должен всякий раз считать их или убеждаться, что их по-прежнему две — в том случае, если у некоторых других существ руки могли бы внезапно отпадать.

Высказывание «Земля существует миллион лет» имеет смысл, в то время как выражение «Земля существует пять минут» бессмысленно. Что́ если кто-нибудь стал бы доказывать, что последнее имеет смысл, поскольку подразумевается первым?

Разве некоторые из муровских «трюизмов» менее абсурдны, чем другие? Нетрудно найти примеры использования выражения «Я знаю, что это рука», гораздо труднее — выражения «Я знаю, что Земля существует много лет» и совсем труд-

но — «Я знаю, что я человек». Понимать предложение — это значит быть готовым каким-то образом его использовать. Если мы не можем придумать ни одного примера его употребления, это значит, что мы совсем не понимаем данное предложение.

Не все пропозиции, основанные на опыте (experiential propositions), имеют одинаковый логический статус. Что касается некоторых из них, о которых мы говорим, что знаем, что это так, можно представить себе ситуацию, в которой мы бы сказали, что утверждение оказалось ложным. Но в отношении других это просто невозможно. Сделанное замечание носит логический характер и не имеет отношения к тому, о чем я буду говорить дальше в течение ближайших 10 минут.

Пропозиции Мура «Я знаю, что я человек», «Я знаю, что Земля существует много лет» и т.д. отличаются именно тем, что невозможно придумать ситуацию, в которой бы мы заявили, что имеем свидетельства против этого. Но когда философы-скептики говорят: «Вы не знаете», а Мур отвечает: «На самом деле я знаю», его ответ не попадает в цель, ибо он призван всего лишь уверить их в том, что он, Мур, не чувствует совершенно никакого сомнения. Но это не то, что здесь нужно.

Эти философы хотят сделать *логическое* утверждение. Они хотят сказать, что мы не знаем, является ли что-нибудь истинным, если будущий опыт может это опровергнуть. Существуют разряды утверждений, которые не могут быть опровергнуты будущим опытом, например утверждения об ощущениях, а также математические и логические утверждения. Глупо использовать выражение «я знаю» с утверждениями об ощущениях. Оно ничего не добавляет. В математике это не глупо. Существует большое сходство между некоторыми суждениями на основе опыта и математическими суждениями, а именно: никакой будущий опыт не может дать никаких оснований для того, чтобы их опровергнуть.

Философы-скептики хотят сказать, что, употребляясь с суждениями на основе опыта, выражение «я знаю» означает «Я уверен в этом, и это истинно». Они считают, что степень *достоверности* есть степень *убежденности*. Они рассматривают муровское «Я знаю это совершенно точно» (with absolute certainty) как выражение самой сильной убежденности. Здесь было бы необходимо продемонстрировать этим философам, что высшая степень достоверности имеет отношение не к психологии, а к логике и что существуют ситуации, когда невозможно ни «стать более уверенным» (для человека), ни «оказаться ложным» (для суждения). Некоторые суждения на основе опыта обладают этим свойством. Зная это, мы можем описать логические условия употребления выражения «я знаю» с суждениями на основе опыта.

Когда мы учим ребенка говорить, мы никогда не говорим ему ни «Я *уверен*, что это красное», ни «Я *знаю*, что это красное», а говорим просто «Это красное». Если бы обучение всегда сопровождалось выражением сомнения, трудно сказать, научился бы ребенок чему-нибудь. И бесспорно, он никогда не научился бы выражать мысль с оговорками. Если не

выучить таких слов, как «красное» или «стул», то не может вообще идти речь ни о каком языке.

Доказательство в математике заключается в том, что уравнение записывают на бумаге и смотрят, как одно выражение вытекает из другого. Но если всегда подвергать сомнению выражения, которые появляются на бумаге, то не может существовать ни доказательств, ни самой математики.

Конечно, иногда возможны ошибки, но они невозможны всегда. Галлюцинации являются исключением. Математические ошибки являются исключением. Оказывающиеся ложными суждения о физических объектах являются исключением.

Стремление Мура найти различие в своем опыте между «знанием» и «достоверностью» подобно тому, как если бы я сказал, что вижу разное в том случае, когда я вижу в зеркале Витгенштейна и вижу в зеркале *себя*.

Определенные пропозиции относятся к «основам моей компетенции» (frame of reference). Если бы я отказался от них, я не мог бы выносить суждений *ни о чем*. Возьми утверждение о том, что Земля существовала задолго до моего рождения. Какие опровергающие факты могли бы здесь быть? Документ?

Сомнение, вера, уверенность в достоверности сообщаемого — подобно чувствам, эмоциям, страданию и т.д. — сопровождаются у человека соответствующим выражением лица. Знанию не соответствует никакого особого выражения лица. Существует интонация сомнения, убеждения, но нет интонации знания.

Эти заметки не претендуют на дословное воспроизведение мыслей Витгенштейна, хотя некоторые фразы и предложения действительно являются дословными. Я делал записи спустя день-два после каждой беседы. Они представляют собой сжатое изложение того, что я вынес из множества дискуссий, которые имели место в течение нескольких недель. Некоторые из мыслей могли быть моими, но большинство, конечно, моими не были. Мне кажется, что эти записи достаточно хорошо отражают то (хотя и не все), что говорил Витгенштейн. И тем не менее я особенно хочу подчеркнуть, что они не могут претендовать на аутентичное воспроизведение его мыслей. Одно из его замечаний поразило меня тогда, как продолжает поражать и сейчас, своей особой значимостью. Оно аккумулирует в себе большую часть его философии: «Ein Ausdruck hat nur im Strome des Lebens Bedeutung» («Выражение имеет значение только в потоке жизни»). Витгенштейн говорил, что этот афоризм есть в одной из его рукописей; возможно, это и так, но только не в тех, которые мне известны.

Во время одной из наших прогулок Витгенштейн сказал, что, если бы у него были деньги, он, вероятно, размно-

жил бы свою книгу (Часть I «Философских исследований») на мимеографе и распределил ее между своими друзьями. Он сказал, что она еще не полностью завершена, но он надеется придать ей окончательный вид за то время, которое ему еще будет отпущено судьбой. Его план имел то достоинство, что позволял бы ему помещать в скобках после своих рассуждений какие-то выражения, свидетельствующие о том, что он недоволен собой, такие, например, как «Это не совсем правильно» или «Это сомнительно». Он бы хотел передать книгу своим друзьям, но о том, чтобы отнести ее сразу к издателю, — об этом он даже не думал. Он спросил, каково мое мнение по поводу мимеографирования. Я ответил, что отношусь к этому отрицательно. Мой ответ рассердил Витгенштейна. Он сказал, что, подобно другим его ученикам, я не желаю, чтобы книга получила широкое распространение, потому что тогда люди узнают о происхождении их собственных философских идей. Я же имел в виду совсем не то, в чем он меня подозревал, а то, что не годится, чтобы книга такой исключительной важности была размножена на мимеографе, тогда как она должна быть «в коже и золоте».

Не один раз Витгенштейн говорил мне о том, что перед ним стоит проблема, как ему распорядиться тем временем, которое ему будет отпущено. «Когда у человека есть в жизни только одно — только какой-то определенный талант, что́ он должен делать, когда начинает его терять?» — спрашивал он. Витгенштейн говорил это так искренне и так мрачно, что я, зная, что трое его братьев покончили с собой, боялся, что он может сделать то же самое.

В то лето погода была очень жаркой и в комнате Витгенштейна на третьем этаже часто было душно. Он однажды сказал, что проволочная сетка на окнах препятствует свободному движению воздуха, и спросил, почему её нельзя убрать. Я ответил, что если это сделать, то в комнате будет много насекомых, что еще хуже, чем жара. Витгенштейн усомнился. Он заметил, что в Англии и Европе на окнах обычно нет сеток. Я ответил, что в Америке больше насекомых. Витгенштейн не поверил этому, и когда он через некоторое время вышел на прогулку, то внимательно стал разглядывать дома, чтобы убедиться, есть там на окнах сетки или нет. Он обнаружил, что сетки были везде, но отреагировал несколько неожиданно:

вместо того чтобы согласиться, что в этом есть свой резон, он с раздражением заметил, что американцы — жертвы широко распространенного и глупого предрассудка относительно необходимости оконных сеток!

Вторую половину своего пребывания у нас Витгенштейн очень сильно болел. У него было воспаление плечевой сумки в обоих плечах, он не мог спать и был очень слаб. Его врач устроил так, что он должен был лечь на два дня в больницу, где его должны были полностью обследовать. За день до назначенного срока он был не только болен, но и напуган. Он говорил мне раньше, что его отец умер от рака, а сейчас его сестра медленно умирала от этой же болезни, несмотря на то что ей сделали несколько операций. Витгенштейн боялся не того, что у него обнаружится рак (наоборот, он был готов к этому), но того, что его оставят в больнице и будут готовить к операции. Он боялся не самой операции, а того, что станет беспомощным, прикованным к постели инвалидом, чья смерть будет только отсрочена. Он также боялся, что врачи будут препятствовать его возвращению в Англию в октябре, а у него уже был обратный билет. «Я не хочу умереть в Америке. Я европеец и хочу умереть в Европе», — бормотал он при мне в настоящем безумии. Потом он воскликнул: «Какой я был дурак, что приехал!»

Вернулся он из больницы в самом хорошем расположении духа. Обследование не показало ничего серьезного (хотя позже, той же осенью, у него обнаружили рак), и исчезла угроза того, что его задержат в больнице или что его отъезд в Англию будет отсрочен. Я не понимал, как он сможет выдержать это путешествие, когда он так слаб, но за две недели до отъезда силы чудесным образом снова вернулись к нему.

Витгенштейн отбыл в Англию в октябре. В начале декабря я получил от него письмо из Кембриджа:

> Доктора поставили свой диагноз. У меня рак предстательной железы. Это звучит несколько хуже, чем есть на самом деле, потому что есть лекарство (какие-то гормоны), которое может, как мне сказали, ослабить течение этой болезни так, что я смогу прожить еще годы. Врач сказал мне, что я, возможно, смогу снова работать, но я этому не верю. Я нисколько не был потрясен, когда услышал, что у меня рак, но *был* поражен, когда услышал, что с этим можно что-то сделать, потому что у меня нет желания продолжать жить. Но

мое желание здесь роли не играет. Все исключительно добры ко мне, и у меня необыкновенно добрый доктор, который к тому же весьма неглуп.

Спустя несколько дней он обращается ко мне с просьбой, чтобы я «*ни в коем случае* не сообщал *кому бы то ни было* о характере моей болезни, — тем, кто еще не знает об этом. ...Это очень важно для меня, поскольку на Рождество я собираюсь поехать в Вену и не хочу, чтобы моей семье все стало известно».

В декабре Витгенштейн поехал в Вену и пробыл там до конца марта. Отправленное им в январе письмо свидетельствует о том, что с ним все в порядке и он отнюдь не в депрессии. Он пишет, как он счастлив, что в Америке ему не поставили правильный диагноз. И далее:

Эти дни мой мозг работает очень вяло, но не могу сказать, что меня это заботит. Я читаю всякую всячину, например, «Учение о цвете» Гёте. В этой книге при всей ее абсурдности есть много интересных моментов, которые стимулируют мою мысль. ...Я совсем не пишу, потому что мои мысли никак не могут выкристаллизоваться в нужной степени. Но это и не важно.

В апреле 1950 года он вернулся в Англию. Он получил приглашение прочитать в Оксфорде лекции о Джоне Локке, за которые ему бы заплатили двести фунтов. Но там предполагалась аудитория в 200 человек, и лекции должны были носить формальный характер — без всяких дискуссий. Он отклонил приглашение и объяснил это мне так: «Я не уверен, что смогу прочитать обычную лекцию перед большой аудиторией, чтобы от этого была какая-то польза». В ту весну мне удалось заинтересовать директора Рокфеллеровского фонда Чадбурна Гилпатрика возможностью предоставления Витгенштейну гранта на проведение исследований. Я сообщил об этом Витгенштейну, и он, поблагодарив меня за мой труд, ответил следующее:

Мысль о том, чтобы иметь возможность жить там, где я хочу, не обременять и не быть помехой другим, заниматься философией, когда все мое существо нацелено на это, — эта мысль, конечно, приятна для меня, как она была бы приятна любому, кто хочет заниматься философией. Но я не смогу принять деньги от Рокфеллеровского фонда, если члены правления не будут знать всей правды обо мне. Она такова: (a) Я не в состоянии работать на хорошем уровне сколько-нибудь продолжительное время с марта 1949 г. (b) Даже до это-

го я не мог работать *хорошо* больше 6—7 месяцев в году. (c) Я старею, и моя мысль заметно слабеет и кристаллизуется все реже, и я очень быстро устаю. (d) Состояние моего здоровья крайне неустойчиво — у меня легкая форма анемии, из-за которой я легко подхватываю любую инфекцию. Это еще больше уменьшает мои шансы на то, что я смогу хорошо работать. (e) Хотя я и не могу говорить с уверенностью, но мне кажется, что мой мозг никогда не сможет работать так интенсивно, как, скажем, 14 месяцев назад. (f) Я не могу дать обещание опубликовать что-либо при жизни.

Я верю, что, пока буду жив и пока позволит состояние моих умственных способностей, я буду думать о философских проблемах и стараться написать о них. Я также думаю, что многое из того, что я написал за последние 15 — 20 лет, сможет представлять интерес для людей, когда будет опубликовано. И тем не менее вполне возможно, что *все*, что я еще *собираюсь* создать, окажется скучным, неинтересным и лишенным полета. Тому множество примеров, когда люди очень плодотворно работали в молодости и *крайне* неинтересно — в старости.

Кажется, это все, что я могу сказать на этот счет. Я верю, что ты покажешь это письмо директору Фонда, с которым ты говорил обо мне. Нельзя получить грант обманным путем, а ты мог, сам того не желая, представить меня слишком в розовом свете.

Часть 1950 года Витгенштейн жил в Оксфорде, в доме Энском. В июле он писал: «Я почти не провожу философских дискуссий. Я мог бы видеться со студентами, если бы захотел, но я не хочу. В моей старой голове ходят самые разные неясные мысли, которые, возможно, в таком разобранном виде и останутся там навсегда». Оетс Боувсма с семьей тоже проводил тот год в Оксфорде. Витгенштейн часто их посещал и очень полюбил домашнее яблочное пюре, которое готовила миссис Боувсма. В своем письме ко мне он говорит о своей неспособности заниматься философией: «Я годен только на то, чтобы есть с философом яблочное пюре».

Осенью 1950 года Витгенштейн поехал в Норвегию на 5 недель с товарищем, который за этот срок дважды болел бронхитом.

Итак, трудностям не было конца. ...Я планировал сделать кое-какую работу, но ничего не сделал. Возможно, я скоро опять поеду в Норвегию и постараюсь работать. Это единственное место из мне известных, где я могу обрести настоящий покой. Не исключена, конечно, возможность, что больше я не способен на настоящее творчество, но, конечно, стоит попробовать, способен я или нет.

Витгенштейн позже писал, что договорился, что проведет зиму на ферме своего друга в Норвегии, и уже купил

билет на пароход на 30 декабря, но должен был отменить поездку из-за болезни. В январе 1951 года он пишет, что его посетил тот самый Гилпатрик из Рокфеллеровского фонда. «Я сказал ему то же, что писал тебе несколько месяцев назад, т.е. что в теперешнем состоянии моего здоровья и умственной апатии я не могу взять грант, но добавил, что если вразрез со всеми возможностями и ожиданиями я в один прекрасный день обнаружу, что снова могу сказать что-то значительное в философии, я ему напишу. Мы расстались друзьями». Далее он продолжает, что Оксфорд — это «философская пустыня». (Мне также рассказывали, что Витгенштейн отзывался о философских кругах Оксфорда как о «зараженной зоне» и эта характеристика оскорбила некоторых преподавателей.) Он добавляет: «Мой мозг абсолютно мертв. Это не жалоба, ибо на самом деле я не страдаю от этого. Я знаю, что жизнь должна когда-то закончиться и что интеллектуальная жизнь может закончиться еще раньше».

Вскоре после этого он поехал в Кембридж и остановился в доме своего врача, доктора Бивэна. (Когда Витгенштейн впервые услышал от доктора Бивэна, что у него рак, он выразил сильное нежелание и даже страх провести свои последние дни в госпитале. Доктор Бивэн тогда сказал ему, что он может прийти умирать в его дом. Витгенштейн был очень признателен ему за это гуманное предложение.) Находясь в Оксфорде, Витгенштейн был очень болен, но теперь ему стало лучше, хотя все-таки не совсем хорошо. «Я не могу даже *подумать* о работе сейчас, но это не так важно, если только я не проживу долго. Но у меня нет депрессии». Он оставался у доктора Бивэна до самой смерти. В марте он пишет, что чувствует себя немного лучше и почти не страдает от болей. «Конечно, я очень слаб, и нет сомнения, что ничего не изменится к лучшему с течением времени. Я думаю, что вряд ли я еще буду в этом мире, когда ты приедешь в Кембридж осенью 52-года. Хотя нельзя ничего знать заранее. Но по крайней мере у меня нет депрессии». Два месяца назад он прислал мне биографию Роммеля, написанную бригадным генералом Янгом. В этом же письме он говорит: «Я очень рад, что тебе понравилась книга о Роммеле. Я совсем недавно снова просмотрел ее и был поражен тем, как просто она написана. Такие книги большая редкость».

Последнее письмо, полученное мной от Витгенштейна, было написано им за 13 дней до смерти. Он сообщает: «Со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Приблизительно месяц назад я неожиданно обнаружил, что состояние моих интеллектуальных способностей таково, что я могу заниматься философией. Раньше я был *абсолютно* уверен, что никогда этого не смогу. Впервые после двух с половиной лет с моего мозга спала пелена. — Конечно, пока я работаю всего где-то 5 недель, и к завтрашнему дню все может кончиться, но все равно это здорово встряхнуло меня». Он также говорит, что, «не считая некоторой слабости, которая то усиливается, то уменьшается, я чувствую себя *очень* хорошо эти дни».

Когда Витгенштейн поселился у Бивэнов, миссис Бивэн поначалу боялась его, но вскоре привязалась к нему. Они много гуляли вдвоем. Как она рассказывала мне, он имел на нее большое влияние, даже в мелочах. Например, она купила новое пальто, собралась идти в нем на вечер и перед выходом из дома зашла показаться Витгенштейну. Он внимательно рассмотрел пальто, потом не терпящим возражения тоном сказал: «Подождите», взял ножницы и, не спросив разрешения, срезал спереди несколько больших пуговиц. Так пальто понравилось ей больше!

Витгенштейн чувствовал себя очень хорошо и работал совершенно неистово. Когда «спала пелена», он сказал миссис Бивэн: «Я буду работать сейчас так, как никогда не работал раньше!»

В пятницу, 27 апреля, после обеда он гулял. Ночью ему стало очень плохо. Он был в сознании, и, когда доктор сказал ему, что он может прожить только несколько дней, он воскликнул: «Боже!» Перед тем как он потерял сознание, он сказал миссис Бивэн (которая оставалась всю ночь у его постели): «Передай им, что у меня была прекрасная жизнь». Здесь он, конечно, имел в виду своих близких друзей. Когда я думаю о его пессимизме, о глубине его душевных и нравственных страданий, о безжалостности, с которой он эксплуатировал свой мозг, о его потребности в любви и вместе с тем резкости, которая отталкивала людей, я склоняюсь к мысли, что его жизнь была исключительно несчастной. И все же в конце он сам воскликнул, что она была «прекрасной». Мне эти слова кажутся странно волнующими и полными тайны.

Фаня ПАСКАЛЬ

ВИТГЕНШТЕЙН: ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ[1]

Невозможно писать личные воспоминания о Витгенштейне, почти физически не ощущая на себе его неодобрительного, испепеляющего взгляда. Он был глубоко убежден и не раз в том признавался, что в других людях прежде и более всего нас интересуют их слабости. И если у него самого, невзирая на аскетизм, время от времени появлялась возможность отведать лакомого кусочка пирога, в тот момент (пару раз) я замечала, что он, как бы вопреки своему желанию, смаковал невиннейшую сплетню.

Более всего он ненавидел тех, кто интересовался его частной жизнью. Я этого не делала. Несколько фактов, узнанных мною о его отношениях с Фрэнсисом Скиннером, — это, несомненно, часть его общественной жизни. Кроме того, в памяти моей эти два человека — неразделимы.

И, учитывая отсутствие у меня опыта и привычки к писательской деятельности, не сознание ли его отверженности заставило меня провести над этими страничками почти три года? Время ушло не столько на правку написанного, сколько на паузы и заминки. Но я быстро возвращалась к тексту, подхватывая его на том же предложении, на том же слове, на котором остановилась. Несмотря на то, что годы шли, у меня не было чувства, что

---

[1] Fania Pascal. Wittgenstein: A Personal Memoir // *Encounter*, 41, no 2 (1973). *Перевод М. Дзюбенко.*

надо спешить; мне даже казалось, что черепаший шаг — неотъемлемое свойство моего предмета.

Повышаются ли акции Витгенштейна, как это было до недавнего времени? Молодежь, несомненно, очарована им; если в разговоре появляется его имя, я говорю: «О, я учила его русскому языку». Затем следуют рассказы. Несколько лет назад заезжий американский профессор привез это известие к себе домой, и мне пришел запрос от одного усердного философа. Я решила ответить на него во многом по тем же причинам, по каким пишу этот текст, но следующие письма принесли вопросы типа: какими «письменными или устными свидетельствами» об отношении Витгенштейна к Марксу и Энгельсу или о его отношении к России я располагаю, и в переписку оказался втянут даже мой муж Рой. Пришлось бить отбой, и как можно быстрее.

Полагаю, вначале надо сказать, что о философии Витгенштейна мне не известно почти ничего. Ко времени нашего с ним знакомства был напечатан только «Трактат». Я пыталась прочесть его, но вскоре оставила эти попытки. Мое невежество в отношении философии Витгенштейна было предметом гордости. «Философские исследования» я могу пощипывать; могу читать их как собрание афоризмов. Однажды, когда он был, вероятно, в особенно дружелюбном настроении и, позволив мне задавать вопросы, терпеливо отвечал на них, я спросила: «Почему вы так уверены, что ваша работа совершенно бесполезна для меня?» Он, насколько я помню, ответил: «Допустим, вы пытаетесь начертить график движения больничной медсестры к своему больному, затем график другой медсестры на другом этаже и, наконец, *один* график, который сочетал бы их, иллюстрируя общее движение?..» «Нет, я никогда не пойму этого», — вскричала я.

Одно из обстоятельств, давивших на меня и побуждавших ответить на письмо американского профессора, — отсутствие во всем, что написано о Витгенштейне, упоминаний о Фрэнсисе Скиннере (не считая того факта, что он под диктовку Витгенштейна вел некоторые записные книжки). В то время, на протяжении большей части 1930-х годов, я знала его как постоянного товарища Витгенштейна — вплоть до его ранней смерти в 1941

году. Вместе они гуляли, беседовали и работали, иногда деля комнаты в верхнем этаже маленькой бакалейной лавки. Вместе они приходили ко мне учиться русскому языку.

Начав эти заметки осенью 1969 года в Канаде, я по возвращении домой возобновила контакт с сестрой Фрэнсиса миссис Траскотт. Услышанное от нее углубило мой интерес ко всему, что касается этих отношений, и оживило ослабевшее было стремление продолжать работу.

По совсем иным причинам я опускаю всякие упоминания о другом близком друге Витгенштейна, докторе Николае Бахтине, преподавателе античной филологии в Саутгемптоне, а затем в Бирмингеме, где он в конце концов стал доцентом лингвистики. Он умер годом раньше Витгенштейна. Когда перед войной моего мужа пригласили на кафедру германистики и мы переехали в Бирмингем, Витгенштейн часто навещал Бахтиных (нередко в сопровождении Скиннера). «Витгенштейн любил Бахтина», — говорила мне Констанция, вдова Бахтина (умершая в 1959 году после многолетнего рассеянного склероза). От нее я услышала о бесконечных спорах между Бахтиным и Витгенштейном и об идиосинкразии последнего.

Николай Бахтин, эмигрировавший из России во время революции, но неожиданно к началу второй мировой войны ставший пламенным коммунистом, был вдохновенным педагогом и лектором. В его характере было что-то не позволявшее ему переносить свои работы на бумагу, и я не знаю никаких других его завершенных сочинений, кроме нескольких эссе и лекций, посмертно изданных профессором Остин Дункан-Джонс в отдельном томе, посвященном памяти Бахтина. Что я действительно знаю и что само по себе могло бы привлечь внимание к этой дружбе — это то, что Витгенштейн по-настоящему любил Бахтина, был необыкновенно счастлив и весел в его присутствии и никогда не бросал его, в то время как с другими проделывал это запросто. Это был тот редкий случай, когда Витгенштейн принимал человека таким, как он есть. И все это — несмотря на то, что внешне и внутренне они были абсолютными противоположностями. Бахтин отдавался крайностям страсти,

неконтролируемому избытку чувств и экспрессии. Казалось, он, как вулкан, всегда на грани взрыва. Он страдал иррациональными страхами и навязчивыми идеями, любил экспансивность, был большим гурманом. Будучи бездетным, Бахтин, в отличие от Витгенштейна, находил отраду не то что в детях — в кошках. И все же их объединяли особого рода детская невинность и нелюбовь ко всяческим банальностям.

Но мне бы не хотелось, чтобы это было понято так, словно я пишу о Витгенштейне в отрыве от двух давно умерших его и наших друзей. Знакомство с ним становилось переживанием, одним приносившим подъем, помогавшим выжить, других же, как в случае со мной, приводившим к состоянию внутреннего спора с самим собой, и поныне тлеющего. Еще мне хотелось бы описать исповедь Витгенштейна — так, как он открылся мне.

Осенью 1969 года мы собирались ехать в Канаду, куда моего мужа пригласили прочитать курс лекций. «Чем вы будете там заниматься? — спросил меня один знакомый. — Вам нужен особый план». Надо сказать, в моем распоряжении действительно оказалось много времени. Более того, я обнаружила, что каждый школьник в Канаде имеет прожект относительно того, где бы он когда-нибудь позже занялся своей домашней работой. А мой прожект был таков — воспоминания о Витгенштейне.

С датами и точными деталями у меня дело обстоит туго. Но с помощью некоторых вех моей жизни, таких, как свадьба и рождение детей, я могу выстроить события 1930-х годов в некое подобие порядка. Так я высчитала, что в 1934-м (или, может быть, в конце 1933-го) Фрэнсис Скиннер позвонил нам в кембриджский дом, чтобы узнать, не смогу ли я дать ему уроки русского. В то время он был аспирантом Тринити-колледжа, исключительно застенчивым и веселым парнем. Он страдал косолапостью, и в моей памяти жив его быстрый подъем по ступеньками, такой же быстрый и шумный спуск —

через две на третью. Прожив в Англии и Кембридже всего несколько лет, я уже привыкла к этому чисто английскому феномену — сверхзастенчивым юношам, детям образованных буржуа. Усиливалась ли его стеснительность от физического недостатка? С самого начала я уважала его за то, что своей застенчивости он как бы не замечал и оговаривал условия занятия, глядя мне прямо в глаза. Я знаю, к каким уловкам смогла бы прибегнуть, обнаружься, что я краснею перед чужим человеком. Заботясь о других, надо забыть о том, что сам уязвим, — что-то в этом роде мелькнуло у меня в голове. Мне показалось, что запрошенный мной гонорар, обычный по тем временам, был для него слишком высок. «Нельзя ли ходить на эти уроки моему другу? Правда, это еще не точно. Окончательно он еще не решил». — «Приводите его. Для двоих оплата будет такой же...» Кажется, они были благодарны мне, потому что вскоре прислали самую большую из когда-либо мною виденных гортензий. Когда они пришли и постучали к нам в дверь, я совершенно не была готова к тому, что другом Фрэнсиса окажется доктор Витгенштейн.

Я приехала в Кембридж в 1930 году и до замужества летом 1931-го посещала заседания Клуба Моральных Наук. Это было время, когда молодые люди, под воздействием Витгенштейна, принялись говорить: «Утверждать, что 2 — это цифра, абсурдно: чем же еще это может быть?» На встречи, которые вел профессор Дж. Э. Мур, приходили в основном студенты; и Витгенштейн на этих вечерах был источником возмущения (а может быть, и взрыва). Обычно он говорил длинными периодами без перерыва, используя сравнения и аллегории, вкрадчиво двигаясь по комнате и жестикулируя. Он околдовывал. Когда Мур терпеливо и внимательно слушал, его лицо выражало терпение и заинтересованность, но в то же время и вопрос. Я могла бы усомниться в достоверности этих давних воспоминаний, если бы позже телевидение не помогло мне понять, что выражение лица, взгляд исказить невозможно, они сохраняются дольше всего, переживают слова и вообще все случайное. За этим взглядом Мура для меня стоит тогдашнее отношение к Витгенштейну всего ученого Кембриджа.

Мне как раз была в Берлине присвоена степень доктора философии, но это было нечто совершенно иное. Я еще училась английскому, и много из того, о чем говорилось, пролетало мимо ушей. Помню записку Ричарда Брейтуэйта, которую Витгенштейн разорвал на клочки только для того, чтобы в конце концов, к изумлению присутствующих, одобрительно отозваться о ней или просто не обратить на нее внимания. В этих дискуссиях не всегда рождалась ясность, но всегда присутствовало откровение. Однажды он сказал: «Вы не можете любить Бога, потому что не знаете Его», — и развил эту тему. Недовольство тем, что он монополизирует дискуссию, привело к изгнанию его из Клуба Моральных Наук. Но вскоре его уговорили вернуться. Все это было в 1930 — 1931 годах.

Когда в 1934 году он и Фрэнсис пришли ко мне заниматься, я знала о нем многое, но лично знакома не была. Казалось, он с самого начала был легендой, и Кембридж полнился историями о нем. В первую очередь он был почтенным (почему почтенным?) автором «Трактата». До того как он стал сотрудником Тринити, его однажды попросили покинуть частную квартиру, потому что по ночам он принимал ванны. О каждой вещи он спрашивал: «А это настоящее?» Он не любил женщин-интеллектуалок и в обществе буквально поворачивался к ним спиной; моя подруга, с которой он обошелся таким оскорбительным образом, сочла это дерзкой шуткой. Его мнения по большинству вопросов были категоричны, не допускали никаких возражений. В то время когда интеллектуальный Кембридж склонялся влево, он оставался старорежимным консерватором времен поздней Австро-Венгерской империи. Но он был очарован, увидев миссис Летти Рэмси за каким-то сложным шитьем, захотел понаблюдать за ней и узнать, как это делается. Один юный друг рассказывал мне, как занятно было ходить с Витгенштейном за перочинным ножом. Его увлеченный интерес к инструментам, материальным объектам и ремеслам имел особый характер — для них у него находились терпение и терпимость, каковых никогда не было для людей. Его часто можно было видеть гуляющим по узким улицам или вдоль реки с несколькими молодыми людьми, разговаривающим и жестику-

лирующим, на шаг впереди своего спутника, чтобы иметь возможность обернуться и посмотреть ему в лицо. На языке школьников его можно было бы назвать наказанием Господним, промокашкой, всезнайкой. К началу 1930-х годов относится напечатанный в студенческом журнале стихотворный памфлет Джулиана Белла (впоследствии погибшего добровольцем в Испании), в котором он высмеивал Витгенштейна за то, что тот всегда выговаривал всем за неправильное использование языка, хотя говорил все время сам и другим не давал рта раскрыть, а также за жесткость и невнимательность к людям. Когда это стихотворение вышло в свет, даже добрейшие люди не могли удержаться от смеха; оно излучало аккумулированное напряжение, возмущение, может быть, страх. Поскольку никто прежде не осмеливался поменяться с Витгенштейном ролями и отплатить ему той же монетой.

Поэтому теперь, узнав, что он собирается учиться у меня русскому, миссис Джесси Стюарт, одна из добрейших женщин, каких я когда-либо знала, сказала: «Так Витгенштейн будет вашим учеником? Превосходно. Теперь вы заманите его в свои сети». Он и в самом деле оказался на редкость способным, равно как и беспокойным учеником.

Витгенштейн изучает русский язык

Его внешность описывали часто: невелик ростом, но концентрирует внутреннюю энергию, опрятен, с острым взглядом птицы в полете. Никогда не видела у него застегнутого воротника или галстука. Ему было трудно сидеть спокойно; казалось, он в любую минуту мог взлететь. Что-то суровое и запрещающее, хотя и наивное, направленное на других, и на себя самого, было в выражении его лица. Он часто ссорился, так как держался вызывающе. Я называла это «сатанинской гордостью», как всегда преувеличивая. Он держался отстраненно, за исключением тех моментов, когда отдыхал, или погружался в учебу, или с усмешкой рассказывал ребяческую шутку. Начав говорить, он мог полностью подчинить

вас; не думаю, чтобы ему самому было известно об этом даре. Человек, которому предстояло еще высказать знаменитое утверждение: «Философия — это борьба против очарованности ума языком», не имел ни малейшего представления, как сам очаровывает, говоря что-нибудь, все равно что. Кроме того, он был человеком наивным, смутить которого было предельно трудно. Он мог быть в высшей степени раздражительным, но во многих ситуациях (может быть, в большинстве) не мог ничего с собой поделать — его жизнь делалась тяжелой из-за чрезмерной восприимчивости, чувствительности, воздействовавшей на все его ощущения. Гораздо больше вещей приводили его в бешенство, нежели других людей. Сама будучи раздражительной, хотя в то время, возможно, и не в такой степени, как теперь, я не могу припомнить ни одного более вспыльчивого человека. Его наиболее типичным, частым было восклицание: «Невыносимо, невыносимо», — с редукцией первого слога: «Н'выносимо, н'выносимо», — закинув голову и закатив глаза. Невозможно было усомниться в искренности этих слов, как и всего, что он когда-либо говорил.

Мы всегда разговаривали по-английски. В Клубе Моральных Наук и везде, где он читал лекции, Витгенштейн, насколько я знаю, говорил тоже по-английски. Его английский был идиоматичен, образен и выразителен; едва начавшись, речь его лилась свободно, вдохновляя слушателя.

Его жесты были очень экспрессивны: он вскидывал руки в отчаянии или (реже) выражая одобрение. Спустя годы Бахтин рассказывал мне: «Витгенштейн думает, что ваше *преподавание* было хорошим, в таком духе...», — размечая воздух большим и указательным пальцами, сложенными в подражание Витгенштейну. «Преподавание» выделялось ударением; это была капля в море его критики моей деятельности, и прежде всего моей манеры говорить. Ему она казалась слишком цветистой и неточной. Но пока у нас шла работа, разногласия не обострялись. Они приходили раз в неделю на двухчасовой урок: об этом я вспоминаю с удовольствием. В исключительно короткое время они освоили грамматику (чему я особенно люблю учить) и приступили к чтению серьезной русской прозы. Вскоре я могла уже

порадовать их уместной пословицей. В будущем мне редко доводилось видеть их столь жизнерадостными. Не могу вспомнить, через сколько (видимо, через несколько) недель Витгенштейн заболел и, лежа в постели, прислал мне перевод сказки Гриммов с немецкого на русский. Я изумилась и поняла, что, хотя и Фрэнсис стремительно шел вперед, заниматься мне придется с каждым в отдельности. Теперь уже не вспомнить, как я это делала. Уроки с ними обоими продолжались не дольше трех кембриджских семестров по восемь недель каждый. Витгенштейн приходил еще раз сам в 1935 году для собеседования по русскому накануне его поездки в СССР.

Фрэнсис Скиннер поднаторел настолько, что на каникулах писал мне письма по-русски, которые я, исправив ошибки, отсылала обратно. Увы, теперь в своем архиве я могу найти только одно его письмо, написанное по-английски. Оно послано в августе 1940 года из дома Бахтиных, где они с Витгенштейном гостили, на ферме около Першора, где мы собирали фрукты. Сожалеет о нашем отсутствии — «С наилучшими пожеланиями в это беспокойное время», — не зная точно, когда сможем теперь увидеться — «Доктор Витгенштейн едет обратно в Кембридж самое позднее завтра, поскольку, если что-нибудь случится, он не сможет вернуться». Это переносит нас в лето 1940 года, когда захвату и интернированию беспорядочно подвергались немецкие и австрийские граждане и эмигранты. (Как и Витгенштейн, Фрэнсис всегда писал на линованных страничках из школьных тетрадей.)

Не уверена, перевел ли Витгенштейн «Румпельштильцхен» или какую-то другую сказку, но помню, как он однажды взял том сказок Гриммов и с трепетом в голосе прочитал:

Ach, wie gut ist dass niemand weiss
Dass ich Rumpelstilzchen heiss [1].

---

[1] Ах, как хорошо, что никто не знает,
Что Румпельштильцхен меня называют.

«Глубоко, глубоко», — сказал он. Я любила «Румпельштильцхен», понимая, что сила карлика, оставаясь неясной людям, заключена в его имени, но не способна была проникнуться его воображением. Видеть его в состоянии тихого, молчаливого трепета, словно глядящего вдаль, за пределы того, что доступно каждому, по силе впечатления уступало разве что его речам.

В середине урока подавался поднос с чаем и домашним фруктовым пирогом, пользовавшимся большим успехом. Всякий раз, когда Витгенштейн просил налить ему побольше воды, начинался жаркий спор. «Больше, больше воды», — шумел он, хотя я убеждала его, что в его чашке и так уж одна вода. Тогда он рассказывал анекдот об австрийском крестьянине, который все время просил долить ему в кофе рому («Плесни еще»), пока у него не оказывался чистый ром. Его редкие анекдоты имели такой же невинный характер. Прося добавки пирога, он говорил: «Тот, кто поставил перед вами вкусную пищу, запоминается надолго». Мне всегда представлялось, что по природе своей он не был аскетом и ценил «радости жизни», все то, от чего усилием воли отказывался. В 1935 году мы переезжали, и я сказала, что мне понадобятся новые занавески. «Я могу помочь вам выбрать», — сказал он. Это явно вырвалось у него непроизвольно, так что он, испугавшись, немедленно взял свое предложение назад.

Однажды в комнату, где мы занимались, ворвалась моя маленькая, двух с половиной лет, дочка. Когда ее выпроводили, я сказала: «От детей одно волнение». Это вызвало у него гнев, выразившийся только в жесте: дети есть дети, их надо терпеть, что за абсурд говорить об этом. Вскоре Фрэнсис принес девочке гору игрушек, купленных в «Вулвортсе»[1]. Этот магазин, где в то время ни одна игрушка не стоила больше шести пенсов, стал их любимым. Главной проблемой была здесь целесообразность покупки. Витгенштейн поеживался, если слишком часто упоминали «вкус». Но годы спустя я встретила даму, которая была перед первой мировой

---

[1] «Вулвортс» — сеть однотипных универмагов, специализирующихся на продаже дешевых товаров широкого потребления. — *Прим. пер.*

войной студенткой в Кембридже и помнила Витгенштейна эстетом.

Вскоре его любимым чтением на русском языке стало «Преступление и наказание» Достоевского. По прошествии более двадцати лет сестра Скиннера миссис Траскотт, встреченная мною тогда впервые, отдала мне экземпляр этой книги, найденный среди вещей брата и принадлежавший Витгенштейну. В нем проставлены все ударения. Как только Витгенштейн убедился в том, что в русском языке нет точных правил ударения, он стал расставлять их сплошняком. Я прочитала с ним несколько отрывков. Проставить ударения в целом романе — по любым меркам подвиг, и самостоятельно ученик не может сделать этого — точнее, если б он мог, в этом не было бы необходимости. Был ли у него другой учитель русского языка или, что вероятнее, он читал эту книгу с Бахтиным? Поэзию мы не читали; но однажды он процитировал мне Пушкина. Это, скорее всего, было у него от Бахтина, обожавшего читать вслух русскую поэзию. По поводу Достоевского мы ссорились. Однажды я сказала, что тот многому научился у Диккенса, и это действительно так. Но Витгенштейну это не понравилось, и он вознегодовал. «Диккенс, — и он отмерил два фута от пола, — Достоевский, — его рука взмыла вверх».

Витгенштейн и Скиннер

Мне никогда не приходилось слышать, как он говорит о политике, хотя кто бы усомнился в том, что его глубоко волновали события этих лет и его консерватизм, вывезенный с родины, возможно, был поколеблен. Однако всякий раз, когда поднимались политические вопросы, он сердился. Когда он однажды как-то пренебрежительно отозвался о марксизме, я свирепо набросилась на него со словами, что ничто не было дискредитировано так, как его старомодные политические взгляды. Он хранил молчание! За шести-семилетнее знакомство не более трех-четырех раз случалось так, чтобы он отказывался меня понимать (это не касалось моего препода-

вания), и тогда на лице его было написано: да знает ли она, о чем говорит? Мне нравится вспоминать об этом честном сомнении, как и о том случае, когда, рассказав ему об одной совершенной мною большой ошибке, я услышала его оценку: «Да, вам недостает проницательности».

Меня только что избрали в кембриджский Комитет друзей Советского Союза, и я сообщила эту хорошую новость им обоим. Витгенштейн твердо сказал, что политическая работа — худшее, что только можно для меня придумать, мне она принесет много вреда. «Все, что от вас требуется, — быть доброй к другим. Ничего больше. Просто быть доброй к другим». Выводило из равновесия, когда он хотел, чтобы ты занималась не тем, чем занята сейчас, а чем-то совсем другим. Он создавал в воображении образ лучшей тебя, подрывая твою уверенность в себе. Я быстро поняла, что по-русски могу говорить ему то, что, будучи сказано по-английски, разъярило бы его. Может быть, потому, что устный русский язык (кроме политического жаргона) свободнее от клише, или потому, что русских клише он не понимал. Взрываясь, «устраивая сцену», можно было избежать ограничений, налагаемых существующими словесными формулами. Он позволял людям иметь сильные чувства и принимал то, что сказано в гневе.

Вряд ли мне можно делать вид, будто я не знаю, сколько верительных грамот требуется от каждого говорящего о Витгенштейне, и поэтому я опасаюсь, что мой «прожект» прочтут как рассказ о дружбе с этим человеком, на что я нимало не претендую. Я лишь намерена поведать то, что запомнилось мне о нем за годы с 1934-го по 1941-й. Я прошу понять, что ленч у нас дома или чай у него в Тринити-колледже были редкими, единичными событиями.

Он был неуловимым человеком, окутывавшим свои приходы и уходы тайной. Один, может быть, два раза он заходил с рюкзаком за плечами, словно только приехал поездом, возможно, из-за границы; но спрашивать его, откуда он прибыл, не следовало. Мне бы и в голову не пришло задавать ему вопросы личного свойства (да и кто из людей посмел бы об этом подумать?), и он тоже никогда не задал мне ни одного. Он звонил, когда хотел ви-

деть тебя или когда у него было к тебе дело. Последнее представлялось наилучшей основой для взаимопонимания или продвижения в работе. Он сам полностью определял форму взаимоотношений с людьми. Бо́льшая часть его жизни навсегда останется неизвестной даже ближайшим друзьям.

Не сомневаюсь, что в эти годы Фрэнсис Скиннер был ему наиболее близок. Его отношение к Фрэнсису — вот что мне хотелось бы прояснить больше всего. В общении с человеком настолько моложе его (Фрэнсису было тогда 22, Витгенштейну — 45) и очень застенчивым его тон был жестким, как у судьи, хотя только Фрэнсиса Витгенштейн называл в его отсутствие по имени. Остальных он называл по фамилии. Суровый тон был, конечно, привычен ему — тон, в котором он говорил о философии. Мы и Бахтины заметили, насколько веселее и проще чувствовал себя Фрэнсис, когда рядом не было Витгенштейна. Опять же, многие ли люди чувствовали себя рядом с ним весело и свободно?

В скором времени Витгенштейну довелось сыграть в жизни Фрэнсиса определяющую роль, убедив его оставить математику и пойти подмастерьем в Кембриджскую научную инструментальную компанию. «Был ли Витгенштейн для Скиннера благом или злом?» — вот вопрос, который недавно поставила передо мной сестра Фрэнсиса, когда я впервые с ней встретилась. Она сдержанно рассказала мне о смятении, охватившем их семью, когда ее брат, замечательный математик и студент Тринити-колледжа, решил все бросить. «Почему, — спрашивала она, — *почему?*» Она рассказывала, как приехала с родителями из Лэтчуорта, чтобы навестить Фрэнсиса, пока он учится в колледже, и как он сбежал по ступеням, шипя на них: «Я занят. У меня доктор Витгенштейн. Мы работаем. Приходите попозже». Шипение и подавление окружающих связаны для меня со многим, слышанным о Витгенштейне.

Его моральное и практическое влияние на окружающих поражает по меньшей мере так же сильно, как и его труды. Виноват ли он в том, что на характере и манере речи некоторых людей остался отпечаток, по которому и десятилетие спустя после его смерти Рой и я узнали его в новом, далеком от философии знакомстве? Я оставила Роя с гостем, а сама вышла сварить кофе. Вер-

нувшись, услышала, как они беседуют об одной из картин Национальной галереи. Молодой человек говорил: «Вы имеете в виду ту, что висит в зале номер такой-то, налево от двери? Ее размер около...» Мы навострили уши. Скоро обнаружилось, что да, он был другом Витгенштейна. Несмотря на суровый и сложный характер, у него было бесчисленное множество друзей в самых неожиданных местах.

Вы узнавали ученика и ***некоторых*** друзей по манере, с которой они осторожно прокладывали свою тропу в разговоре, как бы ступая по камням через болото. Витгенштейн выбирал как наиболее близких ему людей преимущественно с точной манерой разговора (Бахтин был исключением). Трудно представить, чтобы Фрэнсис Скиннер, человек крайне застенчивый, разговаривал иначе. Но когда Фрэнсис фыркал при виде книжки по истории, лежащей на столе, вы замечали дурное влияние. Все следы страданий от диктаторского с ним обращения он от меня скрывал. За эти годы в нем значительно прибавилось уверенности и зрелости, но его собственные внутренние доброта и чувствительность к другим остались неповрежденными. Свою ужасную застенчивость он преодолевал в тяжелой борьбе. Он мог быть радостным и любил общество. Не ошибусь, если скажу, что он не был способен подумать о ком-нибудь дурно. Он мог и учился быть практичнее, хотя, увы, оставался чересчур бескорыстным, чересчур стеснительным. Его жизнь безмерно обогатилась философией и дружбой Витгенштейна, но духовно, я думаю, он остался верен себе. Его стремление стать добровольцем интернациональных бригад во время гражданской войны в Испании было совершенно независимым, свободным. (То, что его не взяли, возможно, связано с его физическим увечьем.)

Когда Фрэнсис в 1935 году стал механиком, Витгенштейн, никогда не обсуждавший со мной его поступков, сказал однажды: «Он никогда не был бы счастлив в академической среде». Возможно, это было верно. Трудящиеся люди были добрее и не столь застенчивы, как люди его класса. Он ходил на вечеринки в «Пай»[1], куда пере-

---

[1] Компания по производству бытовой радиотехники, электроприборов и электронного оборудования. — *Прим. пер.*

шел из Кембриджской научной инструментальной компании, и участвовал в общем веселье, даже танцевал. Но вопрос о том, было ли у Витгенштейна право влиять на молодого человека в столь далеко идущих практических решениях только потому, что ему это было дано, остается открытым. Знаю, что ставить так вопрос — значит, с точки зрения Витгенштейна, говорить «бессмыслицу». Но с точки зрения тех проблем, что встают в отношениях между поколениями, и той серьезной ответственности, которая лежит на старших, это не бессмыслица. Насколько далеко могут и должны заходить в своих указаниях младшим родители, учителя и проповедники? Поразительно, что Витгенштейн, наверное, почти никогда и не спрашивал себя: а есть ли другие люди, близкие Фрэнсису, чье мнение должно быть принято во внимание? Он относился к Фрэнсису как к достойному доверия и способному принимать самостоятельные решения подростку, не осознавая огромной силы своей личности и ее неизбежного воздействия на всю ситуацию. С другой стороны, не критиковать, а только восхищаться можно им за то, что его голову никогда не посещали размышления о статусе, классе и всемирном успехе. Его заботило, чтобы люди были верны своей природе; без этого они не смогут стать счастливыми.

По возвращении из Канады я осознала, сколь важную часть моего «прожекта» составляют отношения Витгенштейна и Скиннера. У меня уже было представление о том, какими они виделись родителям Скиннера. Мог ли Витгенштейн показаться им злым гением? Чувствуя потребность в дополнительной информации, я связалась с миссис Траскотт, поделившейся со мной некоторыми фактами. Бывший наставник Тринити-колледжа профессор Гарри Сэндбах любезно отыскал для меня сведения, касающиеся пребывания там Скиннера.

В 1925 году, когда Фрэнсису было 13 лет, он серьезно болел остеомиелитом, и отсутствие современных антибиотиков привело к тому, что часть кости была удалена, сделав его увечным и зависимым от новых опасных приступов. Его физическое развитие замедлилось, и в школьные игры он не играл никогда. Семья видела в нем чувст-

вительного, но замечательного мальчика, требовавшего особо бережного обращения. В 1930 году он отправился из Сент-Полза [1] учеником в Тринити, занялся математикой и на экзамене в 1933 году был ранглером[2]. В последующие два года аспирантской работы он получал призы и стипендии, хотя к тому времени, по-видимому, полностью погрузился в философию Витгенштейна и посвятил себя работе с ним.

Его матери вполне могло показаться, что стипендию в Тринити он получил для работы с Витгенштейном. Но, считает профессор Сэндбах, непохоже, чтобы колледж пошел на какие-то особые условия, хотя предполагаемые занятия в его заявке, вероятно, излагались. Под влиянием Витгенштейна Фрэнсис решил оставить математику. Он поговаривал о том, чтобы заняться медициной (это осуществил другой, более давний ученик Витгенштейна, Друри); но родители не увидели его на этой стезе. В качестве альтернативы обсуждалась возможность стать механиком, а позже явилась мысль, что он должен поехать и поселиться в России (с Витгенштейном или без него, миссис Траскотт точно не знает). Этот план вызвал у родителей огромное беспокойство. Он и Витгенштейн вместе проводили каникулы — одни — в Норвегии, другие — в Ирландии. На лето 1935 года намечалась их совместная поездка в Советский Союз. Но в последний момент у Фрэнсиса началось обострение болезни, и поехать он не смог. Видимо, Витгенштейн поехал один (а не с «другом» — им был Фрэнсис, — как предполагает в своем биографическом очерке профессор фон Вригт). По возвращении Витгенштейна из СССР, как вспоминает миссис Траскотт, они отказались от всех своих планов. Таково же было и мое впечатление — я вернусь к нему позже.

В том же году Фрэнсис начал работать в Кембриджской научной инструментальной компании. Вплоть до своей смерти он оставался близким другом Витгенштейна, и часто в выходные они отправлялись на совместные

---

[1] Сент-Полз-скул — одна из старейших престижных мужских привилегированных средних школ. Находится в Лондоне. — *Прим. пер.*

[2] Ранглер — выпускник, занявший (в Кембриджском университете) второе место на экзамене по математике. — *Прим. пер.*

продолжительные прогулки. Во время войны он работал над военными заказами. Миссис Траскотт говорит, что на похоронах (в октябре 1941 года) Витгенштейн выглядел «более подавленным, чем всегда». Вряд ли, полагает она, ее родители стали с ним разговаривать; и с людьми он общался (по ее словам), как «испуганное дикое животное». После похорон к ним домой он не поехал, а некоторое время спустя она видела, как он с «довольно диким» видом гулял по Летчуорту с доктором Барнэби, наставником Тринити.

Мы знаем, что в 1934 — 1935 годах Витгенштейн диктовал Скиннеру «Коричневую книгу». Но разве правильно было бы видеть в Скиннере только секретаря? Даже постороннему наблюдателю было ясно, что Витгенштейн проверял и совершенствовал свои мысли в бесконечных беседах с Фрэнсисом и несколькими другими молодыми людьми. Так или иначе, они были необходимы для формулировки его мысли, и в них, возможно, ключ к пониманию того, почему для жизни он выбрал именно Англию. Они, дети английского среднего класса, соединяли в себе две черты, которые Витгенштейн тогда ценил в учениках: детскую невинность и превосходный интеллект.

Американский профессор, упомянутый в начале, в ответе на мое письмо спросил: «Что опубликовано Фрэнсисом Скиннером?» Это вульгарно-академическая реакция. Фрэнсис не опубликовал ничего, никогда об этом и не думал. Но если и в самом деле нигде не записаны и никем не признаны его заслуги, прежде всего в 1933 — 1935 годах, когда он всецело посвятил себя работе с Витгенштейном, — пусть этой заслугой было лишь его мимолетное сомнение во время дискуссии, его огорчение от какого-нибудь сложного предложения, мягкий протест («Да, но...») — тогда потеряна или упущена какая-то существенная, не менее прочих важная черта витгенштейновского способа работать.

Пора вернуться к основной нити рассказа о Витгенштейне. Контакты между нами, в том числе деловые, продолжались вплоть до нашего отъезда из Кембриджа в 1939 году, затем были случайные встречи, однако непри-

нужденные отношения закончились вместе с нашими занятиями.

В январе 1935 года должен был родиться наш второй ребенок. С приближением рождественских каникул мне нужно было сказать им, что я не смогу продолжить занятия. Я была на восьмом месяце, и это было заметно; мне и в голову не приходило, что они этого не замечают. Но они оказались совершенно не сведущи о моем положении, решив, что я больна и, немного отдохнув, поправлюсь. Они были наивны, как школьники, и это помешало мне рассказать им о приближающихся родах. До рождения ребенка занятия пришлось прервать, о чем я известила их письмом.

События двух последующих лет память приносит не совсем в том порядке, в каком они происходили на самом деле. Общим было то, что Витгенштейн много работал, часто жалуясь на невозможность сосредоточиться. 1935 год кажется мне более светлым временем. Особая депрессия этого человека связана в моем сознании со временем перед его отъездом в Норвегию в 1936 году.

В памяти всплывают приятные эпизоды более ранней поры. Мы с Роем пошли в «Тиволи» на Фреда Астера и Джинджер Роджерс в «Высокой шляпе» и в фойе встретили Витгенштейна и Скиннера; Витгенштейн говорил о танце с глубоким восхищением, с энтузиазмом, подробно и серьезно комментируя технику. Позже мы увидели их в переднем ряду темного кинозала — короткий и высокий силуэты. Витгенштейн был очень близорук, но (как мне сказали) отказывался носить очки. В другой раз он поведал мне, что никогда не пропускает выступлений Руфи Рэпер.

Однажды они довольно торжественно пригласили нас на чаепитие в Тринити. Мы сидели в знаменитых шезлонгах, которые моей спине показались довольно неудобными. Комната была голой: ни цветка, ни картины. К чаю нам предложили толстые сандвичи с помидорами, купленные, как они гордо поведали, в «Вулвортсе». После чая Витгенштейн говорил, а мы слушали. О чем, я сейчас не помню, помню только, что он сильно завелся, и мы тоже. Он обращался к нам, но иногда забывал про нас — тогда Рой и я могли обменяться взглядами.

По дороге домой мы говорили о том, что никто больше не смог бы так дать тебе почувствовать, что в твоем мышлении столько натяжек, что оно идет не теми путями, заставил бы увидеть вещи, до этого тобою не замеченные. Пока мы ели толстые сандвичи, Витгенштейн хвалил «Вулвортс». Он купил там разборную фотокамеру по шесть пенсов за деталь, всего два шиллинга — замечательный инструмент! После этого он предложил мне немного посниматься, что мы и сделали одним солнечным днем в Невиллз-Корт в Тринити. Я села на скамейку, и, когда он опустился на колено, глядя в объектив, у меня возникло чувство, словно я для него — материальный объект и что он мог бы подойти и отстраненно передвинуть мой локоть на дюйм. Фрэнсис рассказывал мне, что Витгенштейн мог часами срезать тоненькие полоски со сделанных им маленьких фотографий, пока не достигал той пропорции, которой был доволен. И в самом деле, когда он отдал мне мои снимки, они сильно отличались от первоначального размера; один из них стал меньше на квадратный дюйм. Во время гражданской войны в Испании Витгенштейн, увидев у нас увеличенный фотоснимок только что убитого в Испании Джона Корнфорда, хмыкнул: «Вы думаете, снимок можно просто так увеличить. Посмотрите — это всего-навсего брюки». Я взглянула — конечно, он был прав. В тот же день, когда он меня фотографировал, мы пошли в Феллоуз-Гарден и он в благоговении стоял перед каким-то растением, повторяя: «Глядите, видно, как оно растет...» Мне удалили миндалины, и я в плохом настроении лежала в частной больнице Ивлин. Зашел Витгенштейн. Я прокаркала: «Чувствую себя, как раздавленная собака». Это вызвало у него омерзение: «Вы не знаете, что чувствует раздавленная собака».

Посещение России и Норвегии

Летом, готовясь к поездке в Россию, он сам пришел на собеседование по русскому языку. Фрэнсис теперь работал на фабрике и в этом не участвовал. Да мне и не

сказали, что он посвящен в план посещения России. Эти уроки-беседы были мучительны. Мы сидели в саду. Он нетерпимо отвергал любую тему, которую я предлагала, — все, что пригодилось бы путешественнику или простому смертному. Они были для него абсурдны, вообще не были темами. Я знала, что вопросы, приходящие в голову: зачем вы едете, какие у вас планы и т.д.,— задавать нельзя. И только если я кричала по-русски: «Они не нашли, о чем поговорить, и пожелали друг другу доброго утра», — он расслаблялся, и мы начинали. Приятно было заставить его посмеяться над собой, но удавалось это редко. Знал ли он, как подавляет других, хотя его заветное желание — чтобы они вели себя естественно? Его характер, конечно, был несравненно нетерпимее и строже, чем требования любой логической теории. Манера людей разговаривать приводила его в отчаяние.

Вернувшись из России, он послал ко мне с отчетом Скиннера. По крайней мере так сказал Фрэнсис: «Доктор Витгенштейн просил меня дать вам отчет». Вначале шли некоторые технические детали путешествия. Его хорошо приняли. Он пришел в Московский университет к профессору математики госпоже Яновской и попросил доложить о себе. Он услышал ее изумленный возглас: «Что? Тот самый великий Витгенштейн?» Тут я догадалась, что он послал Скиннера правдиво рассказать о том, о чем сам говорить бы не смог. Ему предложили кафедру философии в Казани — в университете, где учился Толстой. Насчет своего будущего он не решил ничего.

О профессоре Яновской Витгенштейн позже рассказывал мне, что она была замечательным человеком, воспитывала маленького сына. Жизнь у нее была трудная, она болела диабетом. Мысленно пытаясь привести события в порядок, я всегда полагала, что Витгенштейн просил меня послать лекарства профессору Яновской перед поездкой в Норвегию в 1936 году. Но его письмо из Норвегии (датированное 4 сентября 1937 года), которое я недавно откопала, доказывает, что я ошибалась; «постскриптум» к этому письму (датированный 12 октября 1937 года) подтверждает мою ошибку — хотя я не думаю, что ошибочно и другое мое предположение, а

именно о том, что в первый раз он вернулся из Норвегии летом 1937 года.

Письмо из Скьолден-и-Сонь длиннее, чем его обычные короткие деловые записки, — это своеобразный ответ на письмо профессора Яновской, в котором она просит Витгенштейна прислать ей какие-нибудь лекарства (протамин — цинк — инсулин, «Киббс», Нью-Йорк — должно быть, имеется в виду «Сквибб»). Он попросил меня узнать, можно ли сделать это в Кембридже через магазин «Бутс»[1], добавив, что готов помочь, если это не превысит 10—15 фунтов стерлингов. Он подчеркнул три русских слова, которые не понял в ее письме, и попросил объяснить их; мне надо было вернуть ему письмо, ни с кем о нем не говоря и спросив совета у Роя. У него был замечательно энергичный почерк, до сих приводящий меня в трепет; он писал на линованных страничках из школьной тетради. Конец письма смазан; слово «annoyed»[2] написано как «anoied». Я выполнила его просьбу, и «Бутс» отправил посылку. Постскиптум был написан на обороте двух маленьких картинок Бергена. В нем говорится, что через лондонского друга, «выступающего в качестве моего банкира», он договорился передать мне чек на сумму 3 фунта стерлингов. «Если Ваши расходы будут больше, мы отправим посылку на Рождество, когда я приеду в Кембридж». Об этом я ничего не помню. Его беспокойство насчет денег связано с тем, что к этому времени он уже не был стипендиатом Тринити и не имел регулярного дохода.

Что же касается его поездки в Россию в 1935 году, то хотела бы повторить сказанное ранее: у меня сложилось впечатление, что, вернувшись оттуда, он почти сразу отказался от намерения переселиться туда, хотя мысль о России как о духовном пристанище вновь возникает в его последнем письме к Энгельману от 21 июня 1937 года эхом мечты, высказанной в гораздо более раннем письме к нему же, в сентябре 1922 года. «Все еще вертится у меня в голове возможный побег в Россию». Мне кажется, в этом — ключ к его отноше-

---

[1] «Бутс» — аптека фармацевтической компании «Бутс». — *Прим. пер.*

[2] Раздраженный.

нию к России, к чему я еще вернусь. Предположения о второй поездке в Россию в 1939 году основаны на слухе и явно ошибочны.

Вернусь к 1936 году и поездке Витгенштейна в Норвегию. Не дурная ли это шутка, не уловка ли памяти думать, что именно в том году его душевное состояние более, чем когда-либо, было подавленным из-за беспокойства и неуверенности, заставив его полностью отрезать себя от людей? Когда год спустя он вернулся в Кембридж, его дух еще явно не освободился от большой тяжести, и исповедь казалась выходом из долгого кризиса. Ярких сцен, подобных эпизодам предыдущих лет, конечно, не вспоминается. Однако необходима разумная предосторожность, когда пытаешься определить душевное состояние человека, в каком-то смысле всегда подверженного отчаянию.

Перед поездкой в Норвегию он проехал (на автомобиле) по Бретани со своим (как он сказал мне) новым другом, хорошим знатоком местности и превосходным водителем. Поездка Витгенштейну явно понравилась. «Мой друг — инвалид, — заметил он, — хром на одну ногу». Я помню эту поразившую меня деталь, касающуюся второго хромого друга. Прощаясь, он попросил регулярно присылать ему на Скьолден какой-нибудь английский еженедельник. Какой? «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Выражение его лица — предвкушающее мое удивление, но запрещавшее всякие возражения как тривиальные и ненужные — было слишком знакомо. Фрэнсис посетил в Норвегии Витгенштейна и по возвращении описал, как все это выглядит. Жизнь там текла в полной изоляции и одиночестве. За хлебом приходилось ездить на лодке; трудно было осуществить элементарную домашнюю уборку.

Письмо Витгенштейна из Норвегии вызвало у меня сильнейший взрыв ярости — ярости, обострявшейся тем, что ему я выразить ее не смела и могла излить душу лишь одному-двум друзьям. Я немного учительствовала, немного занималась политической деятельностью, но хотела, чтобы дела почаще вытаскивали меня из дома. Поэтому я была довольна предложением читать в

Ассоциации работников образования лекции о современных событиях. С высоты прошедших 35 лет я вижу, что с моей стороны было идиотизмом, зная Витгенштейна, не предвидеть его реакции на эту новость. Тем не менее, я думаю, моя глупость не оправдывает и не извиняет резкого и раздраженного письма, полученного от него. Подумать только, этому письму суждено было стать единственным от него ко мне, словно написать его вынудила жестокая необходимость.

Даже теперь, когда я больше не читаю лекций и не преподаю, я не могу вспоминать об этом письме спокойно. Он умел ранить. Благодаря цельности его характера всякая частичная критика в его адрес кажется придирками, но я не могла спокойно наблюдать за его умением находить уязвимые места другого человека и ударять по ним с ураганной силой. Даже если принять во внимание, что он, как я знаю, был человеком огромной чистоты и невинности, это не изменит моего чувства.

Он писал, что я, без сомнения, должна бросить эти лекции, что это моя ошибка, которая принесет мне зло и вред. Меня словно что-то толкнуло, и я в ярости порвала письмо. Хотя никогда не было такой опасности, что его наставления заставят меня отказаться от своих занятий, я и сейчас, тем не менее, помню жар под воротничком; и делаю из этого вывод, что его влияние было дурным как для меня, так и, возможно, для других. Будучи проницательным судьей характеров, свободным от ощущения собственной праведности, к другим он применял те же жесткие мерки, что и к себе. Если вы совершили убийство, если расстраивается ваша свадьба или если вы близки к тому, чтобы поменять свои убеждения, он был лучшим советчиком. Он никогда не отказывался оказать действенную помощь. Но если вы страдали от страхов, сомнений, плохого настроения, он был опасным человеком, от которого следовало держаться подальше. Он не сочувствовал обычным горестям, и его лечение всегда было радикальным, хирургическим. Он избавлял вас от первородного греха. Отвратителен отрывок из его раннего письма Энгельману (от 11 октября 1925 года): «Мне просто пришлось отрубить пару органов, те же, что останутся, будут от этого здоровее...»

Манера его исповеди также проливает свет на эту тенденцию. Приходилось бороться изо всех сил, чтобы не получить очередного клейма — остерегаться, что скажет Витгенштейн, если ты сделаешь это, скажешь то, прочтешь ту или иную книгу. Это означало конфликт, поскольку вы хорошо понимали, что от него можно узнать больше, чем от кого бы то ни было (я не имею в виду логику или философию). Если бы только он был менее деспотичен, не столь падок на запреты, более терпим к другому характеру и образу мысли! Увы, он не был педагогом.

Может показаться, что я позволяю себе эти широкие обобщения только потому, что Витгенштейн написал мне резкое письмо. Но я полностью отдаю себе отчет в очень личном характере своей реакции, как и в том, что он не любил женщин, владеющих профессией, а его отношение к людям было очень переменчиво. Если я и обобщаю, то лишь памятуя о том положении, какое он тогда занимал в Кембридже. Люди, с которыми вы говорили о нем, выказывали величайшее терпение, принимая как само собой разумеющееся, что сам он мог быть нетерпим, раздражителен, идиосинкретичен. Такова была реакция нашего младшего друга, математика Элистера Уотсона, который со своей женой Сьюзен близко дружил с Витгенштейном. Ему я пожаловалась на письмо Витгенштейна; и он, будучи наполовину моложе его и только начиная профессиональную деятельность, пожал плечами и мудро улыбнулся: «Что поделаешь, он таков...»

Если под чувством юмора понимать способность видеть себя со стороны при общении с другими, то у Витгенштейна оно отсутствовало напрочь. Возможно, он не знал о своей резкости, равносильной жестокости, которой он наносил удары, никогда их не смягчая [1]. Не знал он и о страхе, который вызывал в людях. Трудно представить менее сдержанного человека, столь скорого на гнев и ярость. Я

---

[1] Доктор Ф.Р.Льюиз рассказывал моему мужу об одном характерном случае, произошедшем в его присутствии, но в тот раз Витгенштейн, что не было для него характерно, с готовностью принял критику своего поведения доктором Льюизом.

беседовала об этом с интеллигентной молодой женщиной, с которой познакомилась в Канаде. «Что толку критиковать Витгенштейна», — с отвращением к самой себе сказала я. Ее ответ: «Толку, наверное, никакого, но не поможет ли это таким образом описать человека? Свои придирки вы уравновесили бы превознесением его до небес». «Невыносимо, невыносимо», — воскликнула я, помня о нем. Мне показалось тонким ее предположение, что пониженная чувствительность к переживаниям других объясняется избытком восприимчивости.

Когда Витгенштейн сказал профессору Норману Малкольму (как тот сообщает в своем биографическом очерке), что ему не хватает дружеских привязанностей, хотя он в них нуждается, я думаю, он также был не прав. Нам он, безусловно, часто выражал и показывал свою признательность; однажды Бахтиным и нам он прислал на Рождество карлсбадские сливы, мог отправить из Вены открытку с рисунком пташек и пожеланиями «радостной Пасхи». Констанция Бахтин рассказывала мне, что, живя у них, он боролся с собой, принося и разбрасывая по полу дюжину маленьких пакетиков с кофе — настолько маленьких, что они не успевали выдохнуться. Я помню деликатность, с которой он передал мне известие о смерти Фрэнсиса, вставив его в письмо, адресованное Рою.

Исповедь

Я всегда хотела записать исповедь Витгенштейна так, как она запомнилась мне, потому что нахожу в ней много интересного и поучительного; а также потому, что это, вероятно, поможет мне преодолеть чувство вины, поскольку, как и тогда, я теперь понимаю, что в этом случае была к нему недобра. Обескураживало то, что еще долго после его смерти эта тема была запретной. Энгельман в своем издании писем Витгенштейна к нему (1967 год) опускает то, где содержится эта исповедь, хотя в другом письме на него имеется недвусмысленная ссылка. Шли годы, один за другим умирали люди, насколько мне известно, слышавшие ее, пока в живых не осталось только двое англичан (теперь, боюсь, только

один). Я чувствую, что должна поторопиться и записать ее, поскольку от англичанина вряд ли можно ожидать, что он поведает миру то, что было рассказано ему по секрету.

Это случилось после возвращения Витгенштейна из Норвегии летом 1937 года [1]. Однажды утром он позвонил и спросил, нельзя ли ему увидеться со мной; а когда на мое сомнение, так ли уж это срочно (по-моему, болел кто-то из детей), мне было сказано, что срочно и ждать не может, я вспылила: «Если бы такие вещи могли ждать!» Помню, как смотрю ему в лицо через стол. «Это именно такая исповедь». Часто ли воспоминанию о душевном состоянии сопутствуют физические признаки? Теперь я готова поклясться, что он не снимал макинтоша, застегнутого на все пуговицы и сидевшего на нем прямо и отталкивающе. Смогу ли я вообще отделить мое тогдашнее отношение к нему от того сильно изменившегося взгляда на это событие, к которому постепенно пришла?

«Я пришел к вам с исповедью». С той же целью он только что побывал у профессора Мура. «Что сказал профессор Мур?» Он улыбнулся. «Он сказал: «Вы нетерпеливый человек, Витгенштейн»...» — «А вы разве не знали?» Витгенштейн пренебрежительно: «Не знал». Вспоминаются два «греха», в которых он исповедовался: первый касается его еврейского происхождения, второй — проступка, совершенного им в бытность сельским учителем в Австрии.

По поводу первого он сказал, что понял, что большинство знавших его людей, включая и друзей, воспринимают его на $^3/_4$ арийцем и на четверть евреем. На самом деле пропорция обратная, а он не предпринял до сих пор ничего, чтобы предотвратить это недоразумение.

---

[1] Вероятно, я ошиблась в дате этого визита, на меня могло повлиять то, что письмо Витгенштейна Энгельману, касающееся исповеди, датировано июнем 1937 года. Но из книги «Людвиг Витгенштейн. Письма Расселу, Кейнсу и Муру», изданной Г.Х. фон Вригтом (1974), я вижу, что Витгенштейн приезжал в Кембридж около Нового, 1937 года и тогда же говорил с друзьями о своих личных проблемах: «Он относился к этим беседам как к "исповедям"» (с. 170). Должно быть, именно в это время он пришел ко мне.

Не вполне в этом уверена, но, вероятно, в своей аккуратной манере, он всегда пользовался понятиями «арийский» — «не-арийский», но не «еврейский» или «не-еврейский», что в его случае и в то время имело существенную разницу. В тот момент я ошибочно поняла смысл его слов так, будто среди его предков во втором колене трое были евреями, членами еврейской общины. Я думала так до 1969 года, пока не познакомилась со вступительной статьей доктора Б.Ф.МакГиннесса к энгельмановским «Письмам от Витгенштейна», из которой явствует, что один из них евреем не был, двое других были евреями, крещенными в детстве, а один крестился перед свадьбой. «Слегка еврей», — сказала бы моя бабушка.

Оставляя в стороне все вопросы типа того, можно ли назвать ассимилированную семью вроде витгенштейновской «типичной венской еврейской семьей», с чем мне приходилось сталкиваться (а как же, Господи, нам тогда назвать семьи, подобные Шнитцлерам или Фрейдам, не отвергнувшие старую веру и еврейскую общину), оказывается, тем не менее, что, когда перед первой мировой войной, а затем снова в конце 1920-х годов Витгенштейн приехал в Англию, он не чувствовал никакой потребности обозначать себя как еврея и, возможно, никогда не думал о себе как об одном из них.

С другой стороны, возможно, именно благодаря тому, что я неправильно поняла значение его слов, мысль о трех еврейских предках четко закрепилась в моей голове, так что выражений, использованных им в действительности, теперь не откопать и в памяти не восстановить. Не представляю, знал ли он о том, что я — девочка-еврейка с Украины, изгнанная с родины погромами времен гражданской войны, с детством, отмеченным мрачной печатью антисемитизма царской России. Я очень хорошо понимала муки, которые может испытывать еврей, принимаемый за не-еврея. «Еврейский вопрос» — что́ это для большинства, но вот каково чувствовать себя евреем? С некоторой пользой для себя (но редко и мало) я могла поговорить об этом только с сестрой. На вызов же Витгенштейна я смогла ответить только полным нежеланием обсуждать эту тему, стремлением быстрее покончить с ней.

Исповедь, очевидно, представлялась Витгенштейну наиболее радикальным путем освободить свое сознание от гнетущего бремени вины. Он не требовал ответной эмоциональной реакции. Это исключалось его поведением. Он хотел отвечать на вопросы, а своему слушателю позволял реагировать сообразно его или ее натуре. Воспитание он получил католическое: было ли такое поведение для него обычным, нормальным? Для меня — нет! Позже, клеймя себя за чувство некоторой враждебности, я оправдывала это так: если ты из России, то не сможешь принять хладнокровную, заранее подготовленную исповедь; не то, если к тебе придут со «скрежетом зубовным». Помню, что сказала ему: «Я еврейка, и я часто упускала возможность вовремя предотвратить проявление неприязни к евреям вообще. Но так или иначе, англичане проницательны. Я уверена, что они знают обо мне, наверняка они знают и о вас...» Я была растрогана, увидев его обнадеженным.

Спрашивая теперь себя, почему я абсолютно уверена в том, что Витгенштейн никогда не лгал относительно своего происхождения и что если его и принимали не за того, кем он был, то только благодаря сознательной или бессознательной оплошности с его стороны, — я могу сказать, во-первых, что никогда не встречала человека, менее способного солгать, и, во-вторых (это кажется мне более очевидным обстоятельством), кто те люди, которые были бы с ним в таких отношениях, чтобы задавать откровенные, и притом уместные, вопросы о семье в Вене, о прошлом, о друзьях? Все, что в Англии говорили о его прошлом, узнали не от него, и неправды он не говорил. Пока Гитлер не пришел в 1933 году к власти, эта проблема вообще не вставала перед ним.

Думаю, он говорил довольно долго и, конечно, сказал много такого, чего я сейчас не вспомню. В какой-то момент я воскликнула: «Что же это такое? Вы хотите быть совершенным?» И он гордо выпрямился со словами: «*Конечно*, я хочу быть совершенным». Уже одно это воспоминание могло побудить меня описать всю сцену.

Мне приходилось слышать разговоры о том, будто люди, делящиеся воспоминаниями о Витгенштейне, часто низводят его до своего уровня. Не думаю, однако,

что найдется много сумасшедших, так или иначе осмелившихся бы сравнить себя с ним. Всегда было ясно, что он сам по себе составляет отдельный класс, отдельную категорию. Опасность в другом — в том, что будущим поколениям он может показаться бесчеловечным. Те же, кто знал его, никогда не смогут увидеть его в таком свете. Чем больше о нем пишут, включая его ошибки и недостатки, тем лучше. Не так ли пишущие о Мильтоне, например Тильяр, до сих пор силятся доказать, что ему не было свойственно отсутствие доброжелательности?

Самая болезненная часть исповеди шла в конце — оживший и требовавший откровенного признания травматический опыт. Хорошо помню, что в этот момент ему пришлось жестче контролировать себя, пока он кратко рассказывал о своем трусливом и постыдном поведении. В то недолгое время, когда он учительствовал в деревенской школе в Австрии, ему случилось ударить и ранить маленькую девочку из своего класса (в моей памяти остался только акт физического насилия, безо всяких деталей). Когда она пожаловалась директору, Витгенштейн стал отрицать свою вину. Это событие выделяется в его ранней молодости как переломное. Возможно, именно оно заставило его оставить учительскую стезю, приведя к осознанию того, что жить он должен один. Это тот случай, когда он солгал, навсегда отяготив свое сознание. Как это похоже на юношескую вину Руссо перед молодой служанкой, как похоже на многое, что несем мы с собой. В конце концов, Витгенштейн был обычным человеком среди людей. Однако исповедь также демонстрирует его крайне решительное поведение, если его собственная вина становилась препятствием в работе, что разительно отличается от трудностей, присущих самой работе, которым он готов был посвятить душу и сердце.

Можно предположить, что проблема не-арийства, угнетая его с момента возникновения нацистской Германии, и другие болезненные воспоминания о совершенных им ошибках легко связались друг с другом в его сознании, ограничив его дееспособность и потребовав ре-

шительного хирургического вмешательства — такой комплексный подход вполне соответствовал его натуре. В разговоре он продолжал держать дистанцию, чтобы не спровоцировать меня на выражение сострадания. Понимал ли он, сколь далеки мои чувства от добрых? Они очень отличались от того, что чувствовали два вышеупомянутых англичанина, которые (я уверена, хоть мне ничего об этом и не говорили) выслушали терпеливо, сказали мало, но выказали дружеское участие, поведением и взглядом дав понять, что этого признания можно было и не делать, но если он счел это нужным, что ж, хорошо, пусть будет так, как он хочет. Рискуя показаться странной, хотела бы добавить, что представляю поставленного в такое положение Бахтина, шагающего взад-вперед, как тигр, жестикулирующего и бормочущего. А Фрэнсис? Глубоко пораженный, он сидел бы, как вкопанный, вперив в Витгенштейна глаза.

Я всегда упрекала себя в холодности и в отсутствии находчивости с ответом. 35 лет спустя я думаю, что должна была попытаться понять, почему это старое воспоминание стало для него столь мучительным в тот момент, мог ли он в действительности сделать что-то, чтобы сбросить свое бремя? Все это праздные размышления. Однако существенным остается вопрос: осознавал ли он, что многие люди живут с постоянным чувством вины? Но характер его был неизменен. Так же, как значительные изменения в его философии не побудили его с готовностью примириться с манерой, в которой обычно разговаривают люди, так и этот кризис в его жизни, насколько я знаю, не сделал его более терпимым.

Ленч и другие события

Никому и в голову не приходило позвать его на обед, где присутствуют другие люди. Трудно было предсказать его реакцию при встрече с незнакомым человеком.

Хорошо помню один наш совместный ленч. На нем были только Рой и я, наша маленькая дочка и молодая няня, за ней присматривавшая. Ленч проходил в напря-

женном молчании. Витгенштейн свирепо сверкал глазами. Мы ели баранину. Воспользовавшись возможностью прервать молчание, я сказала, что в присутствии английского ребенка, в котором книжками и стихами поддерживается любовь к животным вроде цыплят и ягнят, было бы ужасно сказать, что мы едим барашка. Витгенштейн как будто вышел из транса. Он набросился на меня: «Чепуха, тут нет проблемы, совсем никакой». Он всегда серьезно сердился, когда я «создавала проблемы» там, где он их не видит, словно, беспричинно увеличивая их число, я утяжеляю его бремя.

Возвращаюсь из магазина, и служанка говорит: «Только что заходил мужчина с большим рюкзаком за спиной». Бегу к воротам и вижу Витгенштейна, удаляющегося к бакалейной лавке, где снимает комнату Скиннер, иногда деля ее с Витгенштейном. Тяжелый станковый рюкзак — в половину его веса. Судя по всему, он только что вернулся из-за границы.

Нагоняю его на углу Ист-роуд и Хиллс-роуд, и мы стоим, глядя, как пять или шесть солдат копают на лужайке неглубокие траншеи 3 — 4 дюйма глубиной. Идут дни перед Мюнхенским соглашением; мистер Невилл Чемберлен делает вид, что готовится к войне. В молчании смотрим мы на труд землекопов. Я поворачиваюсь к Витгенштейну, чтобы возмутиться, закричать, что это обман, что мы погибли, но он останавливает меня запрещающим движением руки: «Мне так же стыдно за то, что происходит, как и вам, но говорить об этом не нужно». Предостерегая вас от каких-либо слов, он глядел так, будто словами вы могли его ранить.

Это, кстати, одно из немногих его высказываний политического характера, которое я могу процитировать дословно.

В самом начале войны мне вырезали аппендикс. Вскоре наши маленькие дочки вместе со школой были эвакуированы в Шропшир, чтобы вернуться в Бирмингем летом 1940 года как раз во время «Битвы за Англию» и бомбардировок Ковентри и Бирмингема.

Ранней весной 1940 года, перед гитлеровским наступлением на Западе, я оставалась в Кембридже с моей се-

строй, гостившей тогда у Фрэнсиса Корнфорда в его доме на Мэдингли-роуд. Витгенштейн позвонил туда и попросил меня выйти. Я пошла по Мэдингли-роуд к обсерватории, чтобы встретить его. Видимо, было необычно тепло, так как помню, что была в легком платье, и мы не пошли в помещение, а гуляли по саду взад-вперед. Я сказала ему, что эвакуировали детей. Кажется, он посочувствовал. «Что затевает правительство? — воскликнула я. — Не сделано ни одного выстрела. Нет никакой войны». (Это было время «странной войны».) Хотелось бы думать, что теперь он смотрел скорее печально, нежели сурово. Но выговор он мне все равно сделал. «Некоторым людям, — сказал он, — противно, что птицы питаются личинками». Одно из немногих его высказываний, думаю, глубоких, которые запали мне в душу.

Если он и говорил тогда о себе, то, скорее всего, о том, что не может работать, — тема для него постоянная.

Он собрался уходить. Я предложила: «Зайдемте к нам на чашечку чая. Познакомитесь с моей сестрой». Он показался мне испуганным: «Я не должен. Нет. Я не могу». Я была в ярости, хотя и видела, что у него еще продолжается спад. Каким поработителем был этот человек! Сопротивлялся ли он из-за боязни встретить нового человека? Или не хотел идти в дом профессора Корнфорда? Или просто не был склонен подчиняться, всецело привыкнув поступать по-своему?

По дороге он спросил (и случиться это могло только тогда и никогда больше, поскольку другой возможности поговорить о сестре больше не представилось): «Чем занимается ваша сестра?» «Она пытается писать воспоминания о детстве». Он спросил о возрасте и, услышав, что ей сорок, очень твердо сказал: «Слишком рано». Это замечание всегда казалось моей сестре мудрым.

Более позднее воспоминание, когда война была уже не странной, но чересчур реальной и весьма суровой, касается Витгенштейна, ходящего взад-вперед по нашей гостиной в Бирмингеме. В то время он был санитаром в лондонском госпитале — очень характерная для него форма участия в войне.

Я спросила о его пристанище. Шепотом, выражавшим ужас нашей жизни, он ответил, что его комната находится под той, где работают и ходят женщины. *Невозможно, невозможно!*

В заключение — небольшой пример его бытовой наивности. Это было в 1930-х годах, в мирное время.

Он спросил, не смогу ли я приютить его друга Друри, когда он в следующий раз приедет в Кембридж. Я пообещала. Прошло несколько недель. Однажды вечером зазвонил дверной звонок — мы никого не ждали. В дверях стоял молодой человек с маленьким чемоданом. «Я Друри. Доктор Витгенштейн сказал, что вы позволите мне остановиться у вас...» Витгенштейн помнил мое обещание и предположить не мог, что имело бы смысл подтвердить его.

Отношение к Англии и России

Следовало бы мудро промолчать об отношении Витгенштейна к Англии и России — сложных вопросах, выходящих за пределы воспоминаний и впечатлений. Но меня понуждает отсутствие здравого смысла во многом из того, что сказано на эту тему. Надеюсь, станет ясно, почему это я считаю одной темой.

«Письма от Витгенштейна и воспоминания» Энгельмана — источник информации о Витгенштейне времен первой мировой войны и до 1925 года. Именно там мы находим ключ к состоянию его души, когда в ней зародилась идея «побега» в Россию: первый раз — в письме от 14 сентября 1922 года, а затем в том последнем июньском письме 1937 года, которое я недавно уже упоминала. В обоих случаях, между которыми — 15 лет, состояние его души представляется чем-то вроде отчаяния — в раннем письме при мысли о преподавании в школе, где он ненавидел всех и вся, в позднем — из-за общих сомнений: «Бог знает, что станет со мной, может быть, я поеду в Россию». Там же есть письмо от февраля 1925 года, когда, прослышав о планах Энгельмана ехать в Палестину, Витгенштейн, снова в отчая-

нии, пишет: «Может статься, я захочу присоединиться к Вам — Вы возьмете меня с собой?»

В этих обстоятельствах со стороны Энгельмана наивно и противоречиво говорить в воспоминаниях (с.60, под заголовком «Витгенштейн в Ольмютце»), что Витгенштейн не заботился о том, где жить, и довольствовался самыми примитивными материальными условиями и самым простым окружением. Совершенно верно; он довольствовался именно этим. Но от условий, в которых он родился и где «естественно» нашел себя, — от них он постоянно убегал, что роднит его со многими современными ему интеллектуалами в Центральной Европе, если не считать, что у него это принимало крайние формы. Когда Витгенштейну хотелось убежать от цивилизации, ни одно место не казалось вполне удаленным и одиноким.

Тем не менее, попираемое стремление заниматься своим делом в конце концов всегда побеждало, и, будучи в душе рациональным человеком с простым здравым смыслом, он мог смириться и мирился с местом, служившим этой цели. Таким местом была Англия.

Те, кто говорит, что Витгенштейн не интересовался английским образом жизни, формируют свое мнение на основе резких слов, которыми он характеризовал некоторые аспекты английской жизни. Но почему чужестранцы требуют, чтобы страну, их принявшую, непременно восхваляли? Дóлжно помнить, что Витгенштейн не был эмигрантом, приехавшим в Англию в поисках убежища и в некотором смысле чувствующим себя в долгу перед ней. Он приехал по своему собственному выбору. К тому же он был достаточно умен, чтобы не превозносить Англию; возможно, это казалось ему некрасивым. Даже если бы это не было десятилетие Стэнли Болдуина и Невилла Чемберлена, экономического кризиса и политического смятения, у него не было бы иных причин прославлять Британию, чем у многих современных ему англичан (англичане вообще не требуют от своих соотечественников в этом плане чего-то избыточного).

Но если мы, так сказать, заходим с другого конца и спрашиваем, почему он выбрал Англию, он, настойчиво боровшийся за такое устройство своей жизни, при котором у него было бы больше свободы, чем у любого другого человека или ученого, свободы, значившей для него, в конце

концов, минимум условий, в которых можно продолжать работу, тогда мы находим ответ: для этого он выбрал Англию как наиболее подходящее место. Верно, его требования со временем ужесточались, но выбор он сделал тогда, когда имелось много открытых возможностей.

Наверное, следовало бы говорить не «Англия», но Кембридж (а еще точнее — Тринити-колледж) — это тот университет, который помогал ему очень ненавязчиво, предъявляя самые незначительные требования. Такие порядки выражали для него нечто в английском складе ума и манере речи, что его привлекало. Английские философы, менее злобные, чем философы в других странах, своими работами давали ему основу для его контр-построений. Нам также надо иметь в виду, сколь важны были для Витгенштейна его ученики. Они обладали, как я уже говорила, детской невинностью и отличными мозгами. Где бы еще мог он найти их? И в общем социальном окружении, как сказала моя канадская приятельница, его нигде не встретили бы с такой терпимостью.

Все это хорошо совмещается с тем, что в Англии он многого не принимал и осуждал, сохраняя любовь и ностальгию по старой Вене.

Может ввести в заблуждение то, что Витгенштейн, будучи анахоретом, предпочитал жить в отдалении от остального человечества, притом что на самом деле все существенное достигало его и у него всегда было точное представление обо всем, происходившем в мире вокруг него. Полагают, что экономический кризис и безработица, коммерциализация и вульгаризация и более всего — неизбежность войны в те годы занимали в его сознании какое-то место. Но, в отличие от остальных, он не реагировал на их воздействие. Он никогда не цитировал Ленина или Сталина, и глупо приклеивать ему политические ярлыки[1].

---

[1] Мои заметки об отношении Витгенштейна к России обогнала статья Дж.Морана на эту же тему в майском-июньском выпуске (№ 73) New Left Rewiew, 1972. Мистер Моран рассказывает о двух новых, неизвестных мне доселе фактах. До публикации письма Витгенштейна Кейнсу 1935 года не было, насколько я знаю, никаких авторитетных заявлений самого Витгенштейна относительно замысла поездки в СССР летом того года. Больше того — нет никаких конкретных планов; он говорит о «хороших и плохих» сторонах своего желания поехать в Россию с тем, что-

Миссис Траскотт говорит, что ее родители знали о предварительном намерении ее брата Фрэнсиса поселиться в СССР, о чем перестали говорить после возвращения Витгенштейна. Выглядит это как совместный, еще не оформившийся план, и визит Витгенштейна носил исследовательский характер. Но до 1935 года Витгенштейн, даже несмотря на то, что он был тем, кого можно назвать консерватором, питал к России слабость. Два письма к Энгельману уже указывают на Россию как на место убежища, когда его одолевали проблемы или, быть может, когда его стремление убежать от цивилизованной жизни брало верх. Эту идеализацию России он разделял со многими интеллектуалами Центральной Европы, для некоторых из них она по-прежнему была «матушкой Русью», «Святой Русью» (как для Рильке или Барлаха). Кое-кому из нас, вероятно, было спокойнее от того, что, каким бы необычным и независимым человеком Витгенштейн ни был, он по-прежнему принадлежит своему времени и месту.

По моему мнению, его чувства к России всегда были больше связаны с этическим учением Толстого, с духовными прозрениями Достоевского, чем с какими-либо политическими или социальными вопросами. На последние, к которым он, конечно, не был равнодушен, он смотрел с точки зрения первых. Вероятно, его редкие политические высказывания были наивными. Элистер Уотсон в середине 30-х годов рассказывал мне о разговоре, состоявшемся у него с Витгенштейном и касавшемся русской революции. Если верить Элистеру, Витгенштейн сказал, что революция тоже постепенна. Он также заме-

---

бы позднее поселиться там (может быть, предварительно выучившись на доктора). Как всегда у Витгенштейна, это очень личное заявление, оценить которое трудно. Тем не менее, кажется, его отношение к советскому режиму в это время было более позитивным, чем большинство знало или допускало. Для меня было скорее сюрпризом узнать, что Витгенштейн читал Маркса (Моран цитирует Раша Риса), но неясно, много ли он его читал и нашел ли он там какой-то политический смысл. Мы благодарны мистеру Морану за эту информацию. Однако его собственные комментарии показывают полное непонимание характера Витгенштейна, прежде всего в том, что он был личностью, искавшей духовного спасения. Различные факты, приводимые мистером Мораном, предстали бы менее разнородными и противоречивыми, если бы у него был ключ к человеческому характеру.

тил, что Ленин схватился за колесо потерявшей управление машины; это не более чем клише тех времен.

Высказывались предположения, что Витгенштейна привлекала в России более свободная атмосфера, созданная сталинским обещанием новой Конституции. Вполне правдоподобно, что новости об этой обнадеживающей перспективе действительно достигли Витгенштейна. Но, задаваясь вопросом, почему популярность СССР среди западной интеллигенции достигла в годы после 1933-го (годы «Советской России — Новой Цивилизации» Уэббса) наивысшей отметки, мы находим иные, возможно, более веские причины, нежели внутриполитическое положение в СССР. Приход Гитлера к власти и приближение войны — постыдное поведение западных политиков — Литвинов в Лиге Наций — повернули надежды европейской интеллигенции к России. Да, Витгенштейн, видимо, способен был процитировать слова Литвинова о неделимости мира, если бы он увидел в этом какой-то смысл.

Говорится также, что Витгенштейн изменил свое намерение поселиться в Советском Союзе из-за «ужесточающих политических условий». Его последнее письмо Энгельману противоречит этой версии. Оно было написано летом 1937 года, в пик сталинских чисток, два года спустя после поездки. Был ли он человеком, поспешным в заключениях относительно условий жизни в незнакомой стране, которые за одну короткую поездку понять трудно? В любом случае политические и материальные условия в те годы везде были не иначе как экстремальными. Это времена безмерного подъема индустриализации, последовавшей за коллективизацией крестьянства. 1935 год — год суда над инженерами Метро-Викерс, год, когда Советское правительство стало завинчивать гайки против ученых, бежавших из нацистской Германии, некоторые из них уже были высланы и прибывали в Германию. Я хочу сказать, что (до сих пор) нет никаких свидетельств того, что Витгенштейн думал об этих огромных событиях или как они влияли на его планы. Можно предположить, что материальные тяготы, немыслимые на Западе, и то, что на протяжении целого десятилетия Россия жила в условиях долгой экономии, *могли* повлиять даже на аскетическую натуру Витгенштейна, особенно поскольку тяготы по-прежнему

шли рука об руку с определенным равенством возможностей и наград. Я не хочу сказать ни то, что политические репрессии оказывали на него какое-либо воздействие, ни то, что они были безразличны ему.

По существу этого вопроса, непосредственно его касавшегося, он мог иметь и, вероятно, имел, несмотря на краткость поездки, ясное мнение о том, можно ли там работать и жить не только ему, но и Фрэнсису.

Я была бездумной женщиной, поскольку только теперь спрашиваю себя, что случилось бы, если бы Витгенштейн поселился в Советском Союзе? Гипотетический вопрос, допускающий множество предположений; но ответ ясен. Это была бы катастрофа. Он избежал этого благодаря своей предусмотрительности и Провидению — а под последним я понимаю не что иное, как сочетание факторов, включающих нечто внешнее по отношению к воле и характеру этого человека, предотвратившее его от гибельного выбора и позволившее ему продолжать развитие, близкое его натуре.

Свобода Витгенштейна

Несмотря на следы великих перегрузок и стрессов, пережитых им в детстве, Витгенштейн в 1930-е годы был из людей наименее нервным. Его целеустремленность, решительность и сила воли сделали из него пророка, не просто философа, а своего рода боевого генерала. С этим пришли большая артистическая чувствительность и технические навыки. Он не был олухом в отношениях с материальными объектами. И, за исключением кризиса времени его исповеди, он не был растяпой с самим собой, хотя к себе предъявлял жесточайшие требования.

Он никогда не подвергал мотивы своих поступков сомнению. Он не страдал от иррациональных страхов и слабости и никогда не был застенчив. Он не был замкнут на отношениях с другими людьми при условии, что эти люди соответствовали его выбору и их отношения развивались по близкому ему руслу. Было бы абсурдно называть его перфекционистом в невротическом смысле слова.

Он был созерцателен, хотя назовет ли кто-нибудь его интровертом? Мысль была для него действием. Он не был заинтригован или очарован человеческой природой человека. Всегда пуританин, он был уверен, что эта природа зла, и его отношение к ней было родом отчаяния. Он возражал против легких достижений в религии, мистицизме и искусстве, но он считал их необъяснимыми, на самом деле невыразимыми.

Можно понять его высокомерное отношение к Фрейду (что явствует из его споров с Рашем Рисом и другими), коли он чувствовал, что сам не испытывает в нем нужды. Я не люблю использовать фрейдовскую терминологию, но не могу выразить это иначе, как сказав, что в нем был заметен разрыв Я и сверх-Я. Никаких других разрывов в этом отношении в нем не было.

Он был агрессивным и взрывным человеком, но тоже в своеобразной наивной манере. В 48 лет он не знал о себе простейшей вещи — того, что был нетерпим. Я несколько раз замечала, как он относился к себе с большой жестокостью. Но он никогда не смотрел на себя глазами других и никаких иных стандартов, кроме собственных, не имел.

Трепет, испытываемый перед ним теми, кто его знал, проистекал из его свободы и способов ее достижения. Он просто отказывался ото всего, где плодятся и цветут умственные беды и комплексы: благополучия, семьи, дружеского круга и близких национальных уз. Он оставил попытки приспособиться, кроме как в самой поверхностной форме, к существующему образу жизни, привычкам, тенденциям. Он отбросил все несущественное и тривиальное, все материальное, все, дающее удобство или разнообразие, все предлоги и приспособления (хотя мог позволить себе иногда сходить в кино или почитать детективный роман).

Он стал свободнейшим из людей, действительно с полной свободой выбора, где жить и с кем общаться. Тем не менее, ему приходилось упорно заниматься своей работой, и в этом он зависел от небольшой, избранной группы учеников и последователей; это была единственная его связь, и ее он признавал. Если спросят, была ли эта связь в каком-то виде гомосексуальной (вопрос, модный в наши дни), я могу только сказать, что моему мужу, мне и, насколько я знаю, всем остальным, знавшим его, Витгенштейн представлялся личностью естественно целомудренной. В нем

было что-то от недотроги, так что невозможно себе вообразить, чтобы кто-то дерзнул похлопать его по спине или чтобы он нуждался в обычном физическом выражении привязанности. В нем все было в высшей степени сублимировано.

Недавно профессор Джордж Томсон напомнил мне, что Витгенштейн часто впадал в отчаяние от философии, как и от своей собственной работы, и неоднократно говорил об этом. Также, по мнению профессора Томсона, его давнее желание заняться физическим трудом было среди мотивов его стремления поехать в Россию. Это было бы всецело созвучно его восхищению перед моральными проповедями Толстого. Ему не нравились многие стороны академической жизни и то, что происходило с академической средой. В этом отношении он был ранним и впечатлителен, так что после визита в психиатрическую лечебницу к своему другу (в 30-х годах) он захотел посвятить себя заботе об умственно больных. И все же, глядя на его завершенную жизнь, справедливо будет сказать, что он всегда делал то, что считал нужным, и был тем человеком, каким считал нужным быть.

Когда я спросила своего мужа, что он узнал из разговоров с Витгенштейном, он подумал и так обобщил это. Он мог узнать мало определенного от человека, чьи мнения так часто совпадали с его собственными, иногда же были столь идиосинкретичны. В самом деле, знаменитый афоризм из «Трактата»: «...не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано... О чем невозможно говорить, о том следует молчать» — казался ему абсолютно неверным. Но, с другой стороны, он, бесспорно, кое-чему научился — а именно тому, что надо серьезно относиться к тем мыслям и мнениям, за которые ты можешь всецело ручаться. Это то, что делало взгляды и даже случайные замечания Витгенштейна запоминающимися. Таким он сохраняет свое нравственное присутствие — как ни странно, не запрещающее или наставляющее, но милосердное и ободряющее, может быть, потому, что о нем думаешь как о всегда вовлеченном в борьбу.

Что касается меня, то, оглядываясь, я вижу, как он год за годом разгребал, расчищал камни, которые только продолжали накапливаться. Я вижу в его жизни завершенность, хотя он и представляется мне трагической фигурой.

УИЛЬЯМ У.БАРТЛИ III

ВИТГЕНШТЕЙН:

Перевод Т.Нестеровой
и О.Сапрыкиной

WILLIAM W.BARTLEY III

WITTGENSTEIN

New-York 1973

Памяти моего отца
1895 — 1967

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Говорят, что каждый великий философ открывает в философии новое направление. Но только Витгенштейну удалось сделать это дважды: первый раз — в «Трактате», который был опубликован сразу после первой мировой войны, и во второй раз, когда мысли Витгенштейна обрели законченную форму в «Философских исследованиях», изданных посмертно после второй мировой войны. Ранние работы Витгенштейна повлияли на логический позитивизм. Его позднее творчество — на аналитическую философию, которая на протяжении почти четверти века была широко распространена в англоязычных странах. Никакой другой философ не оказал столь значительного влияния на англо-американскую философию XX века, как Витгенштейн. А между тем Витгенштейн был австрийцем, который писал свои книги по-немецки. Его жизнь и личность были полны тайны, и особенно в те решающие годы, когда он создавал свои поздние философские произведения.

Зная о том, что У.У Бартли провел исследование «потерянных» лет в жизни Витгенштейна, я пригласил его написать эту книгу. У меня не было сомнений в том, что книга окажется интересной и важной. Однако размаха открытий Бартли я не предвидел. Некоторые из них могут показаться читателям сенсационными. С самого начала мы вместе с автором напряженно следим за жизнью человека, который, опубликовав книгу исторической важности, стал учителем начальной школы в двух маленьких австрийских деревушках. Тогда же он начал пересматривать свои наиболее важные философские взгляды. На страницах книги создается портрет человека, порой вовсе не лишенного слабостей. В то же время уважение автора к Витгенштейну никогда не вызывает сомнений. Хотя книга Бартли невелика по объему и на-

писана так, что ее сможет понять даже тот, кто ничего не знает о философии Витгенштейна, она очень важна для того, чтобы мы поняли Витгенштейна-человека и представили, как развивалась его мысль.

Впрочем, я совсем не верю в то, что каждый великий философ непременно открывает в философии новое направление. Такая мысль всего лишь одномерная метафора, и она не дает представления ни об идеях Платона, ни о важности Аристотеля, ни о значении Спинозы, Гегеля или Ницше. Если идеи какого-нибудь философа с готовностью подхватывает целая школа и развивает их в одном направлении, то это скорее признак узости или скудости мысли. Кроме того, великий философ может разочароваться, осознав силу своего воздействия на других. Так, например, произошло с Витгенштейном. Он был не только одним из самых значительных философов своего века, но и одним из самых интересных людей своего времени. Для Бартли Витгенштейн не просто звено в цепи поколений, но и не только человек. Для Бартли Витгенштейн — великий ученый, сжатую биографию мысли которого он нам и предлагает.

Уолтер Кауфман

БЛАГОДАРНОСТИ

Помощь всех названных ниже людей оказалась для меня неоценимой. Вряд ли даже нужно говорить о том, что они ни в коей мере не несут ответственности за те выводы, которые я сделал. В некоторых случаях они были вообще не согласны со мной. Я также очень обязан нескольким людям, имена которых, по их просьбе, я не стану упоминать. Я сердечно благодарен:

профессору Джозефу Агасси, госпоже Дир. Георг Бергер, госпоже Маргарет Бикльмайер, профессору И.М. Богеньски, господину Францу Бреннеру, профессору Сильвиану Бромбергеру, профессору Шарлотте Бюлер, покойному профессору Рудольфу Карнапу, профессору Паулю К.Фейерабенду, господину Карлу Груберу, господину и госпоже Конрад Грубер, госпоже Л.Хаусман, профессору Ф.А. фон Хайеку, доктору У.Д. Хадсону, доктору Хансу Ягеру, профессору Бернарду Каплану, господину Хельмуту Касперу, господину и госпоже Рудольф Кодер, господину бургомистру Эммериху Кодерхольду, профессору Виктору Крафту, профессору Лоренсу Лаудану, мистеру Майклу Лебеку, госпоже Герде Лебер-Хагенау, доктору Густаву Лебцельтерну, доктору Ф.Ленцу, мистеру Уоллесу Нетери, профессору Джорджу Питчеру, доктору Гюнтеру Пошу, мистеру Дольфу Рикерсу, господину Норберту Роснеру, господину Иоганну Шайбенбауэру, господину Дир.Мартину Шерлейтнеру, профессору Герберту Шпигельбергу, доктору Томасу Х.У. Стонборо, доктору Джорджу Стайнеру, профессору Марксу Вартофски, профессору Алберту Уэллеку, профессору Дж.О. Уиздому.

За помощь и сотрудничество я также чрезвычайно признателен сотрудникам следующих учреждений: Архи-

ва Нижней Австрии, Вена; Городской библиотеки в Вене, Военного и Государственного архивов Вены, Венского городского педагогического института, Центральной венской педагогической библиотеки, Венского городского школьного совета, Городского архива Билефельда и Городского архива в Корбахе.

Я искренне благодарен исследовательскому комитету Питтсбургского университета, Гонвилл-энд-Кус-колледжу Кембриджского университета, а также Калифорнийскому университету, который на разных этапах поощрял мои разыскания в области духовной жизни в Германии и в Австрии.

Больше всего я признателен Уолтеру Кауфману за ту поддержку, которую он мне оказал, а также за конструктивную критику моей рукописи.

ВВЕДЕНИЕ

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:

Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.

Матфей 12: 36–37

I

Людвиг Витгенштейн родился в Вене в 1889 году и умер в Англии, в Кембридже, в 1951 году. Он принадлежал к числу самых значительных философов нашего столетия.

Мое изложение философии Витгенштейна начинается с его ранних работ и охватывает самые поздние философские искания — с идей «Логико-философского трактата» (1921 и 1922 годы) и до мыслей, развиваемых Витгенштейном в самой важной, опубликованной лишь посмертно работе — «Философских исследованиях». В моем исследовании приведены далеко не все сведения о жизни Витгенштейна. Я не видел никакого смысла повторять хорошо известные данные о жизни Витгенштейна в Вене, Манчестере и Кембридже до первой мировой войны или после его возвращения к профессиональной деятельности философа в 1929 году. Мое особое внимание привлекло то десятилетие в жизни Витгенштейна, которое началось после первой мировой войны. Это были загадочные годы, и о них мало написано. Я выделяю это время по двум причинам: возможно, мне удастся сказать нечто новое об этих годах и это поможет лучше понять Витгенштейна. Кроме того, я убедился, что этот переходный период в его жизни стал во многих аспектах самым важным.

В моем исследовании есть новые данные о развитии личности Витгенштейна в двадцатые годы. Они проливают свет на его поздние философские искания, и это мо-

жет заинтересовать специалистов. В то же время я пытался написать свою книгу так, чтобы читатели, которые профессионально не занимаются философией, тоже сумели ее понять.

Итак, теперь мне следует сообщить, что человек, оказавшийся в центре данного исследования, родился в одной из самых известных семей крупной венской буржуазии. Он был младшим из семи детей Карла Витгенштейна, создателя довоенной австрийской сталелитейной промышленности, мецената, покровителя живописцев и музыкантов. Ребенком Людвиг воспитывался с помощью частных наставников, а когда он подрос, начал ходить в среднюю школу в Линце. В это время целью его жизни было стать инженером, как отец. Поэтому в 1906 году Людвиг поступил в Высшую техническую школу в Берлине — Шарлоттенбурге, где он и проучился три семестра. В 1908 году Витгенштейн уехал в Англию учиться инженерному делу в Манчестерском университете. Здесь он стал заниматься новаторской работой в области аэронавтики. Математические исследования в области инженерного дела пробудили интерес Витгенштейна к фундаментальной математике и логике. В 1911 году по совету великого немецкого логика Готлоба Фреге (1848 — 1925) Витгенштейн приехал в Кембридж, чтобы учиться философии у Бертрана Рассела. В течение двух последующих лет он произвел на всех в Кембридже блистательное впечатление, стал другом двоих самых выдающихся университетских философов, Дж. Э. Мура и Рассела, а затем был избран в тайное общество только для особо посвященных, которое называлось «Апостолы». В него уже входили Мур, Рассел и большая часть членов Блумзберийской группы.

Весь год до начала первой мировой войны Витгенштейн жил в глубоком одиночестве в Норвегии. Там он занимался проблемами логики в домике, который сам для себя построил. Когда началась война, Витгенштейн добровольцем пошел в австрийскую армию и через положенное время стал офицером. Во время войны Витгенштейн закончил рукопись небольшого философского сочинения под названием «Логико-философский трактат», который сейчас считается одним из величайших достижений нашего века.

После войны Витгенштейн на время отошел от философии. Он работал садовником и портье в гостинице, а потом провел шесть лет в Нижней Австрии, работая учителем в начальной школе. В двадцатые годы интерес Витгенштейна к профессиональной философской деятельности возрос, возможно, под влиянием его дружбы с Морицем Шликом, лидером Венского кружка. В 1929 году он вернулся в Кембридж, где вскоре получил степень доктора философии и был избран членом совета Тринити-колледжа. В 1939 году Витгенштейн стал преемником Мура в качестве профессора философии в Кембридже. Он сохранил свою должность до 1947 года, лишь иногда отвлекаясь для того, чтобы выполнить гражданские обязанности во время войны (он работал санитаром и лаборантом в госпитале). В 1947 году Витгенштейн оставил кафедру, чтобы уделять больше времени науке.

Хотя Витгенштейн писал очень много, при его жизни был опубликован только «Трактат» (1922 год) и короткая статья в «Трудах Аристотелевского общества». Философские произведения Витгенштейна печатались уже после его смерти. Самое важное из них — «Философские исследования» — было издано в 1953 году.

Витгенштейн был человеком среднего роста, худощавым, с голубыми глазами и светлыми волосами. Его проницательный взгляд, удивительная способность сосредоточиться, необычный внешний вид — все это придавало Витгенштейну черты харизматического лидера, пророка, привлекавшие к нему наиболее увлеченных студентов. В середине тридцатых годов ему удалось именно как преподавателю, а не автору опубликованных работ создать группу блестящих учеников.

Витгенштейн был крещен римско-католической церковью, его похоронили в соответствии с католическим ритуалом. Несмотря на то что отец и дед Витгенштейна были известными протестантами в Вене, его мать была католичкой. До конца первой мировой войны, когда Витгенштейн завершал выполнение своего гражданского долга — службу в армии, он всегда на вопрос о вероисповедании сообщал — «римско-католическое». Позднее Витгенштейн твердо заявлял, что не является последователем ни одной из церквей. Между тем, всякий раз сталкиваясь с какими-нибудь церковными обрядами,

Витгенштейн постоянно их исполнял. Он никогда не критиковал церковь и священников. Среди клириков у Витгенштейна было много друзей, и он всерьез задумывался о том, не принять ли ему монашеский постриг. Ближайшие друзья Витгенштейна в Вене и некоторые его любимые ученики в Кембридже были католиками. Вопреки общераспространенному мнению у Витгенштейна были родственники евреи. Впрочем, за пределами семьи о еврейском происхождении Витгенштейнов было мало кому известно. Данный вопрос будет кратко рассмотрен в приложении в конце моей книги.

II

Витгенштейн утверждал, что знакомство с его философией преобразует нравственность человека. Один из студентов Витгенштейна, Норман Малкольм, в своих воспоминаниях о нем пишет, как горько жаловался Витгенштейн, если этого по каким-то причинам не происходило. «Для чего изучать философию, — спрашивал Витгенштейн, — если она только помогает нам с некоторой долей уверенности рассуждать о трудных вопросах логики и т.п., хотя в то же время не позволяет глубже понять насущные проблемы жизни?»[1]

У меня самого интерес к Витгенштейну возник тогда, когда я понял, что этот человек пытался на деле осуществить то, о чем проповедовал. Точнее говоря, он делал то, что, как он однажды написал, не может быть сказано, а может быть только показано. Мне повезло, и я, изучая духовную жизнь Центральной Европы после падения монархии Габсбургов, натолкнулся на материалы о самом темном периоде в жизни Витгенштейна с конца первой мировой войны и до его возвращения в Кембридж в 1929 году. Я узнал некоторые подробности его жизни, окружающих его людей, особенности среды духовного обитания в то время, когда Витгенштейн был учителем начальной школы в трех маленьких деревнях Нижней Австрии. Подробности и рассказы о его жизни, которые до того

---

[1] Norman Malcolm, *Ludwig Wittgenstein: A Memoir* (London: Oxford University Press, 1966), p. 39.

времени казались разрозненными и труднообъяснимыми, вдруг сложились в целостную картину. Перед моим взором явился образ человека, который — и это противоречило всем прежде существовавшим взглядам — совсем *не* отошел от философии после первой мировой войны и публикации «Трактата», а, наоборот, пытался осуществить этические принципы своей ранней философии и в то же время начал формулировать те концепции, которые станут преобладающими в его поздней философии.

До материалов, о которых я только что упоминал, я добрался окольным путем. В ходе моих разысканий я узнал много нового о двух взаимосвязанных предметах: о движении за школьную реформу Отто Глёкеля, который сейчас почти забыт в современной Австрии, и о философских и психологических идеях Карла Бюлера. Бюлер не совсем еще забыт. Слабое оживление интереса к его работам началось в последние годы. А между тем английские и американские психологи знают многое о его деятельности, хотя и умер Бюлер почти в неизвестности в Лос-Анджелесе в 1963 году. В двадцатых и тридцатых годах он был известен в Европе как один из величайших психологов и как один из лидеров первой Австрийской республики.

Сходство программ Глёкеля с теориями Бюлера, а также мысли, проникшие в поздние философские труды Витгенштейна, заставили меня вспомнить о том, что Витгенштейн был учителем в начальной школе в Австрии двадцатых годов. Я задумался, нет ли здесь какой-нибудь связи. Как оказалось, связь была, и прямая.

Но тогда я только начинал свою работу и всего лишь догадывался о связи между Глёкелем, Бюлером и Витгенштейном. И вот с некоторой неуверенностью я взял напрокат в Вене машину и как-то летним утром отправился в дальнее и, как мне казалось, отчасти бесполезное путешествие в деревушки Траттенбах, Оттерталь и Пухберг (Нижняя Австрия), известную также под названием Земмеринг или Нойнкирхен. Там Витгенштейн учительствовал с 1920 по 1926 год. У меня не было никаких оснований предполагать, что кто-нибудь в этих деревнях еще помнит Витгенштейна. Да и вообще знал ли его хоть кто-то из нынешних жителей этих деревень? Я узнал, что через Траттенбах и Оттерталь во время второй мировой войны проходил русский фронт. Но даже если кто-нибудь и помнит Витгенш-

тейна, станет ли он о нем говорить? Эту часть Австрии редко посещают туристы. Крестьяне, живущие здесь, подозрительны и малоразговорчивы.

Случилось так, что я доехал до Траттенбаха и Оттерталя за один день. Эти деревни расположены в трех милях одна от другой и до 1923 года входили в один и тот же административный округ. В Пухберг я собирался позднее. В Траттенбахе и Оттертале я должен был провести несколько недель.

Я долго въезжал на гору возле Глогница и потом зашел пообедать в одну из трех маленьких гостиниц в Оттертале. У меня с собой была книга в мягкой обложке — издание воспоминаний Малкольма о Витгенштейне. На обложке книги — фотография. Может быть, кто-нибудь вспомнит. Кроме того, у меня были копии писем Витгенштейна его другу Паулю Энгельману. С немецкого оригинала письма были переведены на английский язык, и в них в нескольких местах были упомянуты названия деревень. Я мог доказать любому сомневающемуся, что этот человек на самом деле жил в этих краях. Выпив чай, я огляделся, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы по возрасту быть учеником Витгенштейна, какого-нибудь человека лет пятидесяти-шестидесяти. В углу ресторана пожилая крестьянка с пучком седых волос и в черном платье усердно терла пол. Я встал, чтобы спросить у нее, не помнит ли она случайно человека по имени Витгенштейн, или, может быть, знает кого-нибудь, кто знал бы его. Я думал, что услышу смущенные оправдания. Но в ответ женщина воскликнула: «Витгенштейн! *Людвиг* Витгенштейн? Учитель! Ну конечно!»

Пожилая женщина спросила у меня, жив ли он. Ей, по-видимому, было около семидесяти лет. Я сообщил ей, что Витгенштейн умер в 1951 году. Не зная, с чего начать, я вытащил Малкольма и Энгельмана. Женщина сказала, что на фотографии Витгенштейн очень похож, но она не видела его после 1926 года. «Суд, вы ведь знаете», — заметила она. Ничего подобного я не знал, все это я только начал узнавать в тот день. В Траттенбахе и Оттертале о Витгенштейне «знали» все. Правда, никто, за исключением двух или трех человек, не знал, что он впоследствии стал философом. Многие из его прежних учеников или их братья и сестры все еще жили в этих деревнях.

В центре Оттерталя стоит несколько маленьких крестьянских домов. Когда я проходил по главной улице и разговаривал с крестьянами, работающими у себя в садах или сидящими на крылечках, я не переставал удивляться тому, что они сообщают мне подробности о жизни человека, имя которого я до сих пор встречал только в ученых книгах или слышал в разговорах философов и интеллектуалов. Слова этих людей, которые ничего не знали ни о философии Витгенштейна, ни о его последующей известности, убедили меня в том, что Людвиг Витгенштейн был по-настоящему необычайным человеком.

Через несколько часов после того первого обеда я поехал на запад по дороге в Траттенбах, от которого меня отделяли три мили. Я уже знал, что проведу в этих местах много дней, хотя сначала собирался только взглянуть на них и сделать несколько фотографий перед возвращением в Вену. Я остановил машину возле небольшого магазина в центре деревни и вышел, чтобы купить себе бананов. Отсчитывая несколько шиллингов продавцу, я почти механически спросил у него, не помнит ли он школьного учителя по имени Витгенштейн. Продавец сначала уставился на меня, потом позвал жену, чтобы она присмотрела за магазином и повел меня в комнату в задней части дома. Ну конечно, он помнит Витгенштейна. Витгенштейн жил в этом доме наверху, в мансарде, почти целый год. Владелец магазина Иоганн Шайбенбауэр был одним из учеников Витгенштейна с 1920 по 1922 год. Как странно, заметил продавец, у которого я только что купил бананы, ведь именно Людвиг Витгенштейн дал ему *его* первый банан и первый в жизни апельсин. И это было в те мрачные послевоенные годы, когда все в Австрии голодали. Чтобы покормить своих учеников, Витгенштейн несколько миль проходил наверх в гору с рюкзаком за плечами. Рюкзак был наполнен пакетами с фруктами. В то время до Траттенбаха и Оттерталя нельзя было ни на чем доехать. Те, кому надо было добраться до этих деревень, десять миль шли пешком в гору через лес с железнодорожной станции в Глогнице. Так поступал и Витгенштейн.

Я распрощался с господином Шайбенбауэром и его друзьями, которых он пригласил, только поздней ночью.

Мне нужно было вернуться в Вену, чтобы приготовиться к моим последующим поездкам и более длительному пребыванию в этих местах.

III

У меня была еще одна, последняя причина, которая побуждала меня сосредоточиться на австрийском десятилетии в жизни Витгенштейна. В эти десять лет Витгенштейн только четыре раза уезжал из Австрии: один раз — в двухнедельную поездку в Голландию и северную Германию, в другой раз — ненадолго летом в Англию после почти двенадцатилетнего отсутствия и дважды — работать и на отдых в Норвегию. Именно эти десять лет должны, по-моему, показать всем, кто до сих пор считает Витгенштейна представителем английской культуры, что каждое десятилетие в жизни философа было австрийским, за исключением тех девяти лет во время второй мировой войны, до и сразу после нее, когда Витгенштейн был вынужден под давлением обстоятельств оставаться в Британии. Если кого-нибудь удивит это утверждение, то он должен вспомнить, что учебный год в Кембридже состоит из трех семестров и каждый семестр длится восемь недель. Даже в те годы, когда Витгенштейн напряженно работал в Кембридже, он приезжал туда только за несколько дней до начала семестра, каждый год проводя в Вене или в одном из семейных поместий от двадцати пяти до двадцати шести недель. Чаще всего Витгенштейн уезжал в поместье Хоенберг в Нижней Австрии, которое его отец купил еще в 1894 году.

Каждый из нас играет в жизни определенную роль, создает свой собственный образ. То, например, как мы обращаемся с собственным именем, может многое сказать о том, кто мы есть на самом деле или кем хотели бы стать. Разве не показательно то, как Людвиг Витгенштейн описал самого себя в «Венской адресной книге» Венского городского управления, издававшего ежегодно с 1933 по 1938 год: «Доктор Людвиг Витгенштейн, занятие — архитектор, житель Вены, проживает вместе с сестрой Герминой и с братом Паулем в Пале Витгенштейн на Аргентиниерштрассе, 16». Я часто слышал о том, что Витгенштейн собирался стать монахом, архитектором, дирижером, но так никогда

и не узнал, насколько серьезно он относился к этим планам. Кстати, все это — явное доказательство того, что сам Витгенштейн совсем не однозначно воспринимал свою научную и академическую деятельность в Англии, даже в то время, когда профессиональные занятия Витгенштейна в Кембридже достигли своего пика.

Витгенштейн впервые приехал в Великобританию в 1908 году. Он умер тоже в Британии сорок три года спустя, почти сразу после того, как ему исполнилось шестьдесят два года. С 1908 по 1937 год Витгенштейн провел в Англии только семь с половиной лет, а с 1938 по 1946 год — целых девять лет. С начала 1947 года и до дня своей смерти он провел на английской земле около двадцати одного месяца.

Витгенштейн не принадлежал к числу тех говоривших по-немецки интеллектуалов, которые приехали из Германии или Австрии сравнительно молодыми и поселились в одной из англоговорящих стран. Конечно, многие люди выехали из Германии во время экономических и политических переворотов двадцатых и тридцатых годов. Поэтому некоторые исследователи полагают, что Витгенштейн тоже был одним из таких эмигрантов, наряду с Рудольфом Карнапом и Гербертом Фейглем в Америке или Фридрихом Вайсманом в Англии. Витгенштейн принадлежал к более старшему поколению, он был выходцем из другого класса — довоенной международной крупной буржуазии. Английский язык Витгенштейн учил не тогда, когда стал взрослым. Как и многие представители его сословия, как и члены его семьи, Витгенштейн рос и учился говорить по-английски и по-французски так же, как он говорил по-немецки.

Проводя разные исследования перед тем, как написать эту книгу, я опирался главным образом на австрийские источники, архивы, воспоминания людей. В Вене и в Нижней Австрии я искал учеников Витгенштейна. Я отыскал одного вдовца примерно шестидесяти лет, которого еще ребенком пытался усыновить Витгенштейн в 1922 году. Мне удалось пригласить на ужин в маленькую комнату старенькой гостиницы в Траттенбахе почти всех учеников Витгенштейна. Именно на той встрече летним вечером 1969 года один из учеников Витгенштейна, никогда нигде больше не учившийся после того, как Вит-

генштейн уехал из Траттенбаха в 1922 году, нагнулся ко мне за столом и сказал: «Вы знаете, учитель Витгенштейн рассказывал нам одну очень интересную вещь». И затем последовал известный парадокс о лжеце! [1] Я разговаривал со многими членами семьи Витгенштейна, со многими высокообразованными людьми в Вене, которые так или иначе знали Витгенштейна. Я бывал в барах гомосексуалистов в Вене и Лондоне, надеясь отыскать кого-нибудь, кто знал бы Витгенштейна. Мои поиски были не напрасными. О том, что я узнал во время этих встреч, я расскажу в своей книге. Я советовался со многими людьми в Англии и в Америке, но никогда не обращался к тем, в руках которых находятся архивы Витгенштейна, так как хотел, чтобы моя работа была полностью самостоятельной.

Я исходил пешком много дорог — по улицам третьего района Вены, в одиночку поздно вечером по Пратеру, а также по пыльным дорогам около Хюттельдорфа и в Нойнкирхене. Я много говорил с теми людьми, которые еще помнят Витгенштейна, будь то беззубый старый школьный учитель, уже не выходящий из своей комнаты в мансарде, или стареющий гомосексуалист, владелец клуба. Надеюсь, что мои впечатления помогли мне более живо представить этот период в жизни необыкновенного философа.

Мне трудно назвать всех, кто помогал мне. Большую часть тех людей, помощь которых была неоценимой, я уже упоминал в Предисловии. Любой читатель первой главы сразу поймет, почему некоторые из тех, кому я глубоко благодарен, попросили меня не называть их имен. Не все, кого я упоминал, соглашались с моими выводами. Особую признательность я хочу выразить своему другу Уолтеру Кауфману, без помощи и поддержки которого мне никогда не удалось бы опубликовать это исследование.

Шенли-Хайтс *Уильям Уоррен Бартли III*
Питтсбург
29 апреля 1971 года

---

[1] См. гл. 2, раздел VII.

1

МАГИЧЕСКИЙ КОВЕР

Когда вы поглощены какой-нибудь мыслью, чем-то обеспокоены и какой-то вопрос занял в вашей жизни важное место — например, секс, — тогда неважно, с чего вы начинаете. В конечном счете, ассоциация непременно приведет нас к началу. Фрейд отмечает, что любой сон, если его проанализировать, кажется очень логичным. И это естественно. «Urszene» иногда привлекает и накладывает трагический отпечаток на нашу жизнь. Всегда как будто повторяется одна и та же, давно созданная модель. Человек лишь исполняет то, что судьба указала ему при рождении. Многих людей в разные периоды жизни охватывают тяжелые беспокойства. Они настолько серьезны, что приводят к мыслям о самоубийстве. Человеку кажется, что причина его тревоги отвратительна, а обстоятельства слишком низки, чтобы стать предметом трагедии. И тогда, если человеку показать, что его жизнь несет отпечаток подлинной трагедии, он испытает огромное облегчение. Такова сила повторения трагедии.

Людвиг Витгенштейн [1]

I

В зимнюю ночь в начале 1919 года Людвиг Витгенштейн спал в лагере для военнопленных в Монте-Кассино к северу от Неаполя. Он отбывал в плену девятимесячный срок после падения Австро-Венгерской монархии. Там ему приснился сон.

Была ночь. Я стоял перед домом, окна которого были ярко освещены. Я подошел к окну, чтобы заглянуть внутрь. Там на полу я увидел удивительно красивый

---

[1] Lectures and Conversations on Aesthetics и Psychology and Religious Belief (Berkeley: University of California Press, 1967), p. 50–51.

молитвенный коврик. Мне сразу захотелось его рассмотреть. Я попытался открыть парадную дверь, но мне навстречу бросилась змея и не дала войти. Я пытался открыть другую дверь, но оттуда тоже бросилась змея и преградила мне путь. Змеи появлялись у всех окон и не давали мне дотянуться до коврика.

Витгенштейн проснулся и впоследствии называл этот сон «первым сном»[1].

В то время Витгенштейн еще почти не читал Фрейда. Только после возвращения в Вену в конце года он смог приступить к внимательному чтению работ Фрейда. Тем не менее сам Витгенштейн истолковал этот сон прямо по Фрейду. Коврик, как полагал Витгенштейн, символизировал то, что он понапрасну искал уже много лет, и то, что он был готов искать всю жизнь: интеграцию либидо, сублимацию сексуальных стремлений во имя интеллектуальных и духовных целей. Ведь на что похож коврик? Его главная отличительная черта — форма. Коврик напоминает пенис в состоянии эрекции. Однако колоссальная энергия, преобразованная в произведение искусства, *сдерживается* в строгих и эстетически совершенных границах. Личные обстоятельства Витгенштейна нельзя было описать с помощью коврика-мандалы в качестве цели, к которой он стремился. Скорее его душевное состояние в то время направляли и контролировали отвратительные змеи, которые преследовали Витгенштейна во сне и наяву.

Этот сон объяснял также вызывавшее удивление расхождение между частной и публичной жизнью Витгенштейна. Уже в 1919 году, задолго до публикации «Логико-философского трактата», многие полагали, что Людвиг Витгенштейн — величайший философский талант своего времени. Как писал его друг и учитель Бертран Рассел, Витгенштейн был, «возможно, самым совершенным из всех известных мне образцов гения, таким, каким его обычно представляют, — страстным, глубоким,

---

[1] Как я уже объяснял во Вступлении и в Предисловии, все сведения получены мною в беседах с друзьями Витгенштейна. Во всех других случаях я указываю источники информации.

сильным и подавляющим. В нем была чистота, которой я не знал равных, разве что у Дж.Э. Мура» [1]. Тем не менее этот чистый и сильный гений, который написал, что в минуту просветления[2] хотел бы умереть, был гомосексуалистом, предававшимся странным, безудержным и беспорядочным связям.

Всю жизнь, а особенно во время и после первой мировой войны, Витгенштейна мучило чувство вины, и он страдал от своих сексуальных желаний и поступков. Как и тысячи его современников, Витгенштейн был убежден, что высокая интеллектуальная деятельность, которой он занимался, несовместима с сексуальной жизнью. Известно, что Витгенштейн восхищался работами Отто Вейнингера, но он редко объяснял, что известность Вейнингера связана с его необычной концепцией, своего рода навязчивой идеей, которая состояла в постоянном и бесстрастном доказательстве того, что женщины ниже мужчин. С большой неохотой Вейнингер признает, что женщины тоже люди. Тем не менее он страстно доказывает, что у них нет души и им не надо быть гениальными. Более того, физический контакт с женщиной лишает гениальности и мужчин. Таким образом, Вейнингер выступал в защиту полного сексуального воздержания как предпосылки духовного развития и гениальности. Тот, кто хочет понять развитие духовной мысли в Центральной Европе до и после первой мировой войны и думает, что Вейнингер просто сумасшедший, должен помнить, что современники относились к Вейнингеру совершенно серьезно. С 1903 по 1923 год его книга «Пол и характер» выдержала уже 25 изданий и к 1923 году была переведена на восемь европейских языков. Зигмунд Фрейд, который прочитал книгу Вейнингера в рукописи[3], вклю-

---

[1] Bertrand Russel. *Autobiography* (London: George Allen and Unwin, 1968), V.II, p.136. Леонард Вольф опровергает описание Рассела в последнем томе своих мемуаров, когда рассказывает об агрессивности и жестокости Витгенштейна. См.: Leonard Woolf, *The Journey Not the Arrival Matters* (London: The Hogarth Press, 1969), p.48.

[2] Paul Engelmann. *Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir* (Oxford: Basil Blackwell, 1967), p. 57.

[3] Vincent Brome. *Freud and his early Circle* (New York: William Morrow and Company, Inc., 1968), p.9.

чил в свою теорию сублимации идею о постоянном столкновении между половой активностью и высокой духовностью. Пишут, что и сам Вейнингер отказался от сексуальной жизни по той же самой причине, по какой это сделал Ганди [1]. Английский современник Витгенштейна Д.Д.Анвен развивал такие же взгляды в хорошо известной книге «Секс и культура». Проанализировав жизнь некоторых сообществ, Анвен пришел к выводу, который, как он полагал, совпадает с выводами теории Фрейда. По мнению Анвена, антропология доказала, что сексуальная жизнь и культура находятся в прямо пропорциональной зависимости. Еще один кумир Витгенштейна — Лев Толстой, хотя и с некоторой неохотой, но в конечном счете тоже выступал в защиту целибата [2].

Я упомянул сейчас только сравнительно известные имена. Это имена всех тех мыслителей, которые, за исключением, пожалуй, Ганди, повлияли на Витгенштейна [3]. Здесь нужно вспомнить имя еще одного, почти неизвестного автора, который, возможно, произвел на него самое сильное воздействие. Это был доктор Людвиг Хэнзел, с которым Витгенштейн познакомился во время заключения в Монте-Кассино. Хэнзел, как и Витгенштейн, был австрийцем, учителем по профессии. Позднее он преподавал в Венской гимназии. Католик с пуританскими взглядами, Хэнзел был, конечно, менее талантлив, чем Витгенштейн. В то же время он сыграл в жизни Витгенштейна роль духовного наставника и исповедника. Хэнзел пытался заниматься философией. Так, Витгенштейн слушал, например, его курс лекций по логике в лагере для военнопленных. Однако Хэнзел связал всю свою жизнь с преподаванием, и его главной заботой была сексуальная

---

[1] См.: Sigmund Freud. *Civilization and Its Discontents, or Two Short Accounts of Psychoanalysis* (Penguin Books, 1962). См. также: *The Life and Works of Sigmund Freud* (New York: Basic Books, 1953), p. 57.

[2] Лев Толстой «Во что я верю». Соч. Л.Толстого, т.II (Лондон, 1933, с. 526 — 527), но особенно в «Крейцеровой сонате» и в «Послесловии» к ней.

[3] Хорошо известно, что Витгенштейну очень нравилось творчество индийского поэта Рабиндраната Тагора. Вполне возможно, что Витгенштейн знал учение Ганди. Тагор хорошо знал и много писал о Ганди. На Ганди же повлиял Толстой.

чистота мальчиков. Через несколько лет после знакомства с Витгенштейном Хэнзел опубликовал книгу *«Die Jugend und die leibliche Liebe»* («Юность и плотская любовь») — полемический трактат против мастурбации (как противоестественной и наносящей вред телу и духу), против гомосексуализма и в целом против Фрейда, который, по мнению Хэнзела, «к сожалению, не представляет себе ни что такое мораль, ни что такое религия»[1]. Хотя у Витгенштейна и не было иллюзий относительно одаренности Хэнзела, он, по-видимому, искал у него моральную подготовку. Встреча с Хэнзелом сыграла также важную роль в том, что Витгенштейн стал учителем, после того как освободился из лагеря для военнопленных.

II

Сон, названный Витгенштейном «вторым», приснился ему через два года, возможно в начале декабря 1920 года, в Траттенбахе. Сон оказался сложнее. Вот он:

Я был священником. В парадном зале моего дома стоял алтарь, справа от алтаря находилась лестница. На этой большой лестнице лежал красный ковер, как у нас на Аллеегассе [2]. Часть алтаря и его подножие были покрыты большим восточным ковром. Предметы культа стояли на алтаре и возле него. Одним из этих предметов был жезл из драгоценного металла.

Дом обокрали. Вор проник с левой стороны и украл жезл. Об этом сообщили в полицию. Оттуда прислали офицера, которому потребовалось описание жезла. В частности, из какого металла он был сделан. Я ответить не мог. Я не мог даже сказать, из серебра он или из золота. Полицейский спрашивал меня, существовал

---

[1] Ludwig Hänsel. *Die Jugend und die leibliche Liebe: Sexualpädagogische Betrachtungen* (Innsbruck ets., 1938). Книга была допущена к изданию архиепископом Вены 8 января 1938 года.

[2] Это упоминание о дворце Витгенштейнов, доме его родителей и всей их семьи. Дом был куплен отцом Витгенштейна в 1890 году. Он находился на Аллеегассе, улице, которая впоследствии была переименована в Аргентиниерштрассе. Дом сильно пострадал от бомбежек во время второй мировой войны и был снесен.

ли на самом деле этот жезл. Я начал рассматривать алтарь и все, что там было, и заметил, что ковер — это молитвенный коврик. Мой взгляд приблизился к краю коврика. Край у него был светлее, чем яркий центр. Странно, но показалось, что края просто выцвели. Несмотря ни на что, ковер был плотным и прочным.

Витгенштейн никогда не говорил о том, как следует толковать этот сон. Но при этом он его считал самым важным: этот сон — источник его убеждения в том, что он был «избран»[1]. Иногда Витгенштейну казалось, что он должен был стать монахом. Вскоре после второго сна Витгенштейн купил бамбуковую трость и носил ее с собою много лет.

Оба сна Витгенштейна удивительны и прекрасны. Они оба пророческие. В фокусе обоих снов — в первом сне в самом начале, а во втором в конце — *жезл священника.* Он олицетворяет фаллос. Во втором сне Витгенштейн сам служит у алтаря, который занимает главное место между лестницей справа и каким-то неопределенным *зловещим* местом слева. Именно слева происходит воровство. До второго сна Витгенштейн прочитал уже много работ Фрейда. Поэтому ему казались значимыми правая и левая стороны, лестницу он считал символом, указывающим на путь наверх, к возвышению духа. Смысл жезла ясен и в то же время необычен. Понятно, что это — фаллический предмет, кроме того, у него много ассоциаций со змеями. Например, в «Исходе» (главы 4 и 7) брошенные на землю жезлы Моисея и Аарона превращаются в змей. Жезл Аарона пожирает жезлы египетских магов. Символ жезла может быть истолкован в двух смыслах, так как упоминается в Библии дважды. Первый раз — в семнадцатой главе библейской Книги Чисел, когда Аарон, первосвященник израэлитов, и его преемники один за другим отстраняются от власти над народом Из-

---

[1] Ludwig Hänsel. *Ludwig Wittgenstein (1889–1951).* — In: Wissenschaft und Weltbild, Monatschrift für alle Gebiete der Forschung, Vol. VIII, October. 4, 1951, p. 315–323, особенно, p. 322. «Однажды ночью, в те времена, когда он был учителем, ему почудилось, что он позван, но он отказался идти...»

раиля за проповедническую деятельность. Это происходит после того, как жезл Аарона, положенный возле жезлов священников других колен израилевых, набирает почки, зацветает и приносит плоды миндаля. Второй раз — когда жезл как один из наиболее почитаемых культовых объектов странствующих израильтян помещен в ветхозаветный Ковчег рядом с горшком манны небесной и скрижалями Законов. Витгенштейн много размышлял о тех символических значениях, которые я только что описал. По-видимому, они послужили ему основой для истолкования, предложенного, вероятно, Хэнзелом, который в отличие от Витгенштейна хорошо знал Ветхий Завет. Тогда Витгенштейн засомневался: ведь если совершенно новое толкование будет дано его сну, то останется ли этот сон *его* сном? В христианской традиции любой предмет из драгоценного металла, будь то сосуд или кубок, всегда связывается с женщиной. Кстати, и в древнейших мифах и легендах именно этот предмет может быть украден. Может быть, отсутствие во сне Витгенштейна на алтаре кубка связано с гомосексуализмом. У Витгенштейна он заменяется более древним мужским символом — жезлом. Витгенштейн считал, что такое толкование приводит к умозрительному тупику.

Наиболее вероятное объяснение сна появилось у Витгенштейна случайно. Ему показалось, что жезл не только фаллос, но и пестик, как в ступке у химиков и алхимиков. Во сне есть определенные указания на некую трансформацию, включающую преобразования вещества. Сначала в центре внимания находится жезл из драгоценного металла. Потом жезл исчезает, а ценность металла ставится под сомнение. Драгоценный металл становится обычным. Затем начинает вызывать сомнение само существование жезла. После этого внимание переносится на молитвенный коврик, жезл появляется вновь, но уже в одушевленном виде.

Вору и полицейскому, которые тоже появлялись во сне, Витгенштейн дал совершенно стандартное объяснение. Похищение жезла с алтаря подобно краже огня у богов, которую совершил Прометей. Полицейский воплощает голос совести или олицетворяет власть отца. Как бы то ни было, но Витгенштейну никогда не удавалось связать различные фрагменты сна в единое целое. Пытаться

сделать это сейчас просто глупо: ведь после сна прошло больше пятидесяти лет и уже двадцать лет минуло со дня смерти Витгенштейна.

Связь первого и второго сна удивительна и несомненна. Дважды появляется молитвенный коврик. Однако во втором сне удаляется жезл — змей, который в первом сне был столь активен и выполнял запретительную функцию. Предполагается даже, что жезл — иллюзия, своего рода *майя*. Молитвенный коврик тоже больше не является частью комнатной обстановки, он украшает жертвенный алтарь, его может рассмотреть терзаемый муками священник — философ, который служит у этого алтаря. В то же время священник странным образом не замечает молитвенный коврик, до тех пор пока не исчезает жезл — пенис. Одушевленный фаллос как бы становится доступным только после исчезновения, или похищения, или самокастрации жезла.

Анализировать этот удивительный сон можно долго. Важнее всего при этом то, что сам Витгенштейн считал сон «хорошим», указывающим на разрешение его главного конфликта. Сон приснился Витгенштейну тогда, когда он создавал модель поведения, защищающего его от разрушительного воздействия гомосексуализма. Самозащита была ему в высшей степени необходима. Ведь конфликт, столь резко обозначившийся в первом сне, стал определять всю жизнь Витгенштейна на целый год вперед вплоть до второго сна. Конфликт потряс Витгенштейна в октябре 1919 года, а затем снова в апреле 1920 года.

III

Октябрь 1919 года в жизни Витгенштейна стал одним из самых жестоких месяцев. Жестокость состояла не только в том, что Витгенштейн испытывал сильное отвращение ко всем поступкам, которые он совершал каждую неделю. Случилось так, что его поведение в этот период многократно мучило его и впоследствии. Воспоминания терзали Витгенштейна даже в лучшие годы. Кроме того, и физически и психологически Витгенштейн был в это время очень слаб.

25 августа 1919 года Витгенштейн приехал из Монте-Кассино в Нойвальдег, летнюю резиденцию Витгенштейнов в Вене. На следующий день он официально вышел в отставку. Вдали от Вены Витгенштейн провел чуть больше года. В августе, за год до возвращения, во время военного отпуска в Нойвальдеге Витгенштейн завершил книгу, которая позднее стала называться «Логико-философский трактат». Книгу он предложил в издательство Яходы и Зигеля. После отъезда Витгенштейна из Вены и до окончания войны обстановка в его семье сильно изменилась. 13 августа 1918 года умер любимый дядя Витгенштейна Пауль Витгенштейн, которого он наряду с Бертраном Расселом горячо благодарил в Предисловии к только что завершенной рукописи. К 25 октября 1918 года Витгенштейн уже знал, что Яхода отклонил его рукопись. Прошло два дня, и Витгенштейн узнал, что застрелился его брат Курт, когда руководимые им солдаты бежали с поля боя. 3 ноября под Трентом Витгенштейна взяли в плен итальянцы. Австро-венгерская монархия пала, и государство было разделено. Произошла революция. Витгенштейн узнал, что его друг по Кембриджу Дэвид Пинсент, которого он горячо любил, погиб в бою в мае того же года. После девятимесячного заключения физически и психически ослабленный Людвиг Витгенштейн вернулся домой в Вену. Он стал единственным из сыновей Карла Витгенштейна, не получившим никаких увечий на фронте. В Вене Витгенштейна встретили мать, которая овдовела еще в январе 1913 года, его старшая и любимая сестра Гермина, которую обычно звали Мининг, вторая сестра Маргарет Стонборо, которую он не только любил, но и с которой всю жизнь ссорился, третья сестра Элен Зальцер, которую он не любил, и брат Пауль, дебют которого как самого многообещающего пианиста Европы состоялся еще в 1913 году. В самом начале войны Пауль потерял на русском фронте правую руку. После этого он вернулся в Вену и, проявляя чудеса упорства, научился играть одной левой рукой. По иронии судьбы только поместью и состоянию Витгенштейнов не был нанесен никакой ущерб. Людвиг Витгенштейн вернулся в Вену одним из самых богатых людей в Европе.

Перед своей смертью 20 января 1913 года Карл Витгенштейн, основатель австрийской металлургии, перевел

весь свой капитал на американские биржи, главным образом в «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн». Собственность, которая давала одному только Людвигу 300 000 золотых крон годового дохода в 1914 году перед началом войны [1], значительно увеличилась из-за процветания тех самых сил, которые нанесли поражение родине Витгенштейна. Что касается тех денег, которые во время войны оставались в Австрии, то брат Карла Витгенштейна Людвиг, распоряжавшийся этими деньгами, поместил их в государственные фонды. Незадолго до конца войны и наступления великой инфляции он продал большую часть военных фондовых бумаг и купил поместье, стоимость которого в результате инфляции впоследствии в Австрии сильно возросла. Состояние Витгенштейнов не уменьшилось и в последующие годы. Все то, что требовалось семье на жизнь, было позже востребовано в Австрию. Основная часть капитала в период между двумя войнами была переведена в Голландию, страну, надежно защищенную от инфляции, которая уничтожила многие богатые семьи в Германии и в Австрии.

Нетрудно представить себе, как такая противоречивая обстановка повлияла на человека обостренной восприимчивости, каким был Людвиг Витгенштейн. Хотя Людвиг и его брат Пауль в будущем станут людьми намного более известными в мире, чем их отец, предположить это в 1918 году было трудно. Один из них был калекой, а другой — измученным ветераном на грани самоубийства. Людвиг говорил о самоубийстве непрерывно, при этом сильно и не без основания пугая своих сестер Мининг и Маргарет.

Как уже было сказано, Курт расстался с жизнью в самом конце войны. Он был третьим братом Витгенштейна, совершившим самоубийство. Гениальный старший брат Витгенштейна Ганс, который начал сочинять музыку в четыре года, покончил с собой в Гаване на Кубе в апреле 1902

---

[1] Об этом свидетельствуют военные сводки. По данным Австрийского национального банка, 300 000 крон в Вене 1914 года по своей покупательной способности равнялись 4 587 000 австрийских шиллингов в 1969 году или 185 000 тысячам долларов. Таким образом, капитал, от которого зависел доход, в 1969 году мог бы быть равен почти двум миллионам долларов США. Правда, сумма бы зависела от того, как бы был инвестирован капитал и давал ли бы он прибыль.

года. Ему было двадцать четыре года. Третий сын в семье Витгенштейнов, Рудольф, совершил самоубийство в Вене 2 мая 1904 года. Дома знали, что Ганс — гомосексуалист. Предполагали, что и Рудольф был склонен к тому же.

Кроме всех этих самоубийств в семье, не считая самоубийства Вейнингера, еще один случай глубоко поразил Людвига. В 1906 году, когда он заканчивал среднюю школу, покончил с собой Людвиг Больцман, выдающийся австрийский физик, у которого Витгенштейн собирался учиться.

Принимая во внимание все сказанное, не кажется странным, почему Витгенштейн серьезно говорил о самоубийстве. Вообще он думал и говорил о желании покончить с собой при обстоятельствах значительно менее сложных, чем те, которые сложились у него в 1919 году. В 1912 году, когда ему было 23 года, Людвиг сознавался Дэвиду Пинсенту, что уже девять лет страдает от ужасного одиночества и его не покидают мысли о самоубийстве. Девятилетний период, о котором говорил Витгенштейн, начался между 1902 и 1904 годами. Это было время кризиса и напряженности у всех членов семьи. Возможно, острее всех его переживал Людвиг, который в свои четырнадцать лет испытывал терзания подростка в период полового созревания.

В 1913 году Витгенштейн разговорами о самоубийстве сильно встревожил Бертрана Рассела. В 1920 году Витгенштейн говорил своему коллеге, учителю Мартину Шерлейтнеру в Траттенбахе, о том, что он пошел добровольцем на первую мировую войну, так как искал себе смерти. Война была для него возможностью покончить с собой. Мотив самоубийства неоднократно возникал в письмах Витгенштейна с фронта и в его послевоенной переписке с другом Паулем Энгельманом.

В этих обстоятельствах Витгенштейн, приехав в Вену, принял два решения. Первое сложилось у него под давлением Хэнзела еще во время плена. Он решил готовиться к карьере учителя начальной школы. Маргарет и Мининг радовались предстоящей работе Витгенштейна. Они видели в ней лекарство от болезни брата. Скорее всего, именно Маргарет сообщила Витгенштейну об открывшихся в школах вакансиях, воспользовавшись сведения-

ми «Движения за школьную реформу». Она пыталась найти для брата место через своего друга Отто Глёкеля, который руководил движением реформ в австрийских школах. О своем решении стать учителем Витгенштейн сообщил Энгельману 2 сентября, то есть через неделю после увольнения из армии. К 16 сентября он уже занимался в учебном центре на Кундмангассе — в одном из первых колледжей по подготовке учителей. Руководил центром сам Глёкель.

Вторым решением Витгенштейна стал отказ от наследства. Когда эта мысль пришла ему в голову, то он с настойчивостью безумца начал ее осуществлять. Один из членов семьи Витгенштейна пишет, что однажды утром Витгенштейн появился у своего банкира и заявил, что больше не нуждается в деньгах, поэтому хотел бы как можно скорее от них избавиться. Заявление вызвало в банке сильное смятение. Состояние Витгенштейна целиком должно было перейти к его брату и сестрам. По желанию Витгенштейна, следовало распределить деньги между членами семьи. Особые меры надо было принять в отношении суммы, на которую был наложен временный арест в Америке. Эти деньги вообще никогда не должны были вернуться к Витгенштейну. Маловероятно, что решение Витгенштейна было вызвано желанием совершить акт благотворительности. По-видимому, все решения Витгенштейна подолгу обсуждались в семье. Брат и сестры, но особенно дядя Людвиг считали, что Витгенштейн не в состоянии отвечать за свое имущество. Над ним постоянно нависала угроза самоубийства. Тогда в случае смерти Витгенштейна могли возникнуть осложнения с налогом на наследуемое имущество, так как оно было размещено в разных местах и даже частично конфисковано. Поэтому дядя Людвиг согласился перевести состояние на имя Мининг, Маргарет и Пауля. Он понимал, что имущество надо поручить их опеке, до тех пор пока Витгенштейн сам не захочет снова им распоряжаться. Брат и сестры распоряжались имуществом до конца тридцатых годов. Затем наследство было распределено между племянниками Витгенштейна, так как приближалась война и нацисты в соответствии с нюрнбергскими законами могли конфисковать всю наличность, если бы заподозрили у Витгенштейнов еврейское происхождение.

Как только эти меры были приняты, Витгенштейн переехал из семейной резиденции в Нойвальдеге на окраину Вены. Он не захотел жить и в Пале Витгенштейн, большом доме в центре города, а поселился неподалеку — на Унтере-Виадуктгассе в третьем районе Вены. Витгенштейн выбрал эту квартиру в десяти минутах ходьбы от Пале на Аллеегассе из-за близости к дому и к школе. Кроме того, Унтере-Виадуктгассе была рядом с домом Витгенштейнов, стоявшим на границе четвертого района Вены, а также неподалеку от квартиры его сестры Маргарет на Ренвег. Новая квартира Витгенштейна находилась на шесть улиц севернее Кундмангассе, где располагался колледж, в котором в то время учился Витгенштейн. Позднее он построил там дом для своей сестры. К 25 сентября 1919 года Витгенштейн переехал на Унтере Виадуктгассе. Октябрь, который в начале этой главы был назван самым жестоким месяцем в его жизни, стоял на пороге. Правда, сейчас, оглядываясь назад, можно предположить, что источник страданий, которые ему принес октябрь, остановил Витгенштейна, не дав ему расстаться с жизнью.

IV

Витгенштейн вдруг обнаружил, что третий район, который он выбрал из-за удобства расположения, подходит ему по еще одной совершенно неожиданной причине. Десять минут ходьбы на восток по Марксергассе через Соффиенбрюкке (он теперь называется Ротукденбрюкке) — и Витгенштейн добирался до парковых лужаек Пратера. Там грубые молодые люди всегда были готовы удовлетворить его в сексуальном отношении. Витгенштейн отыскал это место и вскоре, к своему ужасу, обнаружил, что ему нелегко удержаться вдали от него. По нескольку раз в неделю Витгенштейн вырывался вечером из своей квартиры и быстро шел в Пратер. Он говорил своим друзьям, что в такие минуты им овладевал дьявол, которого невозможно было остановить. Витгенштейн явно предпочитал грубых и сильных гомосексуалистов, прогуливавшихся по дорожкам и аллеям Пратера, всем тем лощеным молодым людям, которые посещали бар

«Сирк Эке» на Кертнерштрассе, а также другие бары поблизости на границе внутреннего города. Именно в это место, которое до сих пор используется по ночам с той же целью и так же опасно, как и прежде, всегда тянуло Витгенштейна, когда он жил в Вене или приезжал сюда. Нечто подобное происходило и годы спустя в Англии, когда он время от времени пытался избегать светских молодых интеллектуалов, готовых предложить ему свои услуги в Кембридже. Витгенштейн предпочитал компанию грубых парней в лондонских пабах.

К счастью, Витгенштейну удалось встретить гетеросексуального молодого автомеханика Арвида Сёгрена, который впоследствии женился на его сестре. К ноябрю Витгенштейн переехал в большой и уютный дом Сёгренов в Хитцинге, подальше от третьего района. Оттуда в колледж или чтобы навестить родных ему приходилось ездить на городском автобусе. Окруженный теплом и заботой Сёгренов, Витгенштейн отыскал способ защиты от самого себя. Но в апреле 1920 года он был вынужден на время порвать с Сёгренами и буквально бежать от них: в него влюбилась мать Сёгрена. Эта история похожа на комическую оперу, хотя для самого Витгенштейна это был трагический эпизод. Он вернулся в квартиру в третьем районе, на этот раз на Разумовскигассе, которая была еще ближе и к Соффиенбрюкке и к Пратеру. В сексуальной жизни Витгенштейна наступил наиболее беспорядочный период. В последний день этого месяца он написал своему другу Паулю Энгельману в Олмютц: «В последнее время дела у меня идут ужасно. Конечно, только из-за моей собственной низости и испорченности. Я постоянно думал о том, как расстаться с жизнью, да и теперь эта мысль меня преследует. *Я упал на самое дно.* Не желаю тебе никогда оказаться в таком положении!»[1]

Если человек боится самого себя, как это было у Витгенштейна, то он пытается создать такую среду обитания, в которой он мог бы защититься от того, что он не должен делать, хотя ему этого и очень хочется. Так поступил и Витгенштейн. В том, что он создал, таится объяснение всех его странных поступков.

---

[1] Engelmann, op. cit. S. 32.

Витгенштейну нужно было искать средства или ситуации, которые бы удовлетворяли двум условиям: во-первых, ему надо было избегать искушения вступать в легкие и случайные связи с доступными юношами с улицы, а во-вторых, быть окруженным молодыми людьми, с которыми он мог бы наслаждаться платоническими отношениями, которые могли «вернуть его к жизни». Так возникала дружба с миловидными юношами, наделенными уступчивым и мягким характером, не глупыми, но без особого «ума». К ним Витгенштейн сильно привязывался. Молодые люди такого типа всегда нравились Витгенштейну — с юности и до последних дней его жизни. Именно таким образом многие вошли в его жизнь — начиная с друзей по Кембриджу и кончая студентами. Как говорил Витгенштейн, все они были физически привлекательными, с «хорошими лицами». Всеми ими он с легкостью управлял и мог расслабиться в их присутствии. Общение с ними могло отвлечь Витгенштейна, защитить его от одиночества, которое толкало его на улицы на поиски новых связей. Другой путь, который Витгенштейн выбрал для защиты самого себя, — избегать «опасных зон», таких, как Вена, Манчестер и Лондон. Здесь ему был доступен секс, лишенный какого бы то ни было интеллектуального и духовного содержания. Этим можно объяснить его монашеское уединение в Норвегии, в отдаленных деревнях Земмеринга в Нижней Австрии и даже в Кембридже.

В дружбе Людвиг Витгенштейн видел моральную опору. С друзьями он становился творческим человеком, доверчивым и даже шаловливым. Секс же был аморален, друзей он не касался.

Вот так Витгенштейн был вынужден жить. Его жизнь была окрашена в траурный цвет. Он не мог избежать сексуальных связей. В его жизни были случаи, которые он переживал как провалы. Тогда Витгенштейн вступал в мимолетные связи с неизвестными молодыми людьми, которых он отыскивал в темноте. Потом они навсегда исчезали из его жизни. Второй сон, в котором он видел знак своей «избранности», преследовал его после таких случаев. Витгенштейн всегда безжалостно осуждал себя за свои приключения. Прошел год после второго сна, и 2 января 1921 года Витгенштейн снова написал Энгельману:

«Больше года я был морально мертв... Я один из тех людей, которые нередко встречаются сегодня: у меня была цель, но я ее не достиг, а теперь неудача ломает мою жизнь. Я должен был бы сделать со своей жизнью что-нибудь хорошее, может быть, стать звездой в небе. А вместо этого я остался на земле. Теперь я понемногу угасаю. Моя жизнь стала бессмысленной. Она состоит только из пустых эпизодов. Люди вокруг меня не замечают этого и никогда не поймут, но я знаю, что у меня есть порок. Радуйся, если не поймешь, что я имею в виду».

Когда читаешь его пронзительно-грустное и трогательное письмо, то почти видишь Витгенштейна, пристально глядящего в запретное окно или стоящего перед алтарем. Его взгляд прикован к молитвенному коврику — богатству, которое он никогда не получит. Однако теперь мы знаем, что то, о чем Витгенштейн написал в письме, вряд ли справедливо. Он вовсе не угасал, его звезда воссияла в последующие пять лет и дала новый поворот философской деятельности. Кто-то сказал, что Витгенштейн прожил свою жизнь на грани сумасшествия. Возможно, именно те «пустые эпизоды», которые он время от времени разрешал себе, давали ему расслабиться, и это сохранило разум и жизнь. А вот Вейнингер в конце концов совершил самоубийство.

2

ПРОПОЗИЦИЯ

I

В первые послевоенные годы издатели один за другим небрежно перебрасывали друг другу рукопись «Логико-философского трактата» Витгенштейна. Все подробности того, как отклонялся трактат, а также многочисленные случаи взаимного непонимания, отсрочек в издании книги до 1922 года уже были достаточно подробно описаны Георгом Хенриком фон Вригтом[1]. Сам Витгенштейн дал рукописи название «Der Satz», или «Пропозиция». Свое латинское название книга получила незадолго до публикации. Его предложил Дж.Э.Мур[2].

Если попытаться обнаружить связь «Трактата» с жизнью Витгенштейна, то первый вопрос, который при этом следует задать, таков: почему книга о пропозициях — заключениях о научных фактах — была написана раньше, чем что бы то ни было? Какую проблему или ряд проблем в ней предстояло решать? Хотя ответы на эти вопросы найти не так уж трудно, лишь немногие из них выдержат критику.

Некоторые разделы книги имеют чисто технический характер. Они явно предназначены для того, чтобы углубить, а в некоторых случаях и исправить работы Готлоба Фреге и Бертрана Рассела по основаниям математики и

---

[1] Georg Henrik von Wright. Die Entstehung des Tractatus Logico-Philosophicus. — In: Ludwig Wittgenstein, *Briefe an Ludwig von Ficker* (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1969), S. 71—110.

[2] Эти сведения я получил от коллег Витгенштейна в Земмеринге, которые видели копию рукописи в то время, когда Витгенштейн работал учителем в деревне.

логики. Какими бы важными и интересными ни были эти разделы книги, она была написана не для того, чтобы дать ответы на эти вопросы. Нас же интересует главная концепция книги, а не отдельные детали.

Энтони Куинтон высказал предположение[1], что «Трактат» призван ответить на вопрос в духе Канта: «Как возможен язык?» Тем не менее далеко не каждый вопрос, который имеет форму: «Как возможен X?», — кантианский по своему происхождению. Для того чтобы вопрос стал кантианским, его нужно поместить в контекст какой-либо теории или пропозиции, которая бы постулировала, что существование языка невозможно или, по крайней мере, сомнительно. Кант, например, поднял вопрос о возможности существования синтетического априорного знания, предполагая, что, во-первых, такое знание существует (к такому знанию Кант относил математику и часть ньютоновской физики), но, во-вторых, есть гносеологическая теория Юма, в соответствии с которой такое знание невозможно. По теории познания, которая была наиболее влиятельной в то время, априорное знание невозможно, и тем не менее оно существует. В этом и заключался вопрос.

В «Трактате» Витгенштейна нет подобного вопроса о языке. Одна из задач Витгенштейна заключалась в том, чтобы определить, при каких условиях может существовать полностью значимый язык. В своей ранней работе Витгенштейн предполагает, что такие условия в действительности существуют. Дилеммы Канта у него не возникает. Чтобы глубже понять вопрос о возможности существования языка, поставленный в духе Канта, можно для сопоставления обратиться к Ноаму Хомскому. В «Языке и мышлении» (1968) Хомский утверждает, что изучение теории обучения бихевиористской психологии, а также эмпирической философии, хотя их и придерживаются многие современные лингвисты, просто не в состоянии объяснить, как усваивается и изучается грамматика и

---

[1] Anthony Quinton. Contemporary British Philosophy. In: *A Critical History of Western Philosophy*, ed. D.J.O'Connor (Glencoe: The Free Press, 1964), p. 536. Сходные предположения сделаны Питером Хэкером в статье «Языковые сети», *Encounter*, April 1971, p. 85, а также в статье Стивена Тулмина «Людвиг Витгенштейн», *Encounter*, January 1969.

язык в целом. Если утверждения эмпириков об усвоении языка верны, то язык невозможен. Хомский старается избежать этой дилеммы в духе Канта и критикует современный ему эмпиризм. Точно так же поступал и сам Кант. Вопрос о том, какие другие темы Канта представлены в «Трактате», будет рассматриваться ниже. А между тем совершенно ясно, что Витгенштейна, чем бы он ни занимался, совсем не интересовал вопрос, приписываемый ему Куинтоном.

II

Широко распространено еще одно мнение о том, какова сущность «Трактата» Витгенштейна. Полагают, что Витгенштейн подобно Канту пытался провести разграничительную линию между наукой и не-наукой. Ответ на этот вопрос дается правильный: в основе разграничения лежит разница между фактическим и не-фактическим языком. Почему же Витгенштейн стремился провести такое разграничение? Объяснить, почему за этот вопрос брались некоторые философы, не так уж трудно. Гораздо труднее понять, почему за эту проблему взялся Витгенштейн. В большинстве случаев разграничение науки и ненауки проводится с целью оценки и критики. Многие философы — пожалуй, ярче всего в этом столетии логические позитивисты Венской школы — утверждали, что отличить хорошую теорию от плохой, истинные идеи от неистинных — это значит разграничить научное и не-научное. Можно даже создать правило приемлемости и неприемлемости в терминах теории разграничения: «Если у вас есть сомнения относительно достоинства той или иной идеи, теории, предложения, словом, чего бы то ни было, прежде всего определите, научны ли они. Если да, научны, то считайте их истинными; если нет, то отклоните их как неистинные».

В «Трактате» Витгенштейна содержится не просто намек на такой подход. Эта тенденция в работе настолько сильна, что многие из тех, кто толковал мысль Витгенштейна, предположили, что главной целью автора «Трактата» было доказать, что все то, что не соответствует критерию фактического, или научного, не имеет смысла. На-

званная идея в «Трактате» не главная. В нем есть целый ряд других важных положений.

Витгенштейн заявлял, что его цель — «найти границу... выражения мыслей». Он пишет: «Все содержание книги можно свести к следующему: все, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а, о чем невозможно говорить, о том следует молчать». И далее: «Правильный метод в философии должен быть таков: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, то есть давать только естественнонаучные пропозиции. Другими словами, говорить следует только то, что не имеет отношения к философии. Тогда если говорится о чем-нибудь метафизическом, то следует сказать, что придать смысл знакам в пропозиции не удалось» (6.53).

По мысли Витгенштейна, из «произносимого» и значимого исключается не только докантианская умозрительная метафизика. Исключаются также универсальные законы природы, «разъяснительные» высказывания в самом «Трактате», логика, этика и эстетика, философия и религия. Но полному осуждению подвергается только умозрительная метафизика. Логика, этика и эстетика, а также религия, трактуемые как «трансцендентальные», не критикуются. Философские высказывания в «Трактате» считаются разъясняющими, несмотря на их «бессмысленность».

Заявляя, что этика не имеет смысла, Витгенштейн тем не менее написал своим друзьям Людвигу фон Фикеру и Паулю Энгельману, что его книга по существу этическая. Фон Фикеру Витгенштейн, в частности, писал: «Цель книги этическая. В предисловие я собирался включить одно предложение, которого сейчас там нет, но я специально выпишу его для тебя, потому что, возможно, оно является ключевым во всей работе. Я хотел написать следующее. Моя работа состоит из двух частей: первая часть представлена здесь, а вторая — все то, чего я *не* написал. Самое важное — именно эта вторая часть. Моя книга как бы ограничивает сферу этического изнутри. Я убежден, что это *единственный строгий* способ ограничения. Короче говоря, я считаю, что *многие люди* сегодня лишь строят *предположения*. Мне же в книге почти все удалось поставить на свои места, просто храня молчание об этом. По этой причине, если только я не слишком ошибаюсь, книга скажет намного больше, чем хотел сказать автор.

Правда, возможно, никто и не заметит, что об этом сказано в книге. А пока я советую тебе прочитать *предисловие и заключение*, потому что в них содержится наиболее точное выражение главной идеи всей книги»[1].

III

Только с большой натяжкой можно утверждать, что разграничение науки и не-науки становится в «Трактате» предметом оценки. Не-наука не *проклинается*, но утверждается, что пытаться говорить о ней — дурной вкус, это аморально и неизбежно выливается в пустую болтовню. Оценка здесь в целом имеет умеренный, аристократический, элитарный характер. Предполагается, что те немногие, которые *могут* понять Витгенштейна, погружаются в метафизику или морализаторство, другими словами — в *анти*метафизику — с большой осторожностью. Они достаточно хорошо воспитаны, чтобы не философствовать. Витгенштейн отнюдь не считает, что его взгляды получат широкую поддержку и станут основой для того, чтобы отличить значимое от незначимого. Скорее всего, его взгляды будут оценены по-другому. В своем предисловии к «Трактату» и в некоторых своих письмах Витгенштейн высказывает сомнение в том, сможет ли хоть кто-нибудь, например Рассел или Фреге, понять его. По его мнению, маловероятно, что кто-нибудь последует его принципам разграничения науки и не-науки.

Настойчиво выступая в защиту молчания, Витгенштейн сам избегает навязывать свое молчание другим. Noblesse oblige: исключительная личность проявляет терпимость по отношению к тем, кто не живет и не может жить по ее законам. Таких людей исключительная личность не может осуждать, так как они суть проявления других форм жизни. Исключительная личность никогда не высказывает своего мнения о других людях. Впрочем, на пути умолчания таится немало опасностей. В одном случае молчание может оказаться наполненным, а в другом — лишь скроет незначительность того, о чем можно сказать, словом, скро-

---

[1] Ludwig Wittgenstein. *Briefe an Ludwig von Ficker* (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1969), S. 35–36. Цит. по английскому переводу книги Пауля Энгельмана. P. 143–144.

ет ничто. Витгенштейн не дает критерия, в соответствии с которым можно отличить один вид молчания от другого.

В том, о чем было сказано выше, и заключается наиболее разительное отличие взглядов Витгенштейна от воззрений членов Венского кружка, с которым впоследствии всегда связывали его имя. Некоторые выдающиеся венцы видели в кружке зародыш политической партии, которая несла мощный политический призыв к массам. К примеру, у Отто Нейрата, которого называют «партийным секретарем» кружка, явно были честолюбивые цели. Нейрат хотел добиться широчайшего распространения идеологии логического позитивизма. Он убеждал членов кружка отказаться от слова «позитивизм» ради термина «физикализм». «Позитивизм» вызывал возражения марксистов по нескольким причинам. С одной стороны, Ленин критиковал все ранние формы позитивизма как буржуазные, с другой стороны, Фридрих Адлер, один из выдающихся теоретиков австрийской социал-демократии, воспользовался позитивизмом Эрнста Маха для того, чтобы критиковать марксистский материализм. Нейрат, который был членом недолговечного спартаковского коммунистического союза в Мюнхене в конце первой мировой войны, вообразил, что сможет убедить Сталина принять в качестве главной идеологической доктрины в Советском Союзе философию, которая носила название «физикализм». Термин «физикализм» по своим коннотациям был близок «материализму». Кстати, все это послужило причиной поездки наивного Нейрата в Советский Союз, но своей цели он не добился.

Мысли о языке, созвучные идеям Витгенштейна, можно найти не только у его современников философов-венцев, но в гораздо большей степени у австрийских писателей и литераторов.

IV

Наверное, самый яркий пример такого созвучия — Гуго фон Гофмансталь, один из первых австрийских писателей рубежа веков, который заговорил о потере веры в могущество речи. Гофмансталя часто относят к той плеяде, к которой принадлежали Карл Краус, Франц Кафка и Фритц Маутнер. Как и они, Гофмансталь полагал, что речь становится не средством общения, но способом сокрытия мысли

и бессмыслицы. Как известно, Кафка в своих притчах писал о посланниках короля, которые мечутся по всему миру с прокламациями, не имеющими смысла. Энергичный Карл Краус в одиночку язвительно нападал на все австрийские газеты и журналы за искажения языка. В периодическом издании «Die Fackel» он публиковал примеры их ошибок. Маутнер сомневался в том, сможет ли язык оставаться средством разумного общения. Все названные писатели очень не похожи друг на друга, хотя и придерживаются единого мнения о том, что речь содержит большое количество неправильных употреблений. Витгенштейну были известны работы Крауса, он восхищался его ранними публикациями. Витгенштейн знал и работы Маутнера, цитировал его в своем «Трактате», хотя и не всегда соглашался с ним. И тем не менее идеи Витгенштейна были другим и [1].

С Гофмансталем у Витгенштейна было намного больше общего. Начиная с его первой пьесы в стихах «Вчера» (1891) и кончая классической комедией «Трудный человек» (1921), Гофмансталь постоянно развивал идеи своего известного «Письма к лорду Чэндозу». Он писал не о простом несоответствии, а о *вызывающей негодование непристойности* разговора, и особенно разговоров о политике, литературе и эстетике. Уже в 1895 году в статье об актере Фридрихе Миттервурцере Гофмансталь написал: «Люди устали слушать разговоры. Они чувствуют глубокое отвращение к словам. Слова «лезут вперед» раньше вещей... Мы словно в тисках, мысль душит понятие. Вряд ли найдется хоть кто-нибудь, кто сможет по-своему сказать о том, что он понимает, а чего не понимает, выразить то, что чувствует, а чего не чувствует. Именно это пробудило сейчас огромную любовь ко всем видам искусства, не использующим речь...»[2]

Эстетические и этические взгляды Гофмансталя на пустоту языковых средств выражены во многих его работах. Но ярче всего их выразил его герой — «трудный человек» граф Ганс Карл Бюль. После того как Бюль вернулся с

---

[1] Ср.: Gershon Weiler. *Mautner's Critique of Language* (Cambridge, 1970). Идеи *позднего* Витгенштейна имеют сходство с мыслями Маутнера.

[2] Hugo von Hofmansthal. *Selected Plays and Libretti* (New York, 1963). P. XVII.

войны, его попросили произнести речь в австрийской палате лордов, но он заявил: «Неужели я должен встать и говорить о мире и единстве наций? Я, человек, единственное убеждение которого состоит в том, что нельзя вообще открыть рот, не вызвав при этом непредсказуемых потрясений?.. Могу ли я разразиться потоком слов, каждое из которых кажется мне абсолютно недостойным?»[1]

Гофмансталь и Витгенштейн были совершенно различными людьми. Было бы ошибкой преувеличивать сходство их взглядов в области эстетики, не говоря уже о философских воззрениях. Но как Витгенштейн, так и Гофмансталь без особого почтения относились к языку. Кстати, и то, что в пьесе Гофмансталя Ганс Карл Бюль оказался графом, было далеко не случайно. Все сказанное проливает свет на то, почему Витгенштейн уклонялся от дружбы с членами Венского кружка. Как и «трудный человек» Гофмансталя, Витгенштейн испытывал давление со стороны этих общественных деятелей, убеждавших его выйти на арену философской борьбы, посещать заседания кружка и пропагандировать свою философию. Витгенштейн отвечал им *отчуждением*, избегал философских дискуссий, читал Тагора и стихи других поэтов тем, кто приходил на встречи с ним в кафе в надежде послушать, как он будет объяснять содержание «Трактата». Время от времени Витгенштейн с наслаждением изводил их, насвистывая мелодии из своего удивительного репертуара классической музыки. По отношению к некоторым членам кружка, в частности к Карнапу и Нейрату, антиметафизический позитивизм которых казался Витгенштейну вульгарным, он принимал меры предосторожности, гораздо более изощренные, чем у графа в «Трудном человеке», с тем чтобы избегать с ними столкновений. Только с такими людьми, как Шлик и Вайсман, «по причине их высокой культуры и утонченных вкусов» Витгенштейн иногда обсуждал в конце двадцатых годов философские проблемы. Как сообщает Энгельман (S. 118), Витгенштейн «считал Шлика выдающимся и понимающим противником в споре прежде всего потому, что он ценил Шлика как человека тонкого воспитания. А это Витгенштейн полагал самым важным в своих интеллектуальных контактах с другими людьми».

---

[1] Ibid, p. 820.

V

До какой же степени было обоснованным беспокойство Витгенштейна и Гофмансталя по поводу возможностей языка, и особенно языка морали, эстетики и эмоций? В какой мере они слишком резко отнеслись к тому, что возрастает небрежное и неправильное употребление языка в период сильных социальных потрясений в странах немецкого языка в конце девятнадцатого и в начале нашего столетия?

Нет сомнений в том, что немецкий язык в это время менялся. Но через периоды перемен проходят все языки и средства общения. Иногда они претерпевают экспансию, иногда сфера их распространения сужается — наступает период компрессии. По-видимому, и Витгенштейн и Гофмансталь стремились к сжатию и ограничению языка. Во всем этом нет ничего нового. Можно привести пример из истории иного средства выражения. В один из наиболее ярких периодов в развитии китайской живописи важнейшей частью картины было то, что оставалось за ее пределами. Ну и конечно, одна картина всегда стоила «тысячи слов».

В качестве примера компрессии часто приводят поэзию. Поэзия, действительно, передает многое, оставляя большую часть невысказанной. Эзра Паунд и Артур Кестлер, как и некоторые другие, заявляли, что немецкое слово Dichtung — поэзия — этимологически связано с dichten, что означает «сдавливать». Скорее всего, эта этимология ошибочна, но сама идея отражает общераспространенное мнение о языке.

Язык был не единственным средством выражения, претерпевающим в это время значительные изменения. В начале века художники, архитекторы и музыканты полностью пересматривали все средства выразительности. Под французским влиянием остывал интерес к реалистической живописи, велись поиски новых средств выражения. В области архитектуры на эстетические взгляды Витгенштейна оказали большое влияние школа Баухаус в Германии и работы венца Адольфа Лооса, намеренно избегавшего декора. Музыканты, главным образом в Вене, отказывались от диатонической системы модуляций. Яркий пример тому — творчество Арнольда Шёнберга.

Историки и литературоведы[1] накопили немало примеров, которые скорее дают образное представление, чем объясняют своеобразие этого периода. Немецкий язык рубежа веков представляется находящимся на грани коллапса. В различных работах о языке — у Маутнера, Витгенштейна, Крауса и Гофмансталя — даются свидетельства этого кризиса. Путь выхода из него лежит, по мнению многих, там, куда указывали Витгенштейн и Гофмансталь, — в признании «значимости молчания».

Почему же те, кто ставил языку подобный диагноз, считались правыми, непонятно. Воспринимая буквально и некритически жалобы таких писателей, как Гофмансталь, они явно преувеличивали степень упадка немецкого языка и не пытались исследовать, как продолжалось развитие языка в этике, эстетике, в сфере личных отношений и чувств. В конце концов, Гофмансталь был не самым выдающимся поэтом своей эпохи. Намного более талантливый поэт Райнер Мария Рильке редко говорил о кризисе языка. Он сочинял великолепные стихи, язык которых был чист и богат.

Весьма показателен пример психоанализа. Изучая анормальное поведение, психоаналитики в соответствии с общей тенденцией в науке стремятся разработать более точную и разнообразную терминологию, позволяющую описать в первую очередь анормальное, отклоняющееся, дурное, «плохое», а не нормальное, обычное, хорошее. Такие слова, как «милый» или «хороший человек», действительно, почти не имеют смысла в большинстве контекстов. В английском языке у таких слов, как «вина», «грех», «стыд», «порок», нет настоящих антонимов. Или по крайней мере эти слова значительно более четко определены в своих значениях, чем их оппозитивы, которые чаще обозначают отсутствие отрицательных качеств, чем что-нибудь хорошее. Отрицательные термины постоянно претерпевают изменения и уточнения по мере того, как развивается теория психологии. Хорошим при-

---

[1] Самый известный среди этих историков и литературоведов, вероятно, Георг Штайнер. См. его работу: *Language and Silence* (New York: Atheneum, 1970). См. также: Erich Heller. L.Wittgenstein: Unphilosophical Notes, *Encounter,* Sept. 1959, а также *The Disiherited Mind* (New York: Meridian, 1959).

мером тому оказывается выделенное Элен Меррел Линд различие между виной и стыдом.

То, как слово «хороший» употреблено в предыдущем предложении, указывает еще на одну проблему. Дело в том, что слова «хороший», «достоинство», «добродетель», противопоставляемые словам «плохой», «недостаток», могут относиться как к моральным, так и к неморальным категориям. Но «зло», особенно в адъективе, несет сильное и почти исключительно моральное значение. Ему можно противопоставить гораздо более слабое «справедливый», «добродетельный» или даже «хороший» — вообще самое распространенное слово. В целом, за редким исключением, язык стремится к тому, чтобы сплавить слова между собой и в то же время разграничить синонимы. Это дает возможность выделить значение этического зла[1].

Когда я пишу обо всем этом, я хочу подчеркнуть, что то, что написано о языковом кризисе в странах немецкой речи, чересчур преувеличено и упрощено. В то же время явления противоположные, о которых я тоже упоминал — очищение и совершенствование языка, — обойдены молчанием. Если обращать внимание только на некоторых писателей, философов, таких, как Мартин Хайдеггер, например, или на литературных критиков, о которых я тоже писал, а затем добавить к анализу примеры из пропагандистской литературы периода двух мировых войн, из народной прессы или из городской речи Вены в то время, когда она была столицей многоязычной империи, то тогда такой подход неминуемо приведет к искажению истории немецкого языка.

Пауль Энгельман и другие исследователи иногда заявляли, что отношение Витгенштейна к языку не только отражало все описанные тенденции, но и было типично еврейским.

Достаточно в качестве примера привести две цитаты: одну — из труда британского историка, а вторую — из работы еврейского философа из Германии. «Несмотря на свой отказ от иудаизма, — пишет Фрэнк Филд о Карле

---

[1] Аурел Колнаи провел специальное исследование этого феномена в своем эссе «Тематическое первенство этического зла» (In: *The Philosophical Quarterly*, January, 1956).

Краусе, — его представления о языке в конечном счете были порождены специфически иудаистской концепцией, что воля Божия обнаруживается через слово. Слово всесильно и приводит к свершению того, что оно означает» [1].

С другой стороны, Франц Розенцвейг пишет: «Нет ничего более еврейского, чем неверие в конечную силу слова и глубокая вера в могущество молчания» [2].

Какое же суждение о том, какова еврейская концепция слова, правильное? Да ни то и ни другое. Как неверно и мнение о катастрофическом упадке немецкого языка на рубеже двадцатого века.

VI

До сих пор для того, чтобы понять, в чем видел Витгенштейн главную цель своего «Трактата», я обращал внимание на так называемый кризис немецкого языка в начале нашего столетия. При этом я интересовался работами только тех старших современников Витгенштейна, которые первыми указали на этот кризис. Отношение к состоянию немецкого языка в ту пору было различным: некоторые радовались его упадку, другие воспринимали воображаемый кризис языка как катастрофу. Так или иначе, в венском контексте «Трактат» Витгенштейна воспринимается более глубоко.

Работа Витгенштейна не похожа на работы его современников. Хотя Витгенштейн прекрасно писал по-немецки и его даже называли создателем нового стиля, по профессии или по призванию он был не писателем, а логиком и математиком. Поэтому, высказывая свое мнение об ограниченных возможностях языка, Витгенштейн выбрал неязыковое средство. Конечно, это средство придало его работе мощь и масштаб, но в то же время сделало труд ученого сугубо специальным и даже отчасти эзотерическим. К сожалению, менее заметной стала и практическая направленность работы. Прежде всего я имею в виду то, что Витгенш-

---

[1] Цит. по: Frank Field. *The Last Days of Mankind: Karl Kraus and his Vienna* (London: MacMillan, 1967).

[2] Franz Rosenzweig. *Stern der Erlösung.* Цит. по: Das Porträst: Ludwig Wittgensteih zur 80. Wiederkehr seines Geburtstages. Osterreichische Rundfunk Studio. Tirol, 1969.

тейн облек свою критику языка в форму логических построений, как у Фреге, и логического атомизма, как у Рассела.

Вследствие этого смысл его сочинения был дважды неправильно истолкован английскими читателями, которые ничего не знали о кризисе немецкого языка. Англичане восприняли Витгенштейна как блестящего критика умозрительной философии — *но в британском духе*. В Англии Дж.Мур и Рассел направили свою аналитическую критику против философствования на немецкий лад. Предполагалось, что их ученик Витгенштейн избрал то же самое направление в философии. Английские читатели хотели бы видеть в Витгенштейне не только критика языка спекулятивной философии, но и критика языка искусства в духе венца Гофмансталя. Точно так же поняли Витгенштейна и многие его соотечественники. Заметившие его немцы и австрийцы не обратили внимания на связь трактата с венской традицией критики языка. Витгенштейн же им показался человеком, который перенял подход совершенно чуждого им английского эмпиризма. Из всех австрийских друзей Витгенштейна только философы, физики и математики — члены Венского кружка — отнеслись серьезно к его философским разысканиям. Среди всех выделялась англофильская группа, которую британский эмпиризм и новая логика Рассела интересовали больше, чем немецкая и австрийская логика. Австрийские и немецкие интеллектуалы проявили интерес к философии Витгенштейна только после его смерти.

VII

Если отвлечься от вопроса о мотивах, побудивших Витгенштейна к сочинению «Трактата», и попытаться понять содержание его работы, то необходимо дать краткое объяснение того, какова природа логических парадоксов и как они повлияли на новейшие исследования по основам логики и математики в первые десятилетия двадцатого века.

Существует множество логических парадоксов — например, Рассела, Дж.Ричарда и Курта Греллинга. Есть также классические парадоксы, которые будут описаны ниже в качестве примеров. Самый известный — парадокс

о лжеце. В нем вечный лжец говорит: «Я сейчас лгу». Если то, что он говорит, правда, то он говорит ложь, но если то, что он говорит, ложь, то тогда он говорит правду.

Другой вариант этого парадокса предложили Ян Лукасевич и Альфред Тарский [1].

Предложение в рамке ложно.

Если предложение, заключенное в рамку, правдиво, то тогда оно ложно, но если ложно, то тогда правдиво.

Конечно, все это особые высказывания. Совсем неудивительно, что некоторые философы и логики, столкнувшись с ними, пытались назвать их незаконными, ни ложными, ни правдивыми, неграмматическими, неверно построенными, лишенными значения. Рассел выбрал такой подход после того, как в 1901 году нашел парадоксы, возводимые к общепринятым способам создания классов и групп. Рассел, основатель теории типов (или категорий), У.В.Куайн, разработавший метод стратификации, а также другие логики пытались избегать парадоксов и антиномий, вводя определенные грамматические и логические ограничения, запрещающие их создание. Они ставили перед собой цель — путем логического анализа показать, что если не будут приняты необходимые грамматические и логические меры предосторожности, то система может порождать плохо оформленные заявления (высказывания) или формулы, которые окажутся лишенными значения. Еще до Рассела заметили, что многие антиномии явились результатом самореференциального или рефлексивного характера соответствующих пропозиций. И тогда был поставлен вопрос — например, у Льюиса Кэрролла (достопочтенного С.Л.Доджсона), — не следует ли запретить такую самореференционность[2]. С тех пор логики, среди которых Рассел, Эрнст Цермело, Джон фон Нейман и Куайн, вырабо-

---

[1] Alfred Tarski. The concept of Truth in Formalized Languages. — In: Tarski A. *Logic, Semantics, Metamathematics* (Oxford, 1956), p. 157 ff.

[2] См.: W.W.Bartley III. Lewis Carroll's Unpublished Work in Symbolic Logic, *Abstracts of the International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science*, Bucharest, 1971, p. 416.

тали специфические приемы обращения с самореференционностью.

В этих обстоятельствах, даже если вывод и неверен, в какой-то степени похвально то, что некоторые философы предположили, что приемы, разработанные Расселом и другими учеными для того, чтобы отделить незначащие высказывания от значимых, плохо оформленные от хорошо оформленных, эти приемы могут быть вынесены за пределы логики и включены в число традиционных вопросов философии. Было высказано мнение, что старые проблемы метафизики, такие, как логические парадоксы, можно устранить путем развития правил означивания и построения высказываний. Да и вообще метафизические теории возникли прежде всего из-за того, что не было способов лингвистического и логического анализа в области определения отсутствия значения.

Этот честолюбивый проект был обречен на провал. Дело в том, что автореференция, которую следовало найти в логических антиномиях, просто отсутствует в большинстве традиционных проблем философии. Провал проекта не был предусмотрен. Почти вся философия двадцатого века и в значительной степени философия Витгенштейна и его последователей — это попытка решить традиционные проблемы метафизики путем систематического использования ложного основания: все философские проблемы порождаются и, следовательно, могут быть разрешены так же, как порождаются и решаются логические парадоксы.

Поэтому Витгенштейн открыто заявил в Предисловии к «Трактату»: «Эта книга касается проблем философии и показывает, что причина постановки этих проблем заключается в неправильном понимании логики нашего языка».

VIII

Создавая теорию разграничения науки и не-науки, Витгенштейн в «Трактате» задает критерии, которым должны удовлетворять любые фактические (не логические) правильно построенные высказывания. Как было показано выше, он исключает высказывания, не отвечающие этим требованиям. Фактические пропозиции — это

правильно построенные научные пропозиции. Других пропозиций не существует. Правда, есть псевдопропозиции — их можно найти в философии, и они внешне похожи на пропозиции. Однако анализ показывает, что они неправильно построены. Сам Витгенштейн не употребляет выражение «правильно оформленный». Он пишет о *значимых* пропозициях и псевдопропозициях, которые *не имеют значения.*

Однако значимость предложения может вызывать сомнение, что нередко бывает, поскольку «язык переодевает мысли» (4.002).

В «Трактате» устанавливается и описывается та ситуация, когда предложение имеет смысл. Оставим пока в стороне псевдопропозиции. Тогда в «Трактате» мы обнаружим два отдельных вида *законных* значимых пропозиций. Это атомарные и молекулярные пропозиции. Предложение, которое оказывается не тем и не другим, вообще не пропозиция. Оно лишено значения.

Элементарные, или атомарные, пропозиции, к которым могут быть сведены все молекулярные, получают свое значение от непосредственной связи с миром. Элементарные пропозиции неразложимы и логически не зависят одна от другой. Очень важно то, что такая элементарная пропозиция отражает *возможное* положение дел в мире. Если какой-то факт существует, то элементарная пропозиция истинна; если нет, то она ложна.

Можно предположить, что мы имеем дело только с теорией языка. Действительно, онтология, или теория природы, и структуры реальности сопровождают лингвистическую теорию. Витгенштейн пытается ответить на вопрос: в каком случае высказывания являются значимыми? В его представлении о языке подчеркивается, что природа конечных составляющих элементов мира может быть открыта путем языкового анализа, а структура языка в свою очередь определяется структурой реальности. Анализ Витгенштейна не ограничивается каким-то *особым* языком. Он рассматривает существенную, хотя и скрытую структуру, которой должен быть наделен *любой* язык, способный к значимому выражению.

С точки зрения Витгенштейна, мир состоит из *объектов* в *виде фактов.* Истинная элементарная пропозиция отражает факт, называемый *атомарным фактом.* Такие

факты, как и соответствующие им элементарные пропозиции, не зависят один от другого. Элементарная пропозиция может быть значимой, не будучи истинной, если она отражает возможное сочетание объектов (положений дел), которые не существуют. У элементарной пропозиции и положения дел, которое она отражает, одинаковая форма.

Читатели «Трактата», в их числе большинство логических позитивистов, часто предполагали, что элементарные пропозиции несут смысловой опыт. Можно предположить, что у Витгенштейна был или должен был быть такой замысел. Но в «Трактате» нет каких бы то ни было утверждений по этому поводу. В связи с элементарными пропозициями, атомарными фактами и объектами Витгенштейн не дает никаких примеров. Он даже не указывает, каким должен быть *тип* примера. *Прямо* не утверждается, что объекты должны быть объектами человеческого знания, говорится только, что они должны существовать, чтобы существовал язык. Таким образом, «Трактат» Витгенштейна — это работа по логике и онтологии, а не по теории знания. По иронии судьбы, Бертрана Рассела обвиняют, что он поддержал мнение о том, что «Трактат» — это труд по эпистемологии, хотя сам он в своем известном Предисловии написал: «Витгенштейн не оспаривает то, что мы можем вынести за скобки реальность или иметь о ней эмпирическое знание. Это логическая необходимость, которую требует теория» (p. XIII).

К счастью, в последние годы неверное толкование «Трактата» было исправлено. Профессор Г.Э.М. Энском, к примеру, показала, что в «Трактате» Витгенштейна не рассматриваются проблемы чувственных данных [1]. К сожалению, как только одна ошибка в толковании была устранена, возникла другая. Предположим, что в «Трактате» преобладают кантианские темы и характер «Трактата» больше кантианский, чем эмпирический, несмотря на то внешнее впечатление, которое он производит, и на распространенное толкование в английских и американских философских кругах. Я уже отмечал эту тенденцию выше в критических заметках об истолкова-

[1] G.A.M. Anscombe. *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus* (London: Hutchinson University Library, 1959).

нии цели «Трактата» Куинтоном. Дополняя сказанное, сейчас может быть полезно добавить, что одна из главных идей «Трактата» — не только *не*-кантианская, но по духу *до*-кантианская. Я имею в виду теорию, в соответствии с которой природа мира открывается путем исследования и анализа языка. До Канта было распространено общее мнение о том, что между человеческим сознанием и внешним миром существует гармония. Поэтому сознание человека (иногда без помощи чувств) в состоянии постичь природу реальности. А если сознанию это не удается, то в докритической философии это объясняется вмешательством в работу человеческого разума. Не встречающему препятствий человеческому разуму доступна природа реальности.

Кант отверг эту теорию, утверждая, что законы рационального не отражают, как в зеркале, структуру самих вещей, которые, на самом деле, не познаваемы человеком, но дают формы человеческого познания. Если человеку удается познавать действительность, то он познает ее в соответствии с формами человеческого познания. Но изучение человеческого ума не откроет природу реальности, *Ding an sich.*

Другими были взгляды до Канта: «Разум сам по себе — это зеркало, в котором без искажений отражается постоянно изменяющаяся структура внешнего мира» [1]. Витгенштейн и сам мог заявить: «Язык сам по себе, действительно, — это зеркало, которое, если его правильно поставить, отражает без искажений меняющуюся структуру внешнего мира». Принимая во внимание этот аспект его мысли, толковать раннего Витгенштейна в духе Канта было бы неверно. Чтобы не погрешить против истины, надо признать, что в его труде есть следы кантианских тем, но они ни в коей мере не преобладают [2]. В частности, отзвук кантианских идей можно найти в рассуждении Витгенштейна о том, что как нельзя представить себе пространственные объекты за пределами пространства, а

---

[1] Henry David Aiken. *The Age of Ideology* (New York: Mentor Books, 1956, p. 31).

[2] Как указывал Джеймс Гриффин: «Маловероятно, что слово «мир» может означать «мир моего опыта»; он [Витгенштейн] имеет в виду реальность». См.: James Griffin. *Wittgenstein's Logical Atomism* (Seattle: University of Washington paperbooks, 1964), p. 150.

временные — за пределами времени, так и нельзя представить себе объект, не имеющий возможности соединиться с другими.

Моя точка зрения — я лишь назову ее, но не буду объяснять, потому что объяснение потребует целого трактата, — такова. Более точно, хотя и немного обманчиво, утверждать, что движение раннего Витгенштейна к работам позднего Витгенштейна — это движение от докритической прекантианской позиции к посткантианской в духе Гегеля вне влияния Канта.

IX

Прежде чем перейти от представленных в «Трактате» ранних изысканий Витгенштейна к тому важному периоду в его жизни, когда он удалился от философии, а затем пересмотрел свои философские взгляды, следует кратко упомянуть три другие части его теории, изложенные в «Трактате»: теорию сложных пропозиций, мысль о логической функции языка, выявляющего истину, а также известное учение о «показанном».

До сих пор обсуждалась только часть научного значимого дискурса, которая выражена в элементарных пропозициях. По Витгенштейну, большая часть пропозиций, наблюдаемых в обычной жизни и науке, — не элементарные, а сложные молекулярные пропозиции. Они могут быть сведены к функциям истинности элементарных пропозиций и получают от порождающих их пропозиций свое собственное значение и ценность. Нелегко провести анализ каких-то частных случаев, но если данная составная пропозиция имеет значение, то можно сделать следующий вывод: у всех значимых языков одинаковая логическая структура.

Нужно разъяснить смысл словосочетаний «функция истинности» и «логическая структура». Сказать, что сложную пропозицию можно разложить на функции истинности элементарных пропозиций, — это значит утверждать, что сложные пропозиции состоят из группы *структурно связанных* с помощью языка логики элементарных пропозиций. Эти логические выражения включают отрицание и конъюнкцию. Сами по себе они *не-*

дескриптивны и представляют структурное основание, на котором расположены пропозиции. Сами они в действительности ничему не соответствуют. Так, если мы предположим, что буквы *p* и *q*, взятые каждая в отдельности, соответствуют элементарным пропозициям, то тогда «*p* и *q*» будет соответствовать составной пропозиции, элементы которой *(p, q)* соединены функционально-истинностной связкой — *конъюнкцией* («и»). Точно так же «ни p ни q» — это составная пропозиция, пропозиционные элементы которой соединены соединительными словами функций истинности *отрицания* и *конъюнкции*.

X

Витгенштейн многократно и недвусмысленно заявлял, что то, что не может быть изложено в значимой пропозиции, вообще не может быть сформулировано. Тем не менее он допускал, что некоторое содержание, которое не было сформулировано в пропозициях, *проявилось* в значимых пропозициях, *показывая* себя. Таким образом, часть из того, что не может быть *сказано*, может быть *показано*.

Как и Рассел, Энгельман и другие, Витгенштейн несколько раз заявлял, что его «учение о "показанном"» — главная часть «Трактата». Нет никаких сомнений в том, что Витгенштейн считал это учение важным. А между тем этот аспект его книги не получил еще достаточного внимания в связи с тем, что сам Витгенштейн говорит об этом мало, да и то сжато и иносказательно.

Полагаю, что лучшая попытка понять эту сложную идею была сделана Джеймсом Гриффином [1]. Он правильно поставил данное учение в контекст логической теории Витгенштейна, а также его размышлений о логике, разработанной Фреге и Расселом. По Гриффину, учение Витгенштейна — это отчасти развитие воззрений на определение понятий, изложенных Фреге в «Grundgesetze», а также отклик на теорию типов Рассела и, кроме того, результат собственных размышлений Витгенштейна об уникальном характере логических пропозиций. Полемика в области ло-

[1] Griffin, op. cit.

гики дает основу для понимания данного учения. У Витгенштейна проблемы логики становятся основой изложения его воззрений на этику, эстетику и религию.

Развивая мысль о том, что пропозиция — это образ, Витгенштейн указывает, что образ не может очерчивать свою собственную образную форму, в данном случае форму, предопределенную логикой. Потому что логические или формативные константы не дескриптивны. В то же время образная пропозиция может *развернуть*, или показать, или продемонстрировать свою логическую структуру (и структуру мира, которую она отражает). Важной частью этого учения, если бы оно было истинным, было бы утверждение о том, что теория типов Рассела невозможна и поверхностна. Попытка в теории Рассела рассуждать о том, что такое «вещь», «собственность», «факт» и «тип», — это то, что не может быть сделано даже в рамках самой данной теории. Как пишет Витгенштейн, это стремление сказать то, что не может быть сказано. Витгенштейн считает, что для того, чтобы исправить данное положение дел, не нужно пересматривать теорию типов. Лучше понять, показав разницу между говорением и показом, что такая теория, даже если бы она была *через невозможное* возможна, поверхностна. Витгенштейн полагал, что полностью и определенно знать значение символа — это значит знать все его возможные сочетания. Другими словами, *если знать сферу использования символа, то тогда не нужна теория типов,* поскольку знать сферу использования символа — это значит знать его тип. Когда знаешь сферу использования символа, трудно прийти к логическому парадоксу, выйдя за пределы этой сферы или типа.

Итак, не нужно пытаться заявлять или говорить, какова сфера использования символа. Это покажет сам символизм, если он будет полностью и точно понят. Поэтому Витгенштейн в «Трактате» подчеркивает необходимость четкого и полного определения.

Эту мысль трудно объяснить, не прибегая к специальной терминологии, но она, безусловно, проницательна. Величайшее уважение Рассела к «Трактату» во многом связано с этой частью книги. Правда, сам Рассел в «Предисловии» вспоминает о том, что не верит в решение проблемы. Свою оценку теории Витгенштейна он выражает

так: «Создать безукоризненную логическую теорию — это очень важный и тяжелый труд» (p. XXII).

Когда в мае 1922 года Рассел написал свое «Предисловие», логическая теория Витгенштейна действительно казалась безукоризненной. К середине 30-х годов тем не менее ее основные положения (так же, как и многое в теории Рассела) были опровергнуты работами Курта Гёделя и Алонзо Чёрча. В параграфе 6.5 «Трактата» Витгенштейн прямо заявил: «Загадки не существует. Если вопрос можно сформулировать, то на него можно ответить». Работы Гёделя, которые были опубликованы в 1931 году, показали, что в каждой арифметической системе, имеющей сложение, умножение и простые числа, есть ***нерешаемые*** уравнения. Гёдель, к примеру, доказал, что при любой проверке доказательств в элементарной теории чисел можно построить такое уравнение, которое окажется правильным только в том случае, если его нельзя проверить с помощью данной проверки доказательств. Тогда либо уравнение проверяемо, и тогда оно ложно и проверка доказательств подвергнута сомнению, либо уравнение истинно, но не проверяемо. Но в этом случае проверка доказательств *не полна* [1].

Работы Гёделя, а также результаты, полученные позднее Алонзо Чёрчем и С.К.Клини, показали, что любой метод опровержения, каким бы запутанным он ни был, приводит к недоказуемости некоторых в принципе недоказуемых теорем [2]. Следовательно, загадки существуют.

Логики больше не относятся серьезно к логической теории Витгенштейна, и в частности к его попытке избежать трудностей в теории типов, различая то, что может быть сказано, и то, что может быть показано. Да и в свое время она была маловлиятельной. Витгенштейн лишь вкратце распространил свое учение с логики на этику, эстетику и религию. Это заняло у него всего шесть страниц «Трактата» и выражено очень метафорически. Правда,

---

[1] Kurt Gödel" «Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme», *Monatshefte für Mathematik und Physik.* V. 38, 1931. S. 173–98.

[2] S.C.Kleene. Recursive predicates and gumantifiers. In: *Transactions of the American Mathematical Society.* V.53, 1943, p.41–73; Alonzo Church. A note on the Entscheidungsproblem. *Yournal of Symbolic Logic.* V.1, 1936, p.40–41, 101–102.

нет никаких деклараций характера этого метафорического переноса, но Витгенштейн мог с легкостью его отрицать. Так, он указывает, что значение, *как и логика*, присутствует в мире и может быть передано или показано с помощью значимых пропозиций, которые могут быть сформулированы. В то же время попытка сказать что-нибудь значимое или правильное приводит к бессмыслице.

Энгельман дал нам один подтверждаемый документом пример того, что безуспешно хотел передать Витгенштейн. Во время войны по просьбе Витгенштейна Энгельман послал ему копии поэмы Уланда «Граф Эберхард Готторн». Энгельман пишет о поэме: «Каждая строчка Уланда была проста, не бесхитростна, а сжата и содержательна... Вся поэма в целом в 28 строках дает картину жизни»[1].

Витгенштейн написал ему в ответ: «Поэма Уланда действительно великолепна. И вот почему: если только не пытаться сказать то, что невысказываемо, тогда *ничего* не будет потеряно. Но невысказанное будет — невысказанно — *содержаться* в том, что было сказано!»

XI

Это свидетельство помогает глубже понять, как Витгенштейн применял свою теорию показанного в области этики, эстетики и религии. Однако самый лучший и, возможно, единственный способ объяснить его учение — это рассказать о событиях его жизни в двадцатые годы до и сразу после опубликования «Трактата», когда он работал в начальной школе в Нижней Австрии. В следующей главе делается попытка решить эту задачу и таким образом перекинуть мостик от его размышлений в «Трактате» к более поздним в «Философских исследованиях».

---

[1] Paul Engelmann. *Op.cit.*, S. 84–85.

3

НЕ ПО ОБЩЕЙ МЕРКЕ

Витгенштейн был аскетом. Таких людей, как он, считают сумасшедшими, но их нельзя мерить обычными мерками.

Оскар Фукс, сапожник из Траттенбаха.[1]

Сейчас сапожники, которые шьют сапоги по мерке, разумнее обращаются с людьми, чем наши школьные учителя и воспитатели, которые взывают к моральным принципам.

Отто Вейнингер[2]

I

За те шесть лет, которые Людвиг Витгенштейн провел в Нижней Австрии в качестве школьного учителя, «люди удивлялись его учению. Ибо он учил их как человек, облеченный властью, а не как книжник».

Процитированный фрагмент, взят, разумеется, из Нового Завета. Вообще данный отрезок жизни Витгенштейна можно было бы включить в дидактическую пьесу, лейтмотив которой перекликается с евангельскими мотивами. Почти все, что нужно для этого, в жизни Витгенштейна в это время есть: обучение книжников в храме, глас провидения, искушение, жизнь в глуши и уединении, отказ от мира и его прелестей, создание группы учеников, забота о слабых, смиренных, миротворцах и преследуемых, сильная привязанность к детям, сотворение чудес, излечение больных. В то же время, чтобы представить события этих лет подобным образом, о жизни Витгенштейна-учителя мы знаем слишком много и чрезвы-

---

[1]Герр Фукс высказал это мнение фрау Луизе Хаусман, учительнице английского языка в Кирхберге на Векселе. Эти слова приведены в ее книге «Витгенштейн — школьный учитель». Сокращенный вариант рукописи этой книги опубликован в *Club Voltaire*, VI, Гамбург, 1970, S.391—396 в качестве приложения к моему очерку «Школьная реформа в Австрии как путь современной философии».

[2]Otto Weininger. *Sex and Character* (London, William Heinemann, 1906).

чайно мало. Дело еще и в том, что, помимо того, что Витгенштейн был «горд, как Люцифер», по выражению Бертрана Рассела, он был предельно скромным человеком. Поэтому любое сравнение его бы глубоко обидело. Правда, нельзя забывать вот о чем. Во-первых, опыт, передаваемый Евангелием, в определенном смысле слова архетипический. Утверждать, что он повторится по-другому в иное время и при других обстоятельствах, вовсе не святотатство. Во-вторых, прочитав в начале 1915 года в Галиции толстовскую версию Евангелия, Витгенштейн был глубоко поражен. С тех пор он бессчетное количество раз перечитывал Евангелие. По свидетельствам его друзей, большие отрывки он знал наизусть. И последнее. Попытался воплотить в жизнь толстовскую версию Нагорной проповеди — то есть показать что-либо на деле, а не просто сказать. Чтобы понять сущность удивительной жизни Витгенштейна в Траттенбахе, Пухберге и Оттертале с 1920 по 1926 год, трудно отрешиться от мысли, что сознательно или бессознательно, лучше или хуже Витгенштейн подражал Христу. Поскольку все сказанное — всего лишь гипотеза и проверить ее невозможно, то как раз в духе философии Витгенштейна будет просто обратить внимание на этот факт и в дальнейшем хранить молчание. Пусть факты говорят сами за себя.

Есть целый ряд других причин, которые вынуждают меня быть осторожным и не навязывать никому схему жизни Витгенштейна в эти годы, какой бы верной эта схема ни казалась. Некоторые аспекты жизни Витгенштейна, например его сексуальное поведение, можно было бы представить в виде схемы. Это было бы удобно и, пожалуй, даже отчасти верно. И все же шесть лет жизни вряд ли можно представить в виде схемы. Даже если, живя в деревне, Витгенштейн пытался подражать Христу, в его жизни было не только это. Только подражать — для него значило вступить в противоречие с собственной этической позицией, которая была описана в «Трактате» и «Тетрадях», хотя само по себе это уже было важным экспериментом. Трудно представить себе, что все эти годы Витгенштейн был погружен только в этику и практическую философию. На протяжении 1920-х годов он развивал и пересматривал один из наиболее важных аспектов своей философии. Те, кто думает, что Витгенштейн в

это время забросил философию и вернулся к ней неожиданно, прослушав лекции датского математика Л.Э.Дж.Брауэра в марте 1928 года, ошибаются. На протяжении шести лет Витгенштейн *участвовал* в осуществлении программы школьной реформы в Австрии. Этот опыт в его жизни больше никогда не повторился. Витгенштейн не просто следовал тому, что было заложено в программе. Как воспитатель он предлагал нечто новое, свое, и это не могло не сказать воздействия на его философию. Все, чем бы ни занимался Витгенштейн, сливалось в одно целое, иногда полное противоречий, но тем не менее формировавшее его личность.

II

И в «Коричневой книге» Витгенштейна, написанной в 1934 — 1935 годах, и в первой части «Философских исследований», которые в наиболее законченном виде передают сущность его поздней философии, содержится критика представлений о том, как ребенок усваивает язык. Витгенштейн приписывает это учение Блаженному Августину, а затем находит в трудах многих философов. В 1926 году Витгенштейн опубликовал свой «Словарь» для школьников[1]. В «Zettel» «(412) Витгенштейн спрашивает у самого себя: «Занимаюсь ли я детской психологией?»

Мне не кажется удивительным то, что своим ученикам начальной школы в Траттенбахе он рассказывал следующую историю:

«Однажды проводился такой эксперимент. Двух маленьких, еще не умевших говорить детей поселили в уединенном месте с глухонемой женщиной. Цель эксперимента состояла в том, чтобы определить, научатся ли они какому-нибудь примитивному языку или изобретут собственный новый язык. Эксперимент не удался».

Такую историю, небольшой фрагмент которой приводится здесь, Витгенштейн рассказывал своим девяти- и десятилетним ученикам в первый год своей преподава-

---

[1]Ludwig Wittgenstein. *Wörterbuch für Volksschulen* (Vienna: Höldek — Pichler — Tempsky A.G., 1926).

тельской деятельности. Примерно сорок восемь лет спустя после уроков Витгенштейна ее пересказывал мне один из его учеников, ставший фермером в Траттенбахе. Услышав эту историю от Витгенштейна, он запомнил ее. В этом небольшом рассказе не просто намечены, но уже достаточно глубоко очерчены все основные представления об изучении языка, о том, что такое примитивный язык, индивидуальный язык, — словом, все то, что будет интересовать «позднего Витгенштейна», который, по общему мнению, сформировался в начале тридцатых годов.

Удивительнее всего то, что те шесть лет, в течение которых Витгенштейн работал учителем в школе, каждый день встречаясь с детьми и уже занимаясь теми проблемами, которые станут определяющими во всех его дальнейших философских исканиях, — эти годы даже через двадцать лет после его смерти до сих пор остаются тайной. Может быть, философы предполагают, что эти шесть лет не заслуживают серьезных исследований. В работах о жизни и творчестве Витгенштейна им обычно уделено несколько предложений или отводится один параграф. Редко приводятся правильные даты, даются верные названия мест и имена. Все сведения чаще всего цитируются. Как правило, они почерпнуты из официальных сообщений, которые руководители школ в Нойнкирхене передали в ответ на письменный запрос Ф.А. фон Хайека (двоюродного брата Витгенштейна) вскоре после смерти ученого. Все эти официальные сведения, которые распространяются среди тех, кто интересуется жизнью Витгенштейна, подготовлены крайне небрежно. Чаще всего это просто домыслы, которые уводят в сторону от правильного понимания пути Витгенштейна. Один британский исследователь, например, бывал в деревнях, но крестьяне рассказывают, что он беседовал только с представителями местной власти, с учителями школы и с одним учеником Витгенштейна (ныне покойным), у которого хранилось письмо от учителя. Энгельман собирался описать этот период жизни Витгенштейна, но скончался, даже не приступив к этому разделу в своих «Воспоминаниях»[1]. Другие исследователи поспешно пробегают мимо учительского периода в жизни Витгенштейна, как будто эти

[1]См. Приложение Б.Ф.МакГиннеса к книге П.Энгельмана, с.145.

годы всего лишь эксцентричный шаг, на который не стоит обращать никакого внимания. Один американский исследователь пишет: «Человек, по общему мнению наделенный гением и открывший в логике и философии то, чего, казалось бы, и вообще-то не существует, за кратчайший срок внес в эти области знания огромный вклад; человек, которому суждено было блестящее будущее в одной из самых сложных интеллектуальных наук, — этот человек вдруг отказался от всего и посвятил себя смиренной задаче — обучать маленьких детей в отдаленных деревнях»[1].

Конечно, можно пытаться отрицать важность опыта Витгенштейна-учителя. Но ведь академическая карьера его слишком-то никогда и не интересовала. Решение стать учителем пришло в конце первой мировой войны и было связано с той деятельностью, которую вела семья Витгенштейнов. Оказавшись в стране, теперь известной как Австрийская Республика, которая переживала тяжелейшую экономическую разруху, семья Витгенштейн занялась широкомасштабной общественной работой. В семье на протяжении многих лет хранились традиции общественного служения. Многие члены семьи воспринимали это служение как свой долг. Создав сталелитейную промышленность в монархии на Дунае (большая часть предприятий размещалась в Богемии, с 1918 года — Чехословакии), Карл Витгенштейн занял в своей стране положение, подобное тому, какое было у Эндрю Карнеги в Америке или у семьи Крупп в Германии. Вообще, Карнеги, Круппы, Швабы и Витгенштейны до войны часто гостили друг у друга. До войны Витгенштейны были известными меценатами. Густав Малер, Бруно Вальтер, Иоганн Брамс и Клара Шуман нередко бывали в Пале Витгенштейн. Квартет Иозефа Иоахима часто выступал в большом зале Пале[2]. После того как в 1890 году Карл Витгенштейн удалился от дел, он с увлечением погрузился в мир искусства. Карл Витгенштейн выстроил большой выставочный зал в Вене — Сецессион, выделил пенсионы многим известным художникам того

---

[1]George Pitcher. *The Philosophy of Wittgenstein* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964), p.6.

[2]Bruno Walter. *Theme and Variations: An Autobiography* (London: Hamish Hamilton, 1947).

времени. В 1914 году, уже после его смерти, Людвиг отдал 100 000 крон Людвигу фон Фикеру для помощи поэтам, художникам, объяснив при этом, что такова семейная традиция[1].

В первые послевоенные годы внимание детей Карла Витгенштейна было скорее обращено на общественное благосостояние, чем на искусство. Герберт Гувер назначил Маргарет Стонборо своим личным представителем Американской комиссии по оказанию продовольственной помощи в Австрии. Благодаря этой работе она познакомилась со многими общественными и политическими деятелями в Вене, включая Отто Глёкеля, который был административной главой программы школьной реформы. Как руководитель Глёкель был непосредственно связан с деятельностью, направленной на экономическое возрождение деревни путем обучения крестьян. Старшая сестра Людвига Мининг открыла дневную школу в Гринцинге для мальчиков из бедных венских семей. Она помогала Людвигу в его работе с крестьянскими детьми в деревне. В этой связи решение Витгенштейна стать учителем начальной школы — помимо философской важности, которую оно приобрело, — вряд ли можно назвать эксцентричным.

В любом случае Витгенштейн был одним из сотен образованных и высокоталантливых молодых учителей, которые пришли в школы после фронта. С сентября 1920 года они начали уезжать из Вены в сельскую местность. Среди талантливых молодых людей, работавших в двадцатые годы в области школьной реформы, были Людвиг Эрик Тезар, который наряду с Райнером Марией Рильке и Георгом Траклем получил денежную помощь из суммы, переданной Витгенштейном Фикеру, а также два философа, которые впоследствии интересовались проблемами Венского кружка, — Карл Поппер и Эдгар Цильзель. Да и сам Венский кружок в одном из своих первых манифестов заявил о причастности к целям реформы школьного образования[2].

---

[1]Вся история отношений Витгенштейна с Фикером описана во всех подробностях. См.: Ludwig Wittgenstein. *Briete an Ludwig von Ficker* (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1969).

[2]*Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis (Vienna: Artur Wolf Verlag, 1929), S.10.*

III

Что же из себя представляла программа школьной реформы? Как она возникла? На что была направлена?

О том, что система школьного образования в Германии и в Австрии до войны была неудовлетворительной, с горьким пафосом писали многие выдающиеся деятели культуры и писатели. Достаточно вспомнить «Молодого Тёрлесса» Роберта Музиля, или рассказ Германа Гессе «Под колесом», или фильм «Девушка в школьной форме», чтобы напомнить об этих темах и о чувстве протеста, которое вызывала репрессивная школьная система, подавляющая стремление к творчеству.

А между тем австрийцы еще при Габсбургах располагали самой прогрессивной в Европе системой школьного образования. Прогрессивность, конечно, была относительной, но австрийская школа имела преимущества по отношению к школам других европейских стран, включая Англию. Школа предлагала парадигму просвещенного мышления. Образование в большой степени находилось под контролем римской католической церкви и было полностью авторитарным и регламентированным. Вот как имперский советник граф Роттенхен определил ее задачи вообще и цели начальной школы в частности: «Воспитать глубоко набожных, хороших, *послушных* и прилежных представителей трудового сословия». Указ кайзера от 1805 года о средних школах недвусмысленно предупреждал: «Главный способ обучения — тренировка памяти, а затем уже, если обстоятельства к тому принудят, воспитание ума и души. *В обычных школах надо строго придерживаться только тех методов обучения, которые предписаны «школьными и методическими руководствами»*...[1] Можно предположить, что этот подход связан только с одной концепцией образования — воспитанием прилежания. Интересно, что предлагаемый в ту пору метод обучения в психологии был известен как «ассоциативизм». Некоторые принципы «ассоциативизма» совпадали с теми, которые развивал Витгенштейн в своих ранних

---

[1]См.: Karl Strack. *Geschichte des deutschen Volksschulwessens* (Gütersloh, 1872), S.327–330.

работах. Ассоциативизм в Австрии сформировался в теорию образования на основе взглядов Иоганна Фридриха Гербарта (1776 — 1841). Последователи Гербарта заняли многие из кресел профессоров философии после революции 1848 года[1]. Концепция ассоциаизма сложна. В самом приближенном виде — это представление о том, что ум человека нейтрален, пассивен и лишен врожденной способности к творчеству. Представление о том, что человеческий разум — это место для хранения, как нельзя лучше соответствовало социальным задачам воспитателей в империи Габсбургов. По их мнению, цель обучения состояла в том, чтобы натренировать учеников по готовым упражнениям, внушив им те мысли, которые, как уже было решено свыше, должны были определять все их существование. Гербарту и в голову не приходило задать себе вопрос — стоит ли учителю спорить с учениками? В «Основаниях доктрины образования» Гербарт писал: «Бывают случаи, когда дерзкий ученик как бы бросает вызов учителю. Не следует принимать такой вызов. Лучше отыскать средство, чтобы спокойно укорить его за дерзость, сохранить спокойствие до тех пор, пока горячность не остынет»[2].

Против такой доктрины образования и воплощавшей ее школьной системы Отто Глёкель и его сподвижники начали яростное наступление. Они утверждали, что старые «начетнические школы» империи Габсбургов должны быть заменены новыми учебными заведениями, которые назывались бы «Arbeitsschule», или «Рабочие школы», и в которых ученики должны стать *активными* участниками урока. Слово «Arbeit», или «работа», относилось к занятиям по труду и ремеслам, которые вводились в школьную программу для того, чтобы дети представителей среднего класса знакомились с реальными трудностями трудовой жизни. Гораздо важнее в этой связи то, что немецкая фраза «Sich etwas erarbeiten» обозначала активное участие в уроке. Цель занятия не сводилась к пассивному запоминанию и сохранению того, что давали школьные упражнения, но была шире — развивать способности. «Sich etwas erarbeiten» в немецком языке предполагает получение зна-

---

[1]Heinrich Gomperz. — Philosophy in Austria During the last Sixty years. — *The Personalist*, 1936, p.307 — 311.

[2]J.F.Herbart. *Outlines of Educational Doctrine* (Macmillan, 1904), p.165.

ния путем индивидуальной работы, посредством решения какой-то проблемы. В новых условиях *требовалось* более самостоятельное и независимое мышление, деятельность со стороны учеников, активность, словом — все то, что по Гербарту, вызовет усталость, если только ученику будет позволено играть активную роль в уроке.

Реформаторы школы, среди которых было много социалистов (социал-демократов), считали, что новое направление в образовании политически необходимо. Они хотели, чтобы крестьяне и рабочие новой республики были свободны от авторитарного давления в школе, так как им предназначено стать гражданами демократического государства, способными самостоятельно принимать решения, а не пассивно соглашаться со всеми декретами, ниспосланными им государственной и церковной властью.

Программа казалась на редкость привлекательной. На нее обратили внимание деятели системы образования во всех странах. Но в полуфеодальном обществе, сохранявшемся в Нижней Австрии после первой мировой войны, далеко за пределами таких крупных промышленных городов, как Вена и Грац, подобная программа казалась скорее не планом школьной реформы, а программой инакомыслия и революционных преобразований. Людвиг Витгенштейн был далек от того, чтобы горячо поддерживать программу. Несмотря на то что сам он и члены его семьи лично знали Глёкеля, Витгенштейн часто высмеивал самые примитивные лозунги и пункты программы. Вряд ли можно будет найти лучшую иллюстрацию не только положительного потенциала, но и слабых сторон школьной реформы с политической точки зрения, чем деятельность Людвига Витгенштейна в Нижней Австрии. Дело в том, что многие крестьяне, среди которых он жил, воспринимали самого Витгенштейна и новые методы образования, которым он следовал, как нечто, таящее в себе угрозу их привычному образу жизни.

Опыт Витгенштейна в школе — очень хороший, но далеко не единственный пример отношения к школьной реформе. Неприятие программы реформ четко обозначилось в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, когда самые упорные сторонники реформ столкнулись с большими трудностями в австрийской деревне. Возникло движение фермеров против программы Глёкеля, сначала

оно распространилось по всей стране, кроме Вены. Однако после прихода к власти в 1934 году Дольфуса, получившего главную поддержку от крестьян, программа была полностью запрещена.

По иронии судьбы подобную реакцию со стороны австрийского крестьянства предвидел еще Карл Витгенштейн. Рассуждая о важности образования рабочего и крестьянина, старший Витгенштейн уже в 1898 году писал: «Необразованный крестьянин, который сам ничему не научился, ничему не научит своего сына... В этом кроется основа всех тех усилий, которые отчасти сознательно, а отчасти бессознательно тормозят любой прогресс»[1]. Карл Витгенштейн вряд ли мог предположить, что его сын Людвиг, которому в ту пору было девять лет, отправится в деревню, чтобы учить крестьян, руководствуясь не только мрачным взглядом отца на жителей деревни, но и романтическими представлениями о благородных крестьянах в духе Толстого.

IV

Вряд ли может разочароваться человек, не тешивший себя никакими иллюзиями; но Витгенштейн, проведя всего лишь год в Траттенбахе, впал, разумеется, в глубокое уныние.

Хотя Траттенбах и разместился в горах, его не назовешь прелестной австрийской деревушкой. Расположенный на высоте 2500 футов над уровнем моря, с севера обрамленный цепью крутых гор (высотой до 5000 футов), а с юга — небольшой речкой и громадными горными хребтами, Траттенбах и поныне — неуютное, необжитое местечко с убогими домишкам; должно быть, во времена Витгенштейна он являл собой еще более унылое зрелище. Климат там суровый; горные громады препятствуют проникновению достаточного количества солнечного света в деревни, исключая особые дни, когда солнце движется строго с востока на запад, ибо именно в таком направлении и вытянулся Траттенбах.

---

[1]Karl Wittgenstein. *The Causes of the Development of Industry in America*, Vienna. 1898, p.723; издание осуществлено за счет средств автора.

Сначала Витгенштейну очень понравилось в новом месте. Не прошло и недели, а он уже пишет Бертрану Расселу, находившемуся тогда в Пекине, о своем назначении и сообщает: «Еще совсем недавно жизнь *ужасно угнетала* и тяготила меня, но теперь я немного приободрился»[1]. Спустя три недели Витгенштейн отправляет восторженное, по его понятиям, письмо Энгельману: «Я работаю в очаровательном гнездышке под названием Траттенбах... Я доволен своей работой в школе; в ней мое спасение, а иначе джинн выйдет из бутылки...»[2]

Перемена, происшедшая за год в образе мыслей Витгенштейна, воскрешает в памяти несколько абзацев из «Трактата», написанного за несколько лет до его приезда в деревню:

(Этика и эстетика едины.)

Если добрая и злая воля изменяет мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то, что может выражаться в языке.

Короче говоря, при этом условии мир должен вообще стать совсем другим. Он должен, так сказать, уменьшаться или возрастать как целое.

Мир счастливого совершенно иной, чем мир несчастного[3].

За год едва ли мог существенно измениться Траттенбах или его жители, то есть измениться факты. Однако на второй год глубоко несчастному Витгенштейну стало ненавистно его «очаровательное гнездышко». Ровно через год он сообщает уже возвратившемуся в Англию Расселу о том, что он «все еще в Траттенбахе, а вокруг, как всегда, царит пошлость и низость. Я понимаю, что в большинстве своем люди везде ничтожны, но здесь они гораздо никчемнее и безответственнее, чем где бы то ни было. Я, вероятно, останусь в Траттенбахе на этот год, но не дольше, поскольку даже с учителями у меня натянутые отношения (в других местах, думаю, не лучше)...[4]

---

[1]Цит. по: Russel. *Op.cit.*, Vol.II, p.166 – 167.

[2]Engelmann. *Op.cit.*, S.38 – 39.

[3]Витгенштейн Л. Логико-философский трактат, М., 1958, с.95.

[4]Russel. *Op.cit.*, Vol.II, p.167 – 168.

Рассел возразил, что все люди порочны и траттенбахцы порочны не более остальных[1]. Витгенштейн, испытывавший некоторые языковые затруднения при обсуждении подобной темы, согласился с Расселом: «Вы правы. Траттенбахцы ничуть не хуже остальной части рода человеческого. Но Траттенбах — особенно ничтожная деревушка в Австрии, а с началом войны австрийцы так низко пали, что слишком тяжело говорить об этом»[2].

Как целое мир Витгенштейна действительно уменьшился — уменьшился в результате стычек с траттенбахцами на этической почве. Навязывая им свою волю, он изменил границы собственного мира.

Рассел рассказал о безудержной, бескомпромиссной, затмевающей все прочие свойства правдивости Витгенштейна; Леонард Вульф поведал о его агрессивной жестокости. Рассел и Вульф мастерски умели подметить и оценить подобного рода черты характера, но траттенбахцы, чьих детей и внуков, племянников и племянниц обучал Витгенштейн, зачастую не видели никакой разницы между честностью и жестокостью. А бесстрастная, безжалостная честность — особенно когда о ней не просят — может обернуться зверской жестокостью.

Гению, по словам Вейнингера, мучительно трудно солгать. В Траттенбахе и Оттертале Витгенштейн старался избегать взрослых. Но если уж ему доводилось столкнуться с ними, он никогда им не лгал. За это его ненавидели.

Однако многие дети обожали Витгенштейна, и он не только учил их, но и сам учился у них.

V

Каковы же были эти «порочные», «никчемные и безответственные» траттенбахцы, за которых пришлось заступаться Расселу? И как удалось им так грубо оскорбить Витгенштейна?

---

[1]Ibid., p.139.

[2]Ibid., p.169 — 170. Рассел игнорирует этот ответ Витгенштейна, хотя он и приведен в его собственной книге, и немного фантазирует. См. с. 139 и ср. с.169 — 70. Книга Рассела изобилует фактическими неточностями в отношении Витгенштейна.

Едва ли Витгенштейн когда-нибудь читал ироническое замечание Э.М.Форстера (из «Хоуардс-Энда») об очень бедных людях: о том, что нищета их «немыслима и приблизиться к ним вправе лишь статистик или поэт». Витгенштейн наверняка сразу бы отверг смысл — если не саму иронию — замечания, попадись оно ему на глаза. В деревни Нижней Австрии Витгенштейн прибыл преисполненный наивной романтической веры в простоту и честность крестьян. Он почерпнул подобные идеи частью из демократических лозунгов новой Австрийской Республики, частью из программы школьных реформ, частью из собственного военного опыта, но главным образом из книг Толстого, восхвалявшего «благородную» крестьянскую жизнь. Нетерпение Витгенштейна увидеть крестьянские добродетели подогревалось его отвращением к городской жизни и не раз выказываемым им презрением к тем, кого он называл городскими «полуобразованцами», развращенными бульварной прессой, — именно на них так яростно обрушивался он вместе с Карлом Краусом в течение всего послевоенного периода.

Но не стоит преувеличивать романтизм Витгенштейна. Если о нищете бедных все же можно помыслить — в духе ли Форстера, в духе ли Витгенштейна, — то факт остается фактом: о них, по крайней мере как об индивидах, действительно очень мало думают. За один год, проведенный в Траттенбахе, Витгенштейну так часто приходилось лично встречаться с бедными крестьянами из Центральной Европы, так много размышлять о них, неся ответственность за их будущее, что куда уж Толстому тягаться с ним. Вероятно, сильнее всего Витгенштейна задевало то, что крестьяне упорно не желали походить на нарисованный Толстым образ. В «Исповеди» Толстой рассказывает, как по возвращении из-за границы он обосновался в деревне и занялся устройством крестьянских школ, спасаясь от городской лжи. На долю же Витгенштейна выпало изведать крестьянскую ложь и грубость. Он понял, что бедняки, как и утверждал Форстер, на самом деле «стоят ниже большинства богатых людей... они не столь учтивы, не столь здоровы, не столь умны, не столь привлекательны, как простые богачи». На фоне многочисленных догадок о пребывании Витгенштейна в деревне ясно одно: призвав на помощь огромную силу во-

ли, прославившую его род, он отказывался верить тому, что видел воочию и о чем некогда говорил его отец. Как ни быстро разочаровался Витгенштейн в сельчанах, как ни сурово осуждал он их, он, однако, вложил невероятную энергию и фантазию в безнадежное, длившееся целых шесть лет предприятие — «вытащить крестьянство из грязи», если воспользоваться его собственным выражением. Он часто повторял эту фразу, разъясняя друзьям и коллегам свои намерения и взгляды на образование.

Недюжинные усилия Витгенштейна изменить крестьянство — хотя бы несколько тысяч сельчан из трех деревень, в которых он жил, — не увенчались успехом. Те, кому он пытался помочь, не только отвергли помощь, но и выдворили его из деревни. Впрочем, старания Витгенштейна, возможно, и не пропали даром, о чем ему не суждено было узнать: ведь он имел большое влияние на крестьянских детей, своих учеников, а они — на него. Ничуть не противореча Форстеру, мы вправе также сказать, что бедные *дети* во многих отношениях иногда превосходят большинство богатых *взрослых*: они умнее, здоровее, милее и по-своему учтивее богатых взрослых — богатых *взрослых*, но не богатых детей. За свою жизнь Витгенштейн обучал людей двух типов: взрослых из привилегированных слоев, студентов и коллег по Кембриджскому университету и детей бедных австрийских крестьян. Судя по его поздней философии, дети дали ему не меньше, если не больше, чем взрослые.

В Траттенбахе Витгенштейн непосредственно общался лишь с маленькой группой детей (около трех дюжин). Это мизерная доля от общей численности обитателей деревни, где в 1920 году проживало человек восемьсот. Население Траттенбаха — в отличие от населения многих других австрийских горных деревень, равно как и соседнего сельскохозяйственного Оттерталя, — было неоднородным по своему составу. Около 200 жителей трудилось на фабрике по переработке шерсти. Остальные, за исключением нескольких деревенских торговцев — бакалейщиков и сапожников, — занимались сельским хозяйством.

Статистик в придачу к данным о размерах деревни и занятости населения указал бы и на ее бедственное положение. После войны фабрика и крестьянские хозяйства

влачили жалкое существование. Жизнь впроголодь подкосила и привела в отчаяние траттенбахцев, и в демократии они видели возможность отделиться. К тому времени в деревне уже зародились классовые противоречия между рабочими и крестьянами, а также между их детьми, что объяснялось не только чисто экономическими причинами: крестьяне обладали определенным социальным статусом, хотя и жили беднее рабочих. Траттенбах был административно объединен с двумя соседними населенными пунктами — Кранихбергом и Оттерталем, но в 1923 году траттенбахцы, взвалив все вину за свои беды на окружавшую их крошечную гористую область, сумели выйти из состава прежней административно-хозяйственной единицы. В итоге после пятилетней тяжбы Траттенбах, самое бедное из трех селений, наконец отделился, но богаче от этого он так и не стал.

Помимо коренных жителей в Траттенбахе проживала горстка пришлых людей, образовавших влиятельную элиту: священник в качестве представителя церковной власти и учителя сельских школ в качестве представителей государства. Обосновался в деревне и некий господин Маутнер — выразитель чужих экономических интересов на фабрике. Известно, что он был владельцем или совладельцем фабрики, евреем, имел в том районе земельную собственность, держал прислугу и что Людвиг Витгенштейн наотрез отказался посетить его, несмотря на неоднократные приглашения. В нашем повествовании не нашлось места для Маутнера, но деревенскому священнику, школьным учителям и их окружному начальству отведена важная роль.

Из начальства главной фигурой являлся Вильгельм Кундт. Он не был коренным траттенбахцем, но в качестве окружного управляющего школами принимал деятельное участие в преобразовании школьной жизни Нойнкирхена, крупного сельского школьного округа Нижней Австрии, объединявшего все три начальные школы, где с 1920 по 1926 год преподавал Витгенштейн. Установлено, что в округе Нойнкирхен — в отличие от многих других сельских округов — реформы Глёкеля стали проводиться сразу после установления первой Австрийской Республики. В 1919 году, за год до приезда Витгенштейна, в Нойнкирхен прибыл Кундт, воодушевленный лозунгами

школьной реформы. Там он проработал в качестве управляющего до 1933 года; затем, в самый разгар начавшейся в Австрии перекройки учебных программ, его перевели в Мёдлинг, близ Вены; а через несколько месяцев его прежнее место занял противник школьной реформы. Кундт очень преуспел в осуществлении программы Глёкеля в своем кругу. В 1929 году, когда в селах Австрии громко зазвучали голоса протеста против реформаторского движения, выездные следственные комиссии (из таких мест, как Каринтия) слали вызывавшие недоумение отчеты об успехах Кундта в преобразовании подведомственных ему школ в соответствии с принципами Глёкеля[1]. Мы не знаем, способствовал ли Кундт определению Витгенштейна в Нойнкирхен, однако в течение шести лет он всячески поддерживал его, убеждал не уезжать из округа и старался уладить его отношения с местными жителями.

Два школьных учителя — Георг Бергер и Мартин Шерляйтнер — получили назначение в Траттенбах еще в 1918 году и прибыли туда раньше Кундта и Витгенштейна. Оба учителя не прошли формального обучения принципам школьной реформы, однако энергичный и толковый Шерляйтнер быстро подхватил новые идеи и решительно поддержал некоторые из них. Для напыщенного глупца Бергера реформа, по-видимому, значила очень мало, если вообще что-нибудь значила. О трех других учителях, приехавших уже при Витгенштейне и недолго остававшихся в деревне, не стоит и упоминать. В этот период даже Шерляйтнер не сидел безотлучно в Траттенбахе. Он курсировал между различными школами округа, а траттенбахской школой в действительности руководили Витгенштейн и Бергер, своевременно ставший ее директором.

Витгенштейн быстро поладил с Кундтом и Шерляйтнером, а в письме к Расселу жаловался как раз на Бергера и другого учителя, проработавшего в Траттенбахе один семестр.

---

[1]Willibald Schneider. 100 Jahre Reichsvolksschulgesetz und Schulaufsicht in Schulbezirk Neunkirchen. — In: *Erziehung und Unterricht*. Vienna, May, S.329 — 338.

Единственным настоящим другом Витгенштейна как в Траттенбахе, так и в Оттертале был Алоиз Ноерурер. Он приехал в Траттенбах в 1917 году. Этот «длинноволосый социалист» до мозга костей, этот дерзкий и романтичный, под стать самому Витгенштейну, новатор-бунтарь заботился не столько о традиционных церковных обрядах, сколько о религиозном и нравственном пробуждении своей паствы. Когда один из жителей деревни отказался от соборования, Ноерурер не скрывал восхищения. Он часто служил мессу не на латыни, а на немецком языке и стоял лицом к молящимся, хотя Римская католическая церковь повсеместно ввела такую литургическую практику только после Второго Ватиканского собора. Когда его действия вызвали нарекания, Ноерурер объявил прихожанам, что все то, что дозволено папе, дозволено и ему. Бывало, с кафедры Ноерурер немилосердно ругал деревенских жителей. И когда Арвид Сёгрен наведывался к Витгенштейну (что он делал регулярно), оба друга, не будучи католиками, с превеликой радостью отправлялись в церковь, чтобы послушать, как Ноерурер бранит траттенбахцев. Но в 1936 году Ноерурера все же выдворили из Траттенбаха.

В начале 20-х годов Ноерурер и Витгенштейн решили совместными усилиями «переделать» взрослое население Траттенбаха. Близкие по духу, они существенно отличались и как бы дополняли друг друга. Витгенштейн вне семейного круга редко держался непринужденно в обществе взрослых, даже тех, кого он хорошо знал. Армейские приятели Витгенштейна вспоминают о нем как о «хорошем товарище», однако и они приметили его «застенчивость». В Траттенбахе Витгенштейн, встречаясь со взрослыми жителями, тушевался и напускал на себя неприступность, казавшуюся верхом неучтивости. Нежность и привязанность он питал лишь к крестьянским детям, своим ученикам. Не таков был Ноерурер. Неудачливый в обращении с детьми, он умел не только глубоко вникнуть в нужды взрослых сельчан, но и призвать их в случае необходимости к строгому порядку. Итак, в вопросах образования и даже веры Ноерурер считался с мнением Витгенштейна, а Витгенштейн, если ему приходилось иметь дело — пусть самое пустяковое — с местными жителями, прибегал к посредничеству Ноерурера.

Например, при содействии Ноерурера и Бергера осуществилось одно из знаменитых деяний, или, как полагали сельчане, «чудес», Витгенштейна. Я имею в виду нашумевшую историю о том, как на фабрике остановилась паровая машина. Приглашенные из Вены инженеры не смогли починить машину. Они посоветовали разобрать ее и отправить на ремонт в столицу, чем повергли в уныние директора и рабочих: ведь это означало временное закрытие фабрики. Тогда Витгенштейн попросил Бергера добыть для него от фабричного мастера разрешение на осмотр машины. Мастер неохотно согласился, и Витгенштейн в сопровождении Бергера появился на фабрике. Он обследовал машину со всех сторон и велел позвать на подмогу четырех рабочих. Следуя указаниям Витгенштейна, рабочие принялись ритмично постукивать по машине, и, к удивлению присутствующих, она заработала. Витгенштейн отказался было от предлагаемого вознаграждения, но потом, уступив настоятельным просьбам, согласился на то, чтобы фабрика обеспечила деревенских детей шерстяной одеждой, а Ноерурер распределил бы ее между ними. Этот эпизод свидетельствует как об обширных познаниях Витгенштейна, внушавших одновременно страх и уважение, так и о его болезненной боязни получить отказ. Он не осмелился лично поговорить с фабричным мастером и вынужден был просить Бергера о посредничестве. Ему не хватило решимости самому распределить подарки между детьми, ибо сельчане уже не раз отвергали его помощь. В этом и других случаях благотворительностью от имени Витгенштейна занимался Ноерурер.

VI

Однажды на вопрос одного сельчанина о его религиозных убеждениях Витгенштейн ответил, что он — «евангелист, хотя и не христианин». Поясняя свою мысль, он подчеркнул, что не является протестантом, чем совершенно сбил с толку бедного крестьянина. Сейчас уже нельзя точно установить, что же хотел сказать Витгенштейн на самом деле. Видимо, он старался внушить, что он вовсе не обязан неукоснительно следовать христианскому канону, хотя по роду своей деятельности

имеет некоторое отношение к спасению душ и проповеди послания.

У Витгенштейна было собственное послание, которое он вознамерился донести до сельчан всем своим образом жизни. Он, казалось, рассчитывал своим поведением потрясти людей, убедить их в возможности жить по-другому, выбить из их голов предрассудки, смутить их до такой степени, чтобы до них самих и до их детей дошло наконец-то, что он был призван если не сказать, то хотя бы показать им.

Конечно же, само присутствие столь родовитого человека в каком-то захолустном Траттенбахе — уже явная нелепость. Витгенштейн осознавал это и вначале даже забавлялся своим положением. В письме к Расселу он заметил, что, вероятно, впервые школьный учитель из Траттенбаха ведет переписку с профессором философии из Пекина. Витгенштейн, наверное, мог бы, если бы захотел, приехать в Траттенбах инкогнито: его семья пользовалась в Вене достаточным влиянием для того, чтобы устроить это. Но Витгенштейн повел себя иначе: он изо всех сил старался, чтобы сельчане узнали, кто он таков или по крайней мере о богатстве и влиятельности его семьи, о его образованности, аристократическом происхождении и академической карьере в Англии. Коллегам по школе и некоторым сельчанам он рассказал о «Трактате», тогда еще не опубликованном. Заговорив в первый раз о своем сочинении, Витгенштейн назвал его «Der Satz» («Предложение») и добавил, что сельчане «не поймут» в нем «ни слова». Однажды вскоре после приезда Витгенштейна в Траттенбах к нему наведался Хэнзел (Хэнзел и еще два друга — скульптор Дробил и фотограф Нер — регулярно раз в два месяца приезжали в гости к Витгенштейну, пока тот жил в глубинке). Сидя за обедом в гостинице, Хэнзел и Витгенштейн обсуждали свое житье-бытье в Вене нарочито громко дабы их могли услышать находившиеся поблизости и жадно ловившие каждое слово сельчане. В деревне до сих пор вспоминают мимоходом оброненное Витгенштейном замечание: «Ich hatte einst einen Diener, der hiess Konstantin» («У меня был когда-то слуга по имени Константин»). Позже Витгенштейн вместе с Хэнзелом припер к стене в дирекции школы Георга Бергера и потребовал выложить все, что о нем пого-

варивают в деревне. Бергер, по его словам, неохотно ответил, опасаясь гнева Витгенштейна: «Вас принимают за богатого магната». Витгенштейн остался доволен ответом, однако не преминул заметить Бергеру, что он и вправду был богачом, но отдал все свое состояние братьям и сестрам, «желая совершить хороший поступок».

Раскрыв свое происхождение, Витгенштейн стал выказывать презрение или по крайней мере пренебрежение к тем вещам, которые, по мнению сельчан, можно приобрести за деньги. Он жил в нарочитой бедности. Местные жители и так уже кипели от возмущения при виде длинных волос и лохмотьев отца Ноерурера, но тот все же имел собственный дом и держал экономку (свою сестру), тогда как Витгенштейн поселился в крошечной и убогой комнатушке. По приезде в Траттенбах он остановился было в гостинице «Zu braunen Hirschen», но однажды в пятницу вечером доносившееся снизу громкое пение подвыпивших крестьян привело его в бешенство, и он попросил ночлега у Бергеров. Выехав из гостиницы, Витгенштейн спал одно время на школьной кухне. Чуть позже он перебрался в маленькую мансарду над бакалейной лавкой. В Пухберге и Оттертале он ютился в еще более убогих комнатах.

Витгенштейн отверг традиционное облачение школьного учителя — шляпу, костюм, галстук и воротничок, — предпочитая очень незатейливый наряд. Он носил простую чистую рубашку с открытым воротом, серые брюки, в теплую погоду туфли, зимой ботинки. В холода он надевал кожаную куртку. В Траттенбахе Витгенштейн постоянно ходил без шляпы и почти никогда не расставался со своей бамбуковой тростью. И часто можно было видеть, как он, держа под мышкой блокнот или старый портфель, прогуливается в полнейшем одиночестве.

Но ни одежда, ни жилище Витгенштейна не поражали столь сильно голодных сельчан, как его питание. Каждый день он обедал в семье Трахт, одной из беднейших в округе. С Трахтами, простыми и чрезвычайно набожными крестьянами, его познакомил Ноерурер. Из всех жителей деревни только к ним Витгенштейн чувствовал некоторое расположение. Чтобы пообедать, он проделывал ежедневно получасовой путь, поднимаясь в гору к их скромному жилищу, находившемуся в северной части де-

ревни. Общение с Трахтами едва ли могло перерасти в дружбу, но Витгенштейн все же привязался к ним: говорят, что особенно его потрясла их набожность. После отъезда из Нойнкирхена в 1926 году Витгенштейн продолжал поддерживать связь с Трахтами. Он посылал им из Англии открытки, а также два раза в 30-х годах (последний раз в 1933 году) тайком приезжал вместе с Ноерурером в Траттенбах навестить серьезно захворавшую старушку Трахт.

Действительно Витгенштейн сильно привязался к этому семейству, но вообразите только, каким скудным должен был быть подаваемый ему обед, ибо прочие жители деревни, сами питавшиеся не ахти как, презирали Трахтов за их бедность. Не отличалась особым разнообразием и вечерняя трапеза Витгенштейна. На ужин он обычно приготавливал в своей комнате овсяную кашу и какао. Молоко от Трахтов иногда приносил он сам, иногда один из его учеников. Время от времени лучшие ученики ужинали вместе с ним, после чего каждый рассказывал дома леденящую душу историю. Какао, овсянку и прочие продукты Витгенштейн варил, как правило, в скороварке. Котелок он никогда не мыл, и остатки пищи постепенно спекались на дне и затвердевали. Образующаяся корка нарастала все больше и больше, уменьшая вместительность котелка. Наконец объем кастрюли настолько уменьшился, что за один раз в ней удавалось сварить только одну порцию какао.

VII

Жителей Траттенбаха раздражало презрение Витгенштейна к материальным ценностям. Однако они все же как-то мирились с этим: в конце концов, и они были наслышаны об эксцентричных миллионерах и монахах-отшельниках. Даже Ноерурера они терпели до 1936 года. Но общение Витгенштейна с их детьми уже по-настоящему тревожило их, пугало и вызвало ревность. «Когнитивный диссонанс», или несоответствие между образом и реальностью, достиг здесь предела. Сельчане, без умолку сплетничая о Витгенштейне, создали в своих головах образ учителя-палача, постоянно и безжалостно истязающе-

го их детей. Но они оказались бессильны перед лицом неумолимой реальности: после занятий их дети охотнее проводили остаток дня с этим «монстром», нежели в семейном кругу. Тогда жители решили обратиться в суд, безуспешно пытаясь доказать, что Витгенштейн зверски избивает их детей.

Один Ноерурер, казалось, не поддавался общей панике, страху и ревности, возбуждаемой Витгенштейном. Коллега Витгенштейна Георг Бергер, младший по чину и очень непопулярный учитель, был тоже напуган его успехом у детей — причем напуган так сильно, что снизошел до этих деревенских дикарей, пытаясь спасти свою шкуру: в их обществе он проводил почти все свое свободное время, сплетничал и разжигал злобу против Витгенштейна. Он даже пошел на то, чего никогда не следовало бы делать ни одному школьному учителю в Австрии: не где-нибудь, а именно в Траттенбахе он начал пробивать себе дорогу в привилегированные круги, заискивая перед детьми зажиточных крестьян и пренебрегая детьми фабричных рабочих. После отъезда Витгенштейна из деревни Бергер изменил все заведенные им порядки, а в последующие годы, все еще памятуя о размолвке с ним, постарался вытравить из анналов траттенбахской школы само имя Витгенштейна. Так, в 1934 году была опубликована объемистая Хроника Траттенбаха, но из списка преподававших там учителей — во всех других отношениях аккуратно составленного — как-то подозрительно выпало имя Витгенштейна[1]. Бергер только тогда стал по-дружески вспоминать о своем бывшем коллеге, когда узнал о его посмертной славе.

VIII

Чтобы понять всю силу неприязни жителей Траттенбаха и Оттерталя к Витгенштейну, имеет смысл описать, как он обращался с учениками. Обычно Витгенштейн сторонился взрослых сельчан, но иногда вторгался в их

---

[1]Franz Scheibenreif. *Orts — und Hauschronik von Trattenbach* (Gemeindeamt Trattenbach: Im Selbstverlag und Kommissions Verlag; Druck: K.Mühlberger, Neunkirchen, 1934).

жизнь: например, когда чинил паровую машину, прописывал лекарство от болезни, показывал крестьянину или крестьянке, как починить сломавшееся устройство, посылал через Ноерурера пару ботинок бедной крестьянской семье. Но с детьми он становился совершенно другим человеком.

Витгенштейн дарил ученикам всякие мелкие вещицы, приобрести которые по карману любому мало-мальски обеспеченному учителю, на свои деньги или деньги своей сестры Мининг покупал различные сласти (фрукты и изредка шоколад), выписывал, но не часто получал школьное оборудование.

Витгенштейн устраивал для своих учеников экскурсии в Вену и Глоггвиц, где находился печатный станок. Все расходы брали на себя Мининг и ее брат; впрочем, оплатить поездку мог любой хоть немного состоятельный учитель. Однако Бергер, частенько бравший у Витгенштейна деньги взаймы и возвращавший долг, когда падала стоимость денег в результате инфляции, не имел средств на организацию загородных прогулок. Но в те далекие времена такие поездки были распространенным явлением в Австрии, особенно в крупных и средних городах, где затраты на транспорт невелики и предусматривались программой школьных реформ.

Несомненно, Витгенштейн и без всяких программ возил бы детей на экскурсии. И все же некоторые из его знаменитых и казавшихся оригинальными мероприятий полностью согласуются с указаниями программы реформ. В отчетах, которые полагалось регулярно направлять Кундту, Витгенштейн ссылался на программные принципы при описании своих замыслов и школьной работы.

Он увязывал свои идеи с важнейшими принципами школьной реформы, и прежде всего с принципом «самодеятельности» («Selbsttätigkeit») и «комплексного обучения». Рассказы о составлении Витгенштейном Словаря и поездках с детьми в Вену дают нам некоторое представление о том, как он на деле применял эти принципы.

В соответствии с принципом «самодеятельности» учитель должен был развивать у подростков навыки к самостоятельному мышлению, а не вдалбливать в их головы необходимый материал, как то практиковалось в

дореформенных школах-«казармах». Существовавшая до 1919 года методика обучения требовала, чтобы правила грамматики и орфографии сначала записывались на доске под диктовку, а потом заучивались наизусть. После реформы муштра сменилась стремлением побудить детей самостоятельно выводить грамматические и орфографические правила. Первое время ученики писали сочинения как бог на душу положит и, только овладев письменной речью, знакомились с грамматикой. Для усвоения правильного написания и грамматики ученики составляли списки слов. Созданный самим Витгенштейном и изданный в 1926 году в качестве официально одобренного учебного пособия «Wörterbuch für Volksschulen» как раз и предназначался для активного обучения грамматике и орфографии. Витгенштейн вместе со своими учениками начал работать над ним еще в 1921 году. Каждый учащийся подготавливал дома собственный словарик из слов, употребляемых им в сочинениях, и переплетал его. Затем Витгенштейн составил сводный список слов: на уроках школьники пользовались им как «словарем». Если в дальнейшем при написании сочинений у детей возникали сомнения по поводу правильного написания или употребления слова, они могли проверить себя по этому словарю, в составление которого и они внесли свою лепту.

Объясняя причины, побудившие его издать собственный Словарь, Витгенштейн приводил примеры из существовавших тогда словарей и постранично доказывал их непригодность для обучения грамматике и орфографии. То и дело встречавшиеся в них иностранные слова не только были неведомы детям, но и превращали словарь в неудобочитаемую книгу. А примеры словоупотребления были слишком литературными и сложными для понимания обыкновенных подростков. В отличие от традиционных словарей Словарь Витгенштейна целиком составлен из слов, используемых его учениками в сочинениях, и включает как диалектные слова, так и слова из литературного немецкого языка. Витгенштейн намеренно отступил от традиции и прибегнул к диалекту, поскольку люди, говорящие на немецком диалекте, часто путают, например, детальные и аккузативные конструкции... Поэтому Витгенштейн приводит самые простые примеры, где

различие между двумя падежами очевидно даже в диалекте. Особенно наглядно объяснение им дательного и винительного падежей для местоимения 3 лица:

Форма дательного падежа «ihm» («ему») вводится так: «В диалекте — «eam», например: «I hob eam g'sogt». (В литературном немецком языке: «Ich habe ihm gesagt» («Я сказал ему»).)

Форма винительного падежа «ihn» («его») вводится следующим образом: «В диалекте — «n» или «m», например: «J hobm g'sehn». (В литературном немецком языке: «Ich habe ihn gesehen» («Я увидел его»).)

Форма дательного падежа множественного числа «ihnen» («им») водится аналогичным образом: «В диалекте — «ihnen», например: «I hob's eana g'sogt». (В литературном немецком языке: «Ich habe es ihnen gesagt» («Я сказал им об этом»).)

Такой способ подачи материала прост, ясен и оригинален. Вместо того чтобы ополчиться против употребления диалектных слов, Витгенштейн использует их для обучения грамматике!

Так же последовательно, на диалектных примерах Витгенштейн объясняет и другие различия, скажем, между определенным артиклем «das» («the») и союзом «dass» («что»).

Витгенштейн утверждал, что в данном случае, как и в математике, ребенок должен освоить логику вещей на *интересных*, хотя, возможно, и трудных, необычных примерах; что не имеет смысла забивать голову школьника стандартными, легко запоминающимися примерами до тех пор, пока он не поймет и не овладеет их скрытой логикой. Вопреки мнению многих учителей, Витгенштейн считал, что надо продвигаться от необычного к обычному, а не наоборот. Когда Роберт Доттренс из Института Жана Жака Руссо в Женеве написал о программе школьных реформ: «Как обучение родному языку и письму, так и преподавание математики совершенно изменилось... *Значение действий раскрывается одновременно с овладением их техникой* (с.58, курсив автора), он ухватил самую суть замечания Витгенштейна («Zettel», § 412)

о том, что он «устанавливает связь между понятием обучения и понятием значения».

При составлении своего Словаря Витгенштейн помимо принципа «самодеятельности» руководствовался также и принципом «комплексного обучения». Этот лозунг программы ставил перед учителями две взаимосвязанные задачи: 1) приспособить учебный процесс к местной среде и обычаям учащихся; 2) в соответствии с полученными полномочиями определять распорядок дневных занятий и таким образом подбирать сочетание, или комплекс, различных предметов, чтобы, например, уделять время и орфографии, и устному чтению. Итак, намечались только главные цели, и провозглашалась зависимость распорядка дня от интересов учащихся. В этой идее, как и в идее «самодеятельности», довольно явственно проступает критика распространенных в довоенной психологии обучения ассоционистских взглядов, согласно которым все может и должно подразделяться на «unit ideas»[1], что на практике означало строгое разграничение различных дисциплин в процессе преподавания. Иное дело — создание «Wörterbuch» Витгенштейна: самодеятельность учеников, составлявших словарики и убеждавшихся в двусмысленности своей речи, была неразрывно связана — посредством введения диалектных слов — с учетом местных особенностей.

Рассказы о том, как Витгенштейн сочетал в своей работе различные программные принципы, многочисленны. В заключение уместно привести еще один пример — экскурсии в Вену. Дети обычно проводили в Вене две ночи, ночуя у Мининг, в ее школе в Гринцинге. Комбинирование принципов начиналось только на обратном пути в Траттенбах. Пробираясь через лес, чтобы успеть на идущий из Глоггница поезд, дети собирали известные им по школьным занятиям камни и растения. На улицах Вены Витгенштейн обрушивал на учеников лавину сведений и вопросов, показывая им архитектурные стили, машины и массу других вещей. В Музее техники дети, опираясь на ранее полученные знания, объясняли устройство различных приспособлений: паровой машины, шкивов и т.д. В Траттенбахе Витгенштейн рассказал ученикам о законах

[1]Что можно перевести как «идейные комплексы». — *Прим.пер.*

рычага, а на экскурсии учил применять их в необычных ситуациях. Очутившись около собора Св.Стефана, они рассматривали зарисованные некогда на уроках рельефы и архитектурные стили — готику, барокко. Во время прогулок по городу или посещения Дворца Шёнбрунн Витгенштейн указывал на колонны и просил детей определить, к какому ордену — ионическому, дорическому или коринфскому — они относятся. Лишь к концу экскурсии стихал «артобстрел» вопросами. Обратный поезд прибывал в Глоггниц ночью, и Витгенштейну вместе с детьми приходилось 20 миль идти по темному лесу. Почувствовав, что кто-то из детей боится, Витгенштейн по очереди подходил к каждому ученику и спрашивал: «Тебе страшно? Ну, тогда думай только о Боге». Этот «евангелист»-«нехристианин», начинавший и заканчивавший учебный день молитвой «Отче наш», нападал на религию сельчан не больше, чем на их диалект.

IX

Реформа начальной школы за ее упор на деятельностном аспекте в ущерб содержанию часто становилась в Австрии объектом критики со стороны представителей высшей школы и гимназий. Тем не менее в преподавании математики Витгенштейн достиг ошеломляющих успехов. У 10—11-летних подростков он вел продвинутый курс алгебры и геометрии. Около трети его учеников освоили математическую теорию и научились решать задачи, которые проходят в гимназиях. Он также преподавал историю в гораздо большем объеме, чем то предусматривалось программой начальной школы. А на уроках литературы дети читали не только народные сказки, но и стихотворения, обычно изучаемые в учебных заведениях типа американской средней школы или в младших классах средней школы.

Кто-то, вероятно, подумает, что этот учитель, так сильно пекущийся о содержании и результатах обучения, замысливший вытащить крестьянских детей «из грязи», хотел отвадить их от деревенской жизни. Витгенштейн действительно время от времени пытался — однако безуспешно — склонить некоторых учеников к продолже-

нию учебы, но он не призывал их покинуть деревню. Он стремился пробудить в них духовное начало, развить способность к самостоятельному мышлению и, самое главное, воспитать в них честность. Он не отваживал крестьян от родных мест и насущных проблем, а старался изменить их образ жизни, разжечь в них желание видеть своих детей образованными.

Остановимся на вопросе о том, какое участие принимал Витгенштейн в судьбе трех своих лучших учеников — Эммериха Кодерхольда, Карла Грубера и Оскара Фухса. Это даст нам некоторое представление о его намерениях, гибкости в обращении с учениками и их семьями, а также поможет раскрыть причины неприязни к нему со стороны их родителей.

Эммерих Кодерхольд — преуспевающий сын преуспевающего крестьянина. В течение 14 лет после второй мировой войны он был мэром Траттенбаха. Этот толковый, добродушный малый до сих пор помнит наизусть и часами может распевать разученные еще на уроках Витгенштейна студенческие и прочие песни — многие из них даже на латыни. Он может и продекламировать стихи Мерике, Келлера, Шиллера, рекомендованные некогда Витгенштейном. Учитель сразу разглядел способности Кодерхольда и, когда мальчик заканчивал школу (тогда шел второй год пребывания Витгенштейна в Траттенбахе), пригласил его отца для разговора. Витгенштейн сказал, что его сын должен продолжать образование и что он сам готов помочь ему устроиться в Вене. Отец Кодерхольда, ни о чем таком и не помышлявший, вежливо объяснил учителю, что ему нужен наследник, которому он доверил бы свое хозяйство. «Разумеется, — ответил Витгенштейн, — но, получив образование, ваш сын и навозто будет ловчее таскать». Наконец Витгенштейну удалось уговорить отца Кодерхольда, и тот разрешил сыну посещать гимназию в Вене. Но дальше этого дело так и не продвинулось. Кодерхольд, временно поселившийся у пожилой женщины, был, по-видимому, очень одинок и питался крайне скудно. Через несколько дней он вернулся домой, составив — к великому облегчению своего отца — не слишком лестное мнение о студенческой жизни в Вене, и в итоге занялся хозяйством. И все же Кодерхольд — не простой крестьянин, не «помеха прогрессу»,

как говаривал Карл Витгенштейн. Он — образованный крестьянин, хотя и не окончил гимназию. Он в равной степени владеет и диалектным, и литературным немецким языком, с живейшим интересом следит за событиями в мире, в Австрии и Траттенбахе.

По-своему интересен Карл Грубер, самый способный и любимый ученик Витгенштейна. Он происходил из бедной семьи, где было шестеро детей. Некоторые из них посещали занятия Витгенштейна. Замкнутостью, самопогруженностью Карл напоминал своего учителя и быстро полюбился ему. Витгенштейн позволил Карлу помогать менее способным детям делать домашние задания, чтобы немного заработать себе и своим братьям и сестрам на пропитание. Будучи на год старше остальных учеников, Карл и после окончания школы в 1921 году продолжал заниматься с Витгенштейном частным образом. Ежедневно с 4 до 7 часов вечера Витгенштейн преподавал ему продвинутый курс латыни, греческого и математики. Ужинали они обычно вдвоем в комнате учителя над бакалейной лавкой. Витгенштейну явно нравилось общество этого подростка, и за весь год занятия прерывались только на время визитов (раз в два месяца) в Траттенбах Людвига Хэнзела. Но даже и тогда о мальчике не забывали. Хэнзел, ставший преподавателем Венской гимназии, устраивал Карлу предварительные экзамены по истории, географии, латыни и другим необходимым для поступления в гимназию предметам.

Наконец, чтобы дать Карлу подобающее образование в столице, образование, за которое его родители — в отличие от родителей Кодерхольда — никогда бы не смогли заплатить, Витгенштейн решил усыновить мальчика. Карл согласился, и Витгенштейн обратился к его родителям с предложением оплатить все расходы и следить за учебой Карла. Фрау Грубер была готова принять предложение, но отец семейства грубо ответил Витгенштейну, что о дальнейшем обучении Карла нечего и заикаться, что учитель и так уже слишком много сделал для его сына и что в таком возрасте юноше следовало бы самому зарабатывать на жизнь. Когда Витгенштейн ушел, старший Грубер заявил, что он едва ли доверит своего сына этому «сумасшедшему» («ein verrückter Kerl»).

Итак, Карл Грубер поступил на работу, а с переездом Витгенштейна в Пухберг прекратились и их занятия. Однако Карл — не в пример большинству своих школьных товарищей, оставшихся в Траттенбахе или других селах Нойнкирхена, — все же покинул родню и перебрался в Вену. Подыскав себе работу, он попытался связаться с Витгенштейном, но узнал, что тот уехал в Кембридж. Карл подумывал написать ему, но потом отказался от этой затеи. В положенный срок он женился и устроился работать почтовым чиновником. Не имея при себе рекомендательных писем, Карл так и не сумел занять подобающего ему по его способностям места, однако он обеспечил своей семье довольно приличные условия жизни в городе. Теперь он с грустью предается размышлениям о том, что и он мог бы стать профессором философии в университете, если бы Витгенштейну удалось усыновить его. Думается, такой поворот событий расстроил бы Витгенштейна, убеждавшего даже своих самых талантливых студентов не заниматься профессионально философией.

И все же общение с Витгенштейном наложило на Грубера особый отпечаток. Он очень выделяется среди деревенских учеников Витгенштейна. Даже Кодерхольд говорит о Грубере с благоговением, а когда Карл наведывается в Траттенбах, старые школьные друзья и знакомые приветствуют его с оттенком скрытого уважения. Сам Грубер не забывает своего учителя и как бесценные сокровища хранит в своей памяти воспоминания о школьной поре, о часах, проведенных вместе с Витгенштейном. Он один из всех прежних учеников Витгенштейна знал о его профессиональной карьере.

Оскар Фухс, третий ученик, судьба которого волновала Витгенштейна, умер за несколько лет до того, как я начал свое исследование. Сведения о Фухсе и его отношениях с Витгенштейном мы можем почерпнуть главным образом из двух источников: из краткого, но впечатляющего отчета о деятельности Витгенштейна в Нойнкирхене, подготовленного в 1964 году фрау Луизой Хаусман, преподавательницей английского языка в высшей школе в Кирхберге-на-Висле, и из замечательного письма Витгенштейна к Фухсу (надо надеяться, что его опубликуют когда-нибудь душеприказчики Витгенштейна). Как один из самых блестящих учеников, Фухс также получал от-

дельные указания от Витгенштейна, но учитель, по-видимому, не побуждал его продолжать учебу. Как рассказывал сам Фухс фрау Хаусман, Витгенштейн остался доволен, когда Фухс объявил ему, что собирается стать, подобно своему отцу, сапожником. «Человеку нужно заниматься чем-нибудь заурядным, — ответил Витгенштейн, — чтобы найти хоть какую-то отдушину». Сейчас трудно определить, почему Витгенштейн иначе отнесся к судьбе Фухса. Возможно, он был не столь способным, как остальные. Фухс происходил из более благополучной семьи, и не исключено, что Витгенштейн, глубоко задетый отказом Груберов принять его официальное предложение, не желал снова получать отказ. Семейство Фухс уже один раз отказало Витгенштейну. Это случилось на Рождество, когда учитель захотел взять с собой в Вену Оскара, чтобы вдвоем посмотреть спектакль в Burgtheater. Однако мать Фухса воспротивилась самой мысли о поездке ее сына со «странным субъектом», и Витгенштейну в уклончивой форме было отказано. А может быть, Витгенштейн догадывался, что в случае успеха любая попытка с его стороны поддержать Фухса окажется тяжелым ударом для Карла Грубера, который искренне стремился уехать из дома и учиться в Вене.

Однако Витгенштейн и Фухс не теряли друг друга из виду после отъезда учителя в Пухберг. В течение полутора лет они переписывались: Витгенштейн присылал Фухсу книги, а Фухс, изучавший в свободное время геологию, отправлял Витгенштейну образцы камней различных пород, найденные им в Траттенбахе

Эммерих Кодерхольд, Карл Грубер и Оскар Фухс составляли ядро узкого кружка школьников, остававшихся с Витгенштейном после занятий и по возможности вечерами. В эту небольшую группу входили главным образом лучшие ученики Витгенштейна и кое-кто из тех детей, «чьи мордашки нравились ему». Часто мальчики засиживались у учителя до восьми часов вечера. Они беседовали на различные темы: иногда продолжались дневные занятия, иногда начиналось знакомство с новыми предметами. Витгенштейн водил учеников в лес собирать коллекции камней и растений, названия которых тщательно записывались. С наступлением темноты он обучал детей азам астрономии и рассказывал им о созвездиях. Но

именно столь поздним занятиям и противились больше всего родители учеников.

В этих беглых зарисовках явственно проступает одна примечательная черта деревенской жизни: в селах дети — важная часть резерва рабочей силы. Большинство семей крайне нуждалось в помощи детей по дому, на гумне, в крестьянских хозяйствах. Так, отец Карла Грубера не довольствовался теми грошами, что зарабатывал его сын, помогая другим ученикам делать домашние задания; он хотел, чтобы Карл нашел себе настоящую работу. А Эммерих Кодерхольд и Оскар Фухс готовились пойти по стопам своих отцов. Между тем Витгенштейн активно вмешивался в хозяйственный уклад деревенской жизни. Создавая когорту лучших учеников, он крал у родителей время и любовь их детей.

Но несмотря на жалобы, Витгенштейн не отказывался от внеурочных занятий. В Пухберге и Оттертале, равно как и в Траттенбахе, он ни на шаг не отступал от своего метода работы с учениками. В процветающем Пухберге он не встретил особенно сильного противодействия. Но в Оттертале, где вечерний труд детей действительно был большим подспорьем в крестьянских хозяйствах, Витгенштейн в конце концов столкнулся с довольно стойкой, яростной и мстительной оппозицией.

X

Повод для окончательной расправы с Витгенштейном в Оттертале в 1926 году нечаянно обнаружился четырьмя годами раньше, в Траттенбахе. Тогда один из любимых учеников Витгенштейна, брат Карла Грубера Конрад, сыграл со своим учителем злую шутку, после чего по деревне поползли слухи о «применении им телесных наказаний». Однажды на уроке географии Витгенштейн влепил Конраду пощечину за плохой ответ. Конрад тайком расковырял нос карандашом; пошла кровь; дети заволновались. Конраду разрешили выйти из класса и остановить кровотечение. Однако он, по его собственному признанию сорок пять лет спустя, исхитрялся не останавливать кровотечение до конца урока. История о том, как Витгенштейн расквасил Конраду нос, быстро облетела

поселок. К тому времени шутник зашел слишком далеко и не осмелился рассказать правду. Но некоторые ученики проведали об истинных событиях и сами начали устраивать подобного рода розыгрыши. Так, например, провинившийся и поставленный в угол ученик стоял-стоял в углу минут пять, а потом симулировал обморок и падал на пол. Тогда-то и заговорили в Траттенбахе и Оттертале о царившей на уроках Витгенштейна палочной дисциплине, в результате которой дети падают в обмороки и истекают кровью.

Что же происходило на самом деле? Ныне здравствующие ученики Витгенштейна открыто признают, что он действительно бил розгами расшалившихся мальчишек и лупил их по щекам за малейшую провинность. Но, по словам тех же самых учеников, Витгенштейн брался за розги ничуть не чаще других учителей, однако в отличие от них наказывал не по собственной прихоти, а по справедливости и за известный проступок. Наказание никогда не заставало учеников врасплох. Хотя и сегодня многие педагоги, как некогда реформаторы школы в Австрии, выступают против любых телесных наказаний, они все же сознают, что никакая система поощрений и наказаний — телесных или каких-либо еще — не устраняет колебаний, ибо держит ребенка в тревожном состоянии неизвестности относительно последствий его действий. Но Витгенштейн не колебался: он был тверд, последователен и ясно давал понять ученикам, какие поступки наказуемы. Из всех проступков ложь однозначно подлежала наказанию, избежать которого можно было только благодаря чистосердечному признанию. Так, однажды на уроке Витгенштейн решил проверить, кто из детей сумеет назвать месяцы года. Несколько учеников подняли руки, и Витгенштейн стал их по очереди спрашивать. Оказалось, что только очень немногие могли перечислить названия месяцев. Повернувшись к Конраду Груберу, одному из тех, кто поднял руку, но не смог ответить, рассерженный Витгенштейн потребовал от него объяснений. Конрад сказал: «Я постыдился показать, что не знаю». Честное признание уберегло Конрада от наказания. Помилованы были и другие ученики, объяснившие причину своей лжи; но не сделавшие этого вкусили наказание в полной мере.

Витгенштейн находился в Траттенбахе уже второй год, когда во время масленицы произошел аналогичный случай. Крестьянин Трахт, как обычно, отправил Витгенштейну вместе с одним его учеником жареные пирожки. Но мальчик, уже стоя у порога комнаты Витгенштейна, съел два пирожка. На следующий день на уроке учитель спросил его: «Сколько пирожков ты вчера съел у меня?» Ученик, пораженный тем, что Витгенштейн узнал о его поступке, густо покраснел и пролепетал: «Я съел два пирожка». Тогда Витгенштейн похвалил его за правдивый ответ и вместо наказания объяснил ему, что Трахт всунул в пакет незамеченный им листок бумаги, на котором стояла цифра «13», чертова дюжина.

Невольно Конрад Грубер с его расковырянным до крови носом и другие «падавшие в обморок» дети все-таки дали повод к самой гнусной клевете. Человека, так сильно приворожившего траттенбахских и оттертальских детей, что они скорее предпочитали часами просиживать с ним после уроков, рискуя подвергнуться наказанию, нежели возвращаться домой, — такого неминуемо должны были обвинить, хотя бы формально, в зверском истязании учеников.

Скандал разразился в апреле 1926 года. К этому времени, по словам сельчан, против Витгенштейна уже составился настоящий заговор. Зачинщиком его или главой стал некий Пирибауер, якобы месяцами «сидевший в засаде» и поджидавший удобного случая «втравить Витгенштейна в историю». Наконец, когда Витгенштейн ударил по лицу ребенка — а кормилица последнего жила в доме Пирибауера, — удобный случай представился. Находившегося в обмороке ребенка перенесли в дирекцию школы. Сегодня бывшие ученики Витгенштейна, некогда симулировавшие обмороки, полагают, что тот мальчик тоже был симулянтом. Но теперь до истины уже не докопаться.

Как бы то ни было, но Пирибауер и его соседи начали в Оттертале судебное преследование Витгенштейна. При встрече с ними Витгенштейн спокойно сказал: «Меня не интересует, собираетесь ли вы выступить против меня или нет. Довольно и того, что вы сговорились между собой. Я к вашим услугам», после чего он немедленно покинул деревню с намерением никогда больше не пре-

подавать в начальной школе. Потом последовал судебный процесс в Глоггнице, прерванный на время принудительным психиатрическим обследованием Витгенштейна, чтобы установить его умственную полноценность. Витгенштейна оправдали, однако он и думать не желал о продолжении работы в школе. Он уже достаточно насмотрелся на благородных крепостных Толстого, и даже Кундт, предупреждавший Витгенштейна о враждебности жителей Оттерталя, по-видимому, счел нецелесообразной его дальнейшую преподавательскую деятельность в этом округе.

XI

Сам по себе, вне контекста, этот заключительный эпизод учительской карьеры Витгенштейна мог бы показаться случайным и даже малозначительным, если бы он произошел с кем-нибудь другим. Но на фоне тогдашней политики Австрии и программы школьных реформ он приобретает особую значимость.

Если жалобы на суровую дисциплину имели такие серьезные последствия, а именно вынудили Витгенштейна предстать перед судом, то за ними должно скрываться нечто большее, нежели просто дисциплинарный вопрос. Ибо, даже соглашаясь с не совсем заслуженной репутацией Витгенштейна как непреклонного поборника дисциплины, не следует забывать, что в те времена телесные наказания были распространенным явлением. Во владениях Габсбургов царила еще более суровая школьная дисциплина. Она сохранялась во многих местах и в 20 — 30 годы, — хотя и сделалась предметом дискуссий среди реформаторов школы. Итак, на первый взгляд кажется невероятным, чтобы коллеги Витгенштейна не защитили его от обвинений — пусть даже справедливых — со стороны родителей учеников.

Само собой напрашивается не столь простое объяснение случившегося. По-видимому, за жалобами на дисциплину кроются более глубокие причины недовольства. «Заговор» против Витгенштейна, о подробностях которого нам, пожалуй, уже никогда не узнать, возглавили сельчане типа Пирибауера, несколько окружных церков-

ников (но не Ноерурер) и кое-кто из коллег Витгенштейна. В заговоре переплелись личные счеты и политические интересы: он возник в самое «горячее» для Австрии время, весной 1926 года, когда по проведению школьной реформы был окончательно нанесен сокрушительный удар. Едва почуяв, что движение протеста против реформы приняло общенациональный размах, консервативное крестьянство не замедлило отослать в столицу опасного и во многом неугодного человека. Витгенштейна, несмотря на его аскетический образ жизни, все еще считали богатым; поговаривали, что он — социалист, не католик, сторонник прогрессивных методов обучения, автор позитивистского трактата. Местные жители каким-то образом разузнали, что он — гомосексуалист, а деревенские женщины называли его женоненавистником. Но труднее всего им было смириться с его необыкновенной популярностью у детей, благодаря которой он оторвал от семейного очага самых смышленых учеников.

Гонения на Витгенштейна в Оттертале — отнюдь не частный эпизод. Компромисс, заключенный между политическими партиями Австрии после волнений 1926 года, на практике означал следующее: там, где, как и в Вене, социал-демократам удалось остаться влиятельной силой, осуществление программы Глёкеля шло своим чередом. Однако в большей части сельских районов ситуацию взяла под строгий контроль Христианско-социальная партия. Потеряв министерский портфель, Глёкель стал администратором Венского школьного совета. Эту должность он занимал до 1934 года, когда диктатура Дольфуса положила конец движению за школьную реформу, арестовала его лидеров, включая и Глёкеля, и запретила издание его основных печатных органов «Die Quelle» и «Schulreform» (Витгенштейн одно время выписывал эти журналы). С введением цензуры журналы поместили в Национальную библиотеку, сделав их недоступными для простого читателя. В реформе системы образования увидели угрозу.

Даже друг Витгенштейна Хэнзел, некогда ярый сторонник программы реформ, позже по политическим, социальным и религиозным мотивам резко выступил против нее. В итоге он опубликовал трактат, полемически заостренный против школьной реформы, под названием «Die neuen Schule entgegen».

XII

До сих пор наше внимание было приковано к жизни Витгенштейна в Траттенбахе и Оттертале, где он преподавал соответственно в 1920 — 1922 и 1924 — 1926 годах. Между тем оставался в тени промежуточный двухгодичный период преподавательской деятельности Витгенштейна в Пухберге и Шнееберге. В этих селениях судьба Витгенштейна сложилась несколько иначе. В Пухберге — по сравнению с другими местами — он даже был счастлив.

Ныне, как и в 20-е годы, Пухберг — процветающий курортный поселок. Теперь он, конечно, очень преобразился и разросся. По численности населения (свыше трех тысяч человек) он напоминает скорее небольшой городок, чем деревню. Там-то и обрел Витгенштейн настоящего друга — нет, не второго Ноерурера, такого же, как и он сам, одержимого воителя, — а Рудольфа Кодера, молодого, милого, скромного, талантливого пианиста и учителя музыки. Впоследствии переехав вместе с женой и семьей в Вену, Кодер стал закадычным другом Витгенштейна и всегда желанным гостем в его семье.

Когда Витгенштейн обосновался в Пухберге, вышел наконец и его «Трактат», вызвавший большой интерес в философских кругах Англии. Ф.П.Рамсей даже наведывался к Витгенштейну в Пухберг. Витгенштейн поладил с местным священником и, вопреки своим дурным предчувствиям, о которых он рассказывал Расселу, завязал более или менее теплые отношения со своими коллегами. С одним из них, учителем математики Норбертом Росснером, он немного сдружился. По просьбе Росснера Витгенштейн взялся заново преподавать ему курс математики, но, как полагает Росснер, не очень-то преуспел в этом. Однако сам Росснер горел желанием выучиться, и дружеские отношения между ними сохранялись. Директор пухбергской школы, бесконечно восхищавшийся Витгенштейном, сказал как-то о нем: «Этот человек уже умеет делать все то, что я сам хотел бы уметь делать».

Но до идиллии все же было далеко. В Пухберге Витгенштейн вел себя так же, как в Траттенбахе и Оттертале. Он оставался таким же требовательным к ученикам, творил чудеса педагогического искусства, конструировал

экспериментальные модели, изготавливал скелеты животных, возил пухбергских детей на экскурсию в Вену.

Чудачества Витгенштейна не прекратились и в Пухберге. После ссоры с владелицей дома он вынужден был съехать с квартиры. На этот раз он подыскал себе невероятно крохотную комнатку — каких-нибудь восемнадцать кв. футов — и, скрывшись в ней от посторонних глаз, играл, как поговаривали, после 10 часов вечера на кларнете. Ежедневно вместе с Рудольфом Кодером он музицировал и совершал дальние прогулки. Но когда приезжал Арвид Сёгрен (а делал он это регулярно), местные жители, забавляясь в душе, могли наблюдать такую сцену: пока Витгенштейн и Кодер музицировали, совершенно невосприимчивый к музыке Сёгрен ложился на скамью или на пол и моментально погружался в сон. Когда Витгенштейну удалось наконец отыскать человека, разбирающегося в музыке, он нашел его в самом неподходящем месте: третьим участником трио стал местный угольщик по имени Постл. Позднее Витгенштейн лично позаботился о том, чтобы его семья в Вене наняла Постла слугой, поэтому остаток своей трудовой жизни тот провел на службе у Стонборо.

Отличие Пухберга от других деревень достаточно очевидно. Жители Пухберга были более состоятельны, честолюбивы и благодаря туризму и курортной торговле более привычны к городским нравам. Они не столь сильно нуждались в детской помощи по хозяйству и ценили Витгенштейна за то, что он пришелся по душе их детям. В Пухберге вечерние занятия Витгенштейна с учениками почти не вызывали нареканий. Итак, в пространственном отношении Пухберг находился ближе в Оттерталю, а во временном — к Вене.

XIII

За несколько месяцев, прошедших после отъезда Витгенштейна из Оттерталя, жизнь его резко переменилась. 3 июня, через шесть недель после его возвращения, умерла его мать. Остаток лета Витгенштейн провел в монастыре Barmhezige Brüder в Хюттельдорфе, в окрестностях Вены. Как и прежде, он работал садовником, одна-

ко серьезно подумывал о монашестве. Теперь монастырь упразднен, а сохранившиеся здания служат приютом для нищих женщин с детьми. Некоторые из прежних монастырских слуг здравствуют и поныне, и кое-кто из них даже помнит Витгенштейна, «замечательного, чрезвычайно трудолюбивого садовника и — левого»!

Лето 1926 года было на исходе, и Витгенштейн возвратился в Вену. Он теснее сблизился с семьей и принял участие в осуществлении проекта своей сестры Маргарет Стонборо. Она-то наконец и вытащила его «из скорлупы» и ввела в мир взрослых, откуда он потом опять сбежал в мир философии. Маргарет задумала построить огромный особняк на обширном участке земли, близ городских кварталов, в Кундманнгассе. Этот участок, где некогда стоял Дворец Разумовских, расположен прямо через дорогу от Колледжа по подготовке учителей, который в 1919 — 1920 годах посещал Витгенштейн. В строительстве дома Витгенштейн стал играть ведущую роль, и, когда говорят об архитекторах здания, его имя часто упоминают наряду с именем его друга Пауля Энгельмана.

До сих пор, однако, не ясна истинная доля участия каждого из них, тем более что сам Энгельман почти целиком приписал честь строительства особняка Витгенштейну. Но факты свидетельствуют об обратном. Энгельман разработал генеральный план дома; сохранились его альбомы с эскизами, имеющими большое сходство с окончательным проектом и выполненными в то время, когда Витгенштейн еще преподавал в сельской школе. По внешнему виду дом очень напоминает постройки учителя Энгельмана, крупного венского архитектора Адольфа Лооса, что легко обнаруживается при сравнении с некоторыми творениями Лооса, например с Домом Штайнера в Вене, построенным в 1910 году[1].

Что касается самой удивительной и оригинальной детали — высоких, от пола до потолка, окон, то эта идея принадлежит Маргарет, лет пять назад уже использовавшей подобного рода деталь при реконструкции своей загородной виллы в Гмундене. Вклад самого Витгенштейна в по-

---

[1] См.: Bannister Fletcher. *A History of Architectire.* 17th ed. (New York: Scribners, 1961) p. 1072f.

стройку дома двоякий: он замыслил кое-какие инженерные устройства — систему отопления и частично систему освещения — и тщательнейшим образом следил за действиями строителей. Важность такой работы понимает всякий, кто хоть когда-нибудь строил дом. Но несмотря на всю ее важность, мы погрешили бы против истины, если бы, подобно многим, стали утверждать, что Витгенштейн, словно титан эпохи Возрождения, не только создал два значительных философских учения, но и спроектировал одно из оригинальнейших зданий Европы двадцатого столетия. Участие в строительстве дома пошло на пользу Витгенштейну: он сблизился с космополитичными и образованными взрослыми людьми, стал общаться со Шликом, Вайсманом и другими членами Венского кружка, снова включился в философские дискуссии. Итак, работа архитектором подготовила его, по крайней мере психологически, к принятию окончательного решения заняться философией и вернуться в Кембридж в январе 1929 года. Уже во второй раз инженерная деятельность проложила Витгенштейну путь к философии.

4

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА

Кто знает, как сложилась бы судьба философии в Великобритании и Соединенных Штатах, не будь Витгенштейна, а ведь он вообще мог бы остаться в тени.

...Этим я хочу сказать, что в философских кругах Витгенштейн стал известен благодаря особенным обстоятельствам: сильному впечатлению, произведенному им на Бертрана Рассела, и смелой политике Кембриджского университета, открывшего ему доступ в философское сообщество. Природа расточительна, и, чтобы сделать исключительное благое дело, надо решиться на сумасбродство. Я уверен в правоте действия и Рассела, и Кембриджского университета; полагаю, что никакой другой университет мира ни за что бы не принял Витгенштейна. Определенно, без содействия Кембриджского университета и Рассела (хотя некоторые думают, что он заблуждался на сей счет) мы практически ничего не услышали бы о Витгенштейне.

Дж. О.Уиздом [1]

I

В предвоенный кембриджский период деятельности Витгенштейна никто не оспаривал ни его гениальности, ни важности его работы. Рассел и Мур с восторгом превозносили его еще лет за девять до опубликования «Трактата». Под влиянием критики со стороны Витгенштейна Рассел, по его собственному признанию в «My Philosophical Development» [2], в корне пересмотрел свое учение, а после окончания войны в письме к матери Витгенштейна выразил надежду на будущие великие достижения ее сына. До 1922 года лучшие умы Англии были готовы пойти на все, лишь бы создать Витгенштейну благоприятные условия

---

[1] J.O. Wisdom. Esotericism. — *Philosophy*, October 1959, p. 348 — 349.

[2] Bertrand Russel. *My Philosophical Development*. (New York: Simon and Schuster, 1959).

для его дальнейшего философского роста. Так, Кейнс ходатайствовал об освобождении Витгенштейна из лагеря военнопленных в Монте-Кассино (однако тот отказался воспользоваться полученным разрешением), Рассел специально ездил в Гаагу и Инсбрук для переговоров с ним, а Рамсей и несколько английских студентов наведывались в Пухберг.

В 20-е годы между Витгенштейном и его прежними учителями неожиданно обнаруживаются первые признаки разлада. Так, например, инсбрукская встреча Рассела и Витгенштейна закончилась взаимной досадой и неприязнью. Однако во всей своей полноте разительная перемена, происшедшая как в образе мыслей Витгенштейна, так и в его отношениях с бывшими наставниками, начала сказываться только после его возвращения в Кембридж в январе 1926 года. А первые встречи, и особенно встреча с Муром (Витгенштейн не виделся с ним с апреля 1914 года; Мур тогда приезжал в Норвегию навестить его), прошли довольно гладко. По результатам своей довоенной работы в Кембридже Витгенштейн мог претендовать на степень доктора философии и представил в качестве диссертации «Трактат». Рамсея назначили его супервизором, а Мура экзаменатором. Но из-за болезни и преждевременной кончины Рамсея устными экзаменаторами стали Рассел и Мур. О странно радушной атмосфере заседания, состоявшегося в июне 1929 года, свидетельствует доклад Мура о «диссертации» Витгенштейна:

> По моему личному мнению, диссертация господина Витгенштейна гениальна и, уж во всяком случае, отвечает всем требованиям, предъявляемым к работе на соискание степени доктора философии Кембриджского университета.

Так уж случилось, что следующий великий переворот в философии свершился в значительной степени под влиянием Витгенштейна. Но этим мы обязаны не «Трактату», а «новому», или «позднему», Витгенштейну. Да и сам переворот оказался не таким, каким его предвидел Рассел. Рассуждая о «предательстве Витгенштейном своего собственного величия», Рассел писал: «Я восхищаюсь «Трактатом» Витгенштейна, но не его поздней работой, в которой он, как мне кажется, отрекается от своего блестящего таланта. ...Содержащееся в ней позитивное учение я нахожу банальным, а негативное — необоснованным. В «Фило-

софских исследованиях» Витгенштейна я не вижу ничего интересного и просто не понимаю, какую такую великую мудрость находит на их страницах целая школа»[1].

Выдающийся специалист по философии науки, профессор философии морали в Найтбридже, Ч.Д. Броуд оказался язвительнее Рассела, когда в своей духовной биографии заметил:

> Сознательно я пренебрегал одной-единственной обязанностью — посещением еженедельных заседаний Клуба Моральных Наук... Я не мог заставить себя каждую неделю часами сидеть в удушливой атмосфере табачного дыма, тогда как Витгенштейн добросовестно проходил через это испытание и «восхищался с глупым выражением восторга на лице»[2].

Но кембриджские власти, несмотря на неодобрительный ропот, продолжали поддерживать Витгенштейна. В июне 1929 года Совет Тринити-колледжа выделил ему стипендию для исследовательской работы, а 16 октября того же года правление факультета этических наук при Университете пригласило его прочесть курс лекций. К декабрю 1930 года Витгенштейна избрали членом Тринити-колледжа. Однако работы Витгенштейна все больше и больше замалчивались, что явствует из переписки между Муром и Расселом по поводу избрания Витгенштейна членом Тринити-колледжа.

В начале марта 1930 года Мур написал Расселу письмо, от имени Совета Тринити-колледжа обращаясь к нему с просьбой подготовить доклад об исследовательской работе Витгенштейна за текущий академический год и обсудить его с Витгенштейном. «Кажется, это единственный способ, — добавляет Мур, — обеспечить его (Витгенштейна) достаточными средствами для продолжения работы, если Совет не выделит ему стипендии; опасаюсь, что они действительно могут пойти на это, если не получат благожелательных отзывов от специалистов». Рассел осторожно ответил, что он не видит причин для отказа, хотя подготовка отзыва потребует много времени. После разговора с Витгенштейном в конце недели Рассел снова обращается к Муру и просит его отложить написание отзыва примерно на

---

[1] *Ibid.*, p. 214 — 216.

[2] *The Philosophy of C. D. Broad*. Ed. P.A. Schilpp (New York: Tudor Publishing Company, 1959), p. 6.

месяц, «поскольку в настоящий момент мое впечатление довольно неопределенно, да и к тому же он, находясь в Австрии, намеревается сам подготовить краткий обзор своей работы, что значительно облегчило бы мне написание адекватного отзыва». После повторной встречи с Витгенштейном в начале мая и изучения его рукописи Рассел сообщает Муру: «Его теории несомненно, важны и, несомненно, очень оригинальны. Но я не знаю, истинны ли они или нет. Искренне надеюсь, что нет, ибо они ставят невероятные трудности перед математикой и логикой. ...Я совершенно уверен, что Витгенштейну следует дать возможность продолжить работу». Через два дня в ответном письме Мур заметил Расселу, что его отзыв в том виде, в каком он представлен, не годится для протоколов Совета, и попросил составить более формальный отзыв, особо оговорив свое высокое мнение о новой работе Витгенштейна. Рассел неохотно согласился, и в положенный срок Витгенштейна избрали членом Тринити-колледжа. Из этой переписки и невооруженным глазом видно, что в реальной ценности поздних работ Витгенштейна усомнился не только Рассел, но и Совет Тринити-колледжа[1].

II

Такого рода сомнения будоражат многие умы и сегодня, спустя почти сорок лет после того, как Витгенштейн создал первые работы в стиле своей поздней философии — «Philosophische Bemerkungen» (эту работу Рассел зачитал для Тринити-колледжа) и «Philosophische Grammatik». Долгое время в англоязычных странах ни один философ не пользовался столь большим успехом и не подвергался столь резкой критике, как Витгенштейн.

Несмотря на ряд темных мест, «Трактат» — систематическое исследование, основное содержание и цели которого легко поддаются определению. Иначе обстоит дело с почти всеми поздними работами Витгенштейна, в том числе и «Философскими исследованиями», наиболее законченным изложением его поздних взглядов. За исключени-

[1] Эта переписка и официальный отзыв Рассела, подготовленный для Тринити-колледжа, напечатаны в «The Autobiography of Bertrand Russel», vol. II.

ем чисто полемических разделов, замысел и цели этих работ неясны. Они написаны в крайне несистематической форме; некоторые главные идеи не прямо констатируются, но скорее показаны или даны намеками. Трудностью ухватить смысл поздних работ Витгенштейна обусловлено появление огромного количества критических и разъяснительных книг и статей. Готовя свое исследование, я изучил бóльшую часть этого массива вспомогательной литературы, а также перечитал труды самого Витгенштейна. Подобно многим другим, я на личном опыте убедился, что в его работах отсутствуют положения, настойчиво приписываемые ему комментаторами. Кроме того, в комментариях приводятся различные интерпретации идей позднего Витгенштейна и высказываются различные суждения о наиболее важном и существенном в них.

Итак, я приступаю к изложению своего мнения относительно поздних работ Витгенштейна с напоминания о различии между его собственной, крайне противоречивой философией и всей совокупностью взглядов, которые можно назвать частью «витгенштейнианской философии». Философы, придерживающиеся подобных взглядов, несколько отличаются друг от друга по тому, в чем они усматривают влияние трудов Витгенштейна на свои собственные труды, и по тому, как они трактуют заимствованные из его работ проблемы, формулировки, примеры. Зачастую эти философы либо учились вместе с Витгенштейном, либо находились в тесном контакте с его учениками или коллегами.

Писать о философии Витгенштейна все равно что писать историю значительного периода философской эры в Великобритании и Северной Америке. Он открывается по меньшей мере с начала 30-х годов, когда идеи позднего Витгенштейна зазвучали с кафедры Кембриджского университета и стали распространяться благодаря записям его лекций и появляющимся под его влиянием книгам и статьям. Но цель моего исследования иная: я хочу дать лишь краткий обзор его трудов.

III

Обычно самое раннее изложение поздних взглядов Витгенштейна датируют концом 20-х годов. Некоторая перемена в его образе мыслей произошла в результате его бе-

сед со Шликом и Вайсманом в 1929 году. Сам Витгенштейн сообщает, что разговоры с Рамсеем и Пьетро Сраффой в Кембридже в 1929 году привели к радикальному перевороту в его мышлении. Между 1929 и 1933 годами в двух объемистых рукописях, опубликованных посмертно на немецком языке под названиями «Philosophische Bemerkungen» и «Philosophische Grammatik», он зафиксировал ряд важных изменений в своей позиции. К началу 30-х годов — при условии, что записи лекций Витгенштейна, изданные после его смерти Муром, точны, — уже наметились многие лейтмотивы его поздних работ и частично отказ от ранней работы. Новые идеи получили более четкую формулировку на английском языке в двух машинописных текстах, продиктованных Витгенштейном в 1933 — 1935 годах и названных по цвету обложек «Голубой и Коричневой книгами». Это — непосредственные предшественники «Философских исследований». Посмертно были также опубликованы еще несколько работ, таких, как «Zettel» и «Заметки по основаниям математики», самим Витгенштейном не предназначавшиеся для публикации, но все же изданные в форме заметок его душеприказчиками. Эти черновые, порой очень грубые наброски решения различных проблем помогают на разнообразных примерах увидеть, как Витгенштейн применял свой новый метод философствования.

Но вопрос о том, когда именно и как именно изменился философский подход Витгенштейна, вероятно, навсегда останется неразгаданной загадкой истории. Очевидно, однако, что перемена произошла гораздо раньше, задолго до его знакомства с членами Венского кружка и возвращения в Кембридж. В 1921 году в Траттенбахе Витгенштейн рассказал своему ученику об одном эксперименте: в нем требовалось установить, смогут ли три человека, не владеющие никаким языком и полностью изолированные от мира, изобрести или научиться какому-нибудь примитивному языку. Содержание этого эксперимента предвосхищает интерес позднего Витгенштейна к примитивным языкам и условиям обучения языку.

Упомянутый выше эпизод и характер некоторых первых бесед Витгенштейна со Шликом и Вайсманом позволяют предположить, что к концу 20-х годов он не только отошел от изложенных в «Трактате» идей, но и составил себе довольно четкое представление о том, что́ в них неверно и в

каком направлении следует искать более удовлетворительный метод философствования. Чем же вызвана свершившаяся перемена? Об этой метаморфозе ходят различные легенды. Говорят, например, что сам Витгенштейн связывал ее с осознанием невозможности «проанализировать» неаполитанскую жестикуляцию Сраффы. Однако эта история — даже если она истинна — объясняет перемену во взглядах Витгенштейна ничуть не лучше, чем эпизод с яблоком — открытие Ньютоном закона тяготения.

Моя собственная гипотеза такова: проблемы, поставленные австрийским движением за школьную реформу и глубоко чуждые ранней работе Витгенштейна, постепенно и, возможно, вопреки его ожиданиям и намерениям подорвали его прежние убеждения и выступили на первый план. Если правомерно говорить о каком-нибудь независимом мыслителе, оказавшем влияние на Витгенштейна в период трансформации его позиции, то только о Карле Бюлере (1879 — 1963), профессоре философии в Венском университете и Венском педагогическом институте, главном теоретике движения за школьную реформу[1].

Реформы Глёкеля насквозь, хотя и неявно, были пронизаны идеями детской психологии, учения о ребенке как активном социальном субъекте, чей мозг — отнюдь не пустой сосуд, заполняемый соответствующей информацией. Нападая на Drillschule и Lernschule, реформаторы открыто заявили о себе как о противниках гербартианства, ассоционизма и атомизма в психологии и теории обучения. В Венском университете, Венском педагогическом институте и многочисленных колледжах по подготовке учителей преподавались альтернативная теория обучения и философия

---

[1] После того как я заключил, что между Бюлером и Витгенштейном должна существовать определенная связь, к подобному выводу пришли и другие ученые. См., например: Stephen Toulmin. Ludwig Wittgenstein — *Encounter*, 1969, and *Ludwig Wittgenstein, Karl Bühler and Psycholinguistics*, mimeorgaphed, 1969. Также см.: Bernard Kaplan. *Comments on S. Toulmin's «Wittgenstein, Bühler and the Psychology of Language»*, mimeographed, 1969. Как работы Каплана и Тулмена, так и ранее проведенное мной исследование данной темы войдут в *The Boston Studies in the Philosophy of Science*. В настоящее время в американских университетах ряд ученых готовят диссертации по этой проблематике, и в скором времени мы получим дополнительную информацию о связях между Бюлером и Витгенштейном.

образования. Здесь господствовали взгляды Бюлера, которого вместе с его женой Шарлоттой, видным специалистом по детской психологии, Глёкель и его коллеги пригласили в Вену в 1922 году [1]. В 1923 году, спустя лишь несколько месяцев после приезда в Вену четы Бюлер, Глёкель официально заявил об уже давно известном факте: «В сущности, вся школьная реформа основана на результатах психологических исследований мышления детей» [2]. С самого начала движение за школьную реформу находилось под влиянием трудов Бюлера, а особенно его работы «Geistige Entwicklung des Kindes» (1918), позже опубликованной в сокращенном варианте на английском языке под названием «The Mental Development of Child» (1930). В колледжах по подготовке новых кадров учителей эта работа почти сразу же была рекомендована в качестве учебника по педагогике.

Разработанную Бюлером детскую психологию, своего рода критическое переосмысление гештальтпсихологии, трудно с точностью отнести к какому-либо определенному направлению; она скорее стоит ближе к идеям швейцарского психолога Жана Пиаже, на которого Бюлер оказал большое влияние, нежели к идеям знаменитых лидеров школы гештальтпсихологии — Макса Вертгеймера, Курта Коффки, Вольфганга Келера, Курта Левина.

Сам Бюлер начинал свою деятельность в Вюрцбурге (Германия). В 1906 году он стал ассистентом критического реалиста Освальда Кюльпе, известного своей критикой махизма. Основываясь на трудах Кюльпе, Бюлер стал развивать теорию «безóбразного мышления» и впоследствии, переехав вместе с Кюльпе сначала в Бонн, а затем в Мюнхен, доработал свое учение. Согласно концепции «безóбразного мышления» Кюльпе и Бюлера, в интенциональном акте представления отдельный образ, или «модель», не имеет никакого сходства с тем, что он представляет. Поэтому абстрактные слова условны и несводимы к атомам, или элементам, включая и ощущения. Та-

---

[1] О жизни Бюлера и библиографию см.: *Karl Bühler. Die Uhren des Lebenwesen und Fragmente aus dem Nachlass.* Ed. Gustav Lebzeltern (Vienna: Hermann Bohlaus Nachf., Kommissionsverlag der Österreichen Akademie der Wissenschaften, 1969).

[2] Otto Glöckel. *Die Österreiche Schulreform* (Vienna: Verlag der Wiener Volksbuchhanlung, 1923), p. II.

кой подход, равно как и взгляды гештальтпсихологов, в корне противоположен позитивизму и родственным ему философским и психологическим учениям — будь то ассоцианизм, редукционизм, бихевиоризм или логический атомизм.

Подобно гештальтпсихологам, Бюлер стремился показать, что построение теории, или организация, — главная функция человеческого мозга, независимая от ассоциаций, ощущений и прочих «атомов мышления». Организующая, теоретическая деятельность мозга в некотором смысле — основополагающая; она определяет типы «целостностей», предстающих в процессе мышления в виде элементов. Подобно Келеру, чьи работы более известны в англоязычных странах, Бюлер настаивал на том, что его доводы бьют по атомизму не только в психологии, но и в философии и эпистемологии.

К концу войны Бюлер уже внес значительный вклад в развитие теории языка и детской психологии. Это преобладающие темы в его «Geistige Entwicklung» и еще трех работах, опубликованных им после переезда в Вену: «Die Krise der Psychologie» (1926), «Ausdrucktheorie» (1933) и «Sprachtheorie» (1934). Трудно переоценить масштаб его влияния в Австрии и особенно в Вене; оно распространилось даже за пределы Австрийской Республики. Роберт Доттренс из Института Жана Жака Руссо в Женеве писал:

> Завершив путешествие по Чехословакии, Германии, Бельгии, Англии и Франции, я с полной уверенностью могу сказать, что по прогрессу в области образования Вена обогнала другие города Европы... В Вену, эту педагогическую Мекку... и должны устремиться новые паломники — сторонники современной школы... дабы сделать явью свои чаяния и грезы[1].

За шесть лет пребывания Бюлера в Вене к нему отовсюду стекались толпы такого рода паломников — учеников и коллег, впоследствии по праву завоевавших известность. Среди них Пауль Лазарфельд, Эгон Брунсвик,

---

[1] Robert Dottrens. *The Education in Austria* (New York, The John Day Co., 1930), p. IX and 202. Аналогичное свидетельство см.: Richard Meister. The Teacher Training in Austria. *Harvard Educational Review*, vol. 8, Jahuary 1938, p. 112 — 121.

Эльза Френкель-Брунсвик, Конрад Лоренц, Карл Поппер, Лотта Шенк-Данцингер, Альберт Уеллек, Эдуард Тулмин. Витгенштейн не числился среди учеников Бюлера, однако он, по-видимому, был одним из самых знаменитых людей, прошедших школу Бюлера.

V

Витгенштейн, несомненно, читал труды гештальтпсихологов, и чтение произвело на него большое впечатление. Так, некоторые примеры в «Философских исследованиях» заимствованы из работ Коффки, а авторство своего известного примера с «уткой-кроликом» (фигурой, в которой можно увидеть и утку, и кролика) Витгенштейн приписывает Ястрову, хотя на самом деле этот фокус на протяжении веков входил в репертуар придворных кудесников. Витгенштейн не упоминает Бюлера по имени, испытывая неприязнь к его «напыщенным профессорским манерам». Однако на первой встрече Витгенштейна с Морицем Шликом Карл и Шарлотта Бюлер присутствовали в качестве гостей сестры Витгенштейна Маргарет Стонборо [1]; их пригласили по совету племянника Витгенштейна, знавшего Бюлера по Венскому университету. Витгенштейн периодически обвинял Бюлера в шарлатанстве, но личная антипатия вовсе не исключает определенного положительного духовного влияния и не свидетельствует о мимолетности интереса Витгенштейна к этому человеку.

В отрывке из «Zettel» (412) Витгенштейн спрашивает себя, не занимается ли он на самом деле детской психологией. Действительно, «Zettel», «Голубую и Коричневую книги», «Философские исследования» следует рассматривать с разных точек зрения, но прежде всего мы обязаны видеть в них, во-первых, критику теории атомизма, разработанной в «Трактате» или Расселом и Гербартом, и, во-вторых, попытку развить основные принципы детской психологии. Значительное место в части I «Философских исследований» отводится проблеме усвоения

---

[1] См.: Paul Engelmann. *Op. cit.*, p. 118; и B. F. McGuinness in Friedrich Waissmann: *Wittgenstein und der Wiener Kreis* (Oxford: Basil Blackwell, 1967), p. 15n.

детьми родного языка, по поводу чего Витгенштейн полемизирует со Св. Августином.

В мое исследование философии позднего Витгенштейна постоянно вкрапливаются ссылки на Бюлера и гештальтпсихологов, поскольку существует поразительное сходство между некоторыми главными идеями Бюлера и идеями Витгенштейна. К ним относятся: 1) критика логического и психологического атомизма; 2) замена атомизма контекстуализмом, или конфигурационизмом; 3) радикальный лингвистический конвенционализм; 4) концепция «безóбразного мышления».

Наше предположение о влиянии Бюлера на Витгенштейна ничуть не умаляет собственно вклада последнего. Напротив, необходимо отстаивать оригинальность позиции Витгенштейна. Я просто хочу устранить тот исключительно английский контекст, сквозь призму которого обычно рассматривают работы Витгенштейна, и представить их на другом, менее привычном для нас фоне. Я не берусь утверждать, что взгляды Бюлера и Витгенштейна идентичны, однако провести между ними различие можно только при наличии адекватных методов сравнительного анализа. И Витгенштейн, и гештальтпсихологи должны были бы признать не только то, что сходство и различие образов предметов, или «фигур», зависит от «фона», или «контекста», но и то, что *люди и их идеи также бывают сходны или различны в зависимости от «фона»*. Итак, если «очень различные» философские системы Витгенштейна и гештальтпсихологов дополнить соответствующим «фоном», то обнаружится их сходство по основным вопросам.

V

В «Трактате» за языком признается лишь одна значимая функция — функция создания картины мира. В обыденной речи эта функция не всегда очевидна, но ее можно показать посредством логического анализа комплекса на составляющие его атомы.

Философская позиция Витгенштейна, оформившаяся к 1930 году, вскоре после его возвращения в Кембридж, сильно отличается от его прежней позиции, изложенной

в «Трактате». По-видимому, к тому времени уже вовсю шла ломка его ранних взглядов, начавшаяся в период его преподавательской деятельности и ускоренная знакомством с Бюлером и гештальтпсихологами. Тем не менее развитие поздних идей Витгенштейна продолжалось до конца его жизни. Они так и не оформились в стройную систему, вроде системы «Трактата», и Витгенштейн выражал крайнее недовольство полученными результатами. В «Философских исследованиях» (1953), опубликованных через два года после его смерти, он вспоминает о своих дурных предчувствиях, уподобляя свой новый труд «альбому» философских заметок. Эти заметки, пишет Витгенштейн, следует рассматривать только «в сравнении и в контексте» его прежнего образа мыслей, запечатленного в «Трактате», работе, которая содержит, как он теперь полагает, «грубые ошибки» («Ф.И.», p. X).

Итак, в «Философских исследованиях» Витгенштейн дает частичную критику своих ранних взглядов и взамен отвергнутой им аргументации «Трактата» выдвигает новые аргументы по проблемам логики, мышления, понимания, природы философии, языка, значения.

Неудивительно, что Витгенштейн в конце концов отверг логический атомизм. Философы и психологи XIX века, вслед за Кантом, выставили против атомизма целую «батарею» новых и старых аргументов. Оригинальность они проявили лишь в том, что против атомизма, или элементаризма, пустили в ход хорошо выстроенную, слаженно действующую «артиллерию». Но нас поражает другое: отвергая атомизм, Витгенштейн редко опирался на этот подручный свод аргументов, а развивал свои собственные. Нам остается найти эти новые аргументы и посмотреть, настолько же ли они действенны — не говоря уж об их превосходстве, — как и старые.

Согласно традиционному атомизму, истинная теория выводится из чувственных данных. Согласно традиционным аргументам против атомизма, не существует чувственных данных, не содержащих в себе теории, одним словом, всякое ощущение обременено теорией; более того, даже если бы и существовали per impossibile чистые чувственные данные, они не смогли бы сами по себе породить теорию.

Витгенштейн (как сообщает Мур в заметках по поводу его лекций), едва приступив к чтению курса, объявил, что его взгляды — особенно по поводу атомарных предложений — существенно изменились. Указав на отсутствие в «Трактате» примеров элементарных предложений, он признал, что на самом деле бессмысленно говорить об окончательном анализе на атомарные предложения. Из сообщения Мура кое-кто заключил бы, что мысль Витгенштейна движется в русле традиционной критики атомизма, где показывается, что нельзя привести ни одного примера атомарных предложений, поскольку в действительности они невозможны ни логически, ни психологически.

Однако вскоре обнаруживается, что критика Витгенштейном атомизма довольно нетрадиционна. В «Голубой и Коричневой книгах» и «Философских исследованиях» он мало интересуется вопросами о невозможности или недостаточности атомарных предложений; его аргументация сводится к их ненужности для *осмысленного общения*. Однако не совсем ясно, настаивали или нет когда-нибудь философы на том, что *осмысленное общение* требует анализа на атомарные предложения, или по крайней мере на возможности такого анализа. Первые сторонники атомизма подчеркивали необходимость отделять истинные утверждения от ложных и в случае сомнения прибегать к анализу. Вероятно, они признали бы, что, как правило, для осмысленного общения не нужен анализ подобного рода, а достаточно анализа *употребления*.

Тем не менее цели критики Витгенштейна и приводимые им доводы вполне конкретны. В «Трактате», замечает он, допускается (например, 3.251), что каждое предложение имеет совершенно определенный смысл. Витгенштейн следующим образом воспроизводит ход своих рассуждений:

> Мы воображаем, что в попытке ухватить самую суть языка и заключается своеобразие, глубина и сущность нашего исследования... Вы скажете, что иногда смысл предложения не проясняет всего. И все же предложение должно иметь определенный смысл. Неопределенный смысл вообще не есть смысл, подобно тому как неопределенная граница в действительности вовсе не есть граница. Возможно, кто-то подумает: если я скажу: «Я крепко запер некоего человека в комнате, только вот дверь оставил открытой», то тогда окажется, что я его вовсе не запирал. То, что он заперт, — чистый обман. Другой добавит: «Ты вообще ничего не сделал». Запирать,

оставляя лазейку, все равно что делать мертвому припарки. — Но верно ли это?» («Ф.И.», §97—99).

Витгенштейн отвечает отрицательно на свой вопрос и отвергает мысль о том, что «неясное понятие» — вообще не понятие, мысль, которую он приписывает Фреге. «Фреге, — замечает Витгенштейн, — сравнивает понятие с некоторой территорией и полагает, что территорию с неопределенными границами никак нельзя назвать территорией. По-видимому, это означает, что мы ничего не можем с ней сделать. — Но разве бессмысленно сказать: «Стань приблизительно там?» («Ф.И.», § 71).

Вооружившись целым набором подобного рода примеров, Витгенштейн опровергает представление о том, что предложение должно иметь определенный смысл. На незатейливых примерах он доказывает, что степень точности зависит от контекста и что нет никакой необходимости усовершенствовать общение с помощью повышения степени точности или дальнейшего анализа предложения.

На примерах, взятых из обыденной речи, Витгенштейн критикует *априорное* требование наличия определенного значения у каждого предложения и подчеркивает важность детального изучения обыденной речи. В разговорном языке многие предложения неточны и неясны, но это не мешает им без дальнейшего анализа довольно адекватно выражать наши намерения. Приводимый ниже известный пример с метлой дает представление о стиле, содержании и методе поздних работ Витгенштейна:

Когда я говорю: «Моя метла стоит в углу», то действительно ли в данном предложении речь идет о палке и щетке? Его, конечно, всегда можно заменить высказыванием, в котором определяется отдельно положение палки и отдельно положение щетки. Это далее проанализированное высказывание. — Почему я называю его «далее проанализированным»? — Ответ таков: если метла находится в углу, то, значит, там же находятся — причем в особом отношении друг к другу — палка и щетка; эта идея как бы скрыта в первом предложении и *выражена* в проанализированном предложении. Но на самом ли деле говорящий о стоящей в углу метле подразумевает, что там стоит палка и щетка и что щетка прикреплена к палке? — На этот вопрос он, вероятно, ответит, что он вообще не думал отдельно ни о палке, ни о щетке. Его ответ будет правильным, поскольку он не собирался говорить о щетке и палке по отдельности. Представь, что вместо фразы «Принеси мне метлу» ты бы произнес: «Принеси мне палку и прикрепленную к ней щетку»! — Тогда последовал бы резонный

вопрос: «Тебе нужна метла? Но почему ты так странно выражаешься?» — Станет ли понятнее далее проанализированное предложение? — С помощью него, вероятно, скажешь ты, достигается, хотя и окольным путем, та же самая цель, что и с помощью обыкновенного предложения («Ф.И.», § 60).

Идее о необходимости дать точное определение или провести анализ высказываний Витгенштейн противопоставляет понятие «семейного сходства». Он хочет показать, что рассматриваемые им явления не имеют между собой ничего общего, что позволило бы называть их одним и тем же словом; они, скорее, по-разному соотносятся друг с другом. Поясняя свою мысль, Витгенштейн предлагает читателям поразмышлять над *играми*:

Я имею в виду настольные игры, игры с мячом, карточные игры, Олимпийские игры и т.п. Что общего между всеми играми? — Только не говори: «Обязательно *должно* быть нечто общее, иначе их не называли бы играми». Лучше *посмотри*, имеется ли между всеми ними что-нибудь общее. — Посмотрев, ты увидишь, что между *всеми* ними ничего общего нет, но есть целый ряд подобий и отношений. Повторяю, не думай, а смотри! Взгляни, например, на настольные игры с их разнообразными отношениями. Теперь переведи взгляд на карточные игры: в них ты найдешь множество соответствий с первой группой, но какие-то общие черты исчезнут, появятся другие. Если затем посмотреть на игры в мяч, то опять много общих черт сохранится, но много и исчезнет. — Все ли игры «занимательны»? Сравните игру в шахматы с игрой в крестики и нолики. Всегда ли игроки соперничают друг с другом, выигрывают и проигрывают? Вспомните о пасьянсе. Победители и побежденные есть и в играх с мячом, но когда ребенок ударяет мячом по стене и снова ловит его, данная черта исчезает... Аналогичным образом мы можем перебирать одну за другой прочие группы игр и наблюдать, как возникают и исчезают подобия.

В результате мы увидим замысловатую сеть перекрещивающихся и перекрывающих друг друга подобий — иногда полных, иногда частичных.

Я думаю, что вернее всего эти подобия характеризует термин «семейные сходства», поскольку точно так же перекрещиваются и перекрывают друг друга разнообразные сходства — по темпераменту, телосложению, чертам лица, цвету глаз, походке и т.д. — между членами семьи. — «Игры», так сказать, тоже образуют семью («Ф.И.», § 66 — 67).

Пример превосходен, ибо концепция семейных сходств оригинально противопоставлена анализу в духе эссенциализма, — но превосходен только в том случае, если будет показано, что в атомизме действительно ут-

верждалась необходимость анализа на атомарные предложения для *осмысленного общения*. Вся критика Витгенштейном элементаризма и анализа — даже если она верна — бьет мимо цели. Именно это удивительное сочетание интеллектуального блеска с явной неуместностью рассуждений так сильно раздражало Рассела и Броуда.

Резонно спросить, на самом ли деле верна аргументация Витгенштейна против философского метода определения смысла, или анализирования, высказываний. Чтобы ответить на этот вопрос, не обязательно оспаривать его мнение о том, что очень часто можно общаться на неточном, не совсем ясном языке. Не стоит отвергать и его предположение о том, что, требуя слишком высокой степени точности, *сверхточности*, немудрено прослыть глупцом. Не следует также сомневаться в обоснованности его доводов относительно невозможности дать точное определение таким понятиям, как, например, «игра», «семейное сходство». По всем этим пунктам вы, вероятно, согласитесь с Витгенштейном, даже если не захотите признать, что нам никогда не могут быть даны или что нам никогда не нужны необходимые и достаточные для точного определения условия. В действительности, конечно, имеют место ситуации, когда необходимые и достаточные условия — единственный определяющий критерий — могут и должны быть даны. Это видно на примере «семейных отношений». Так, в некоторых случаях, скажем в правовых вопросах, можно и даже должно дать точные определения таким словам, как «родной брат/сестра», «отец», «мать», «тетя», «опекун». Следовательно, существуют контексты, в которых определение и сущность полностью согласуются друг с другом.

Мы подходим к еще одному основному аргументу позднего Витгенштейна против атомизма, а именно к контекстуализму, или конфигурационизму. В «Исследованиях» он утверждает, что бессмысленно говорить о полном соответствии между простыми составляющими языка и простыми составляющими реальности (даже если допустить, что таковые действительно существуют). Он доказывает, что простота не есть какая-то чистая субстанция, но что она обусловлена контекстом. Можно, конечно, замечает Вит-

генштейн, расчленить зрительный образ цветка на все входящие в него цвета (хотя для этого потребовалась бы чрезвычайно изощренная теория чистых цветов, о чем Витгенштейн умалчивает). Но, указывает он, даже если бы и представлялось возможным сделать это, вопрос о простейших свойствах имел бы мало смысла. Многоцветность — лишь один из видов сложности: полосатость — другой. Мы употребляем слова «сложный» и «простой» в самых различных случаях, которые в свою очередь по-разному соотносятся между собой. Следовательно, вопросы об *абсолютной* сложности или простоте, поставленные вне контекста, неразрешимы, и задавать их не следует. В своих рассуждениях по этому поводу Витгенштейн приближается к идеям Бюлера и гештальтпсихологов. Так, например, Кюльпе, вознамерившись опровергнуть утверждение Маха о том, что процессы мышления сводятся к ощущениям, придумал знаменитый эксперимент с картами (напоминающий приведенный Витгенштейном в «Философских исследованиях» пример с цветными коробками). Кюльпе раздал испытуемым карты с нарисованными на них бессмысленными слогами, окрашенными в разные цвета и расположенными в различных комбинациях. Одних испытуемых просили определить *цвет*, других — *конфигурацию*, третьих — количество изображенных знаков. Каждый испытуемый выделял только те черты, назвать которые его просили, и не обращал никакого внимания, а порой даже не помнил другие черты, вполне подходящие под определение «простых». Таким образом, ответы зависели от заданных вопросов, то есть от контекста. Для приверженцев ассоциативизма теория, или организация, возникает из предшествующих ассоциаций, тогда как для Кюльпе, Бюлера, других гештальтпсихологов и позднего Витгенштейна ассоциации зависят от теории, или от организации.

VII

В «Трактате» Витгенштейн разграничил истинные научные предложения и все прочие высказывания. Хотя Витгенштейн не очень высоко ставил научные предложения, в которых «проблемы жизни... даже не затрагиваются» («Трактат», 6.52) и которые показывают, «как

мало дает решение этих проблем» («Трактат», с. 30), им все же отводилось почетное место в его философии. Но, осознав нереальность изложенной в «Трактате» позиции, Витгенштейн сделал резкий volte face. В «Философских исследованиях» научные предложения лишились привилегированного места: они оказались связанными со множеством других типов предложений, со множеством других языковых игр. При этом они равноправны между собой и обретают смысл только в процессе речи, в процессе их употребления. Если наука перестала быть авторитетом, то тогда ничто не является авторитетом. Если атомарные предложения не отражают, словно в зеркале, мир, то тогда мир вообще не отражается в языке. Обнаружив недейственность развитой в «Трактате» теории критики, Витгенштейн заключил, что философская теория критики вообще невозможна. Критика, оправдание, объяснение больше не являются целями философии. На долю философа остается лишь **описание** разнообразных языковых игр и тех «форм жизни», в которых они запечатлены. Само по себе такое описание **независимо от субъекта**; **в принципе** недопустимо отдавать предпочтение тому или другому типу речи при выявлении — описании — их логики или грамматики. Даже основные законы логики, довольно удачно сформулированные логиками, теперь следует рассматривать как **условные** и видеть в них детально разработанные схемы для упорядочивания суждений. Эти «созданные человеком» и никоим образом не «выявляющие» структуру мира классификационные схемы столь же основные, как и прочие языковые игры, также созданные человеком. Итак, объективный реализм «Трактата» сменяется изощренным антропоцентрическим релятивизмом, некой разновидностью сравнительной антропологии лингвистических систем, значение которых обусловливается их употреблением.

Неизменным во взглядах Витгенштейна осталось лишь убеждение в том, что найденное в «Трактате» решение «окончательно и неопровержимо»: там устанавливалось, как **должен** осуществляться анализ на простые составляющие, если таковой все же имеет место. Если метод Витгенштейна не работает, то подобного рода метод вообще не работает!

В радикальном субъективизме позднего Витгенштейна, несмотря на отдельные утверждения обратного, кантианства ничуть не больше, чем в его прежнем реализме. Однако в поздних работах Витгенштейна все же звучат отголоски некоторых кантовских тем. Определенное соприкосновение с кантианством обнаруживается в том, что категории логики, грамматики, рамки различных языковых игр рассматриваются Витгенштейном скорее как факты истории взаимодействия людей с окружающей средой, чем как отражения структуры мира. Теперь исходной точкой исследования служит язык, взятый в контексте человеческого поведения; исследователь уже больше не надеется ухватить реальность с помощью изучения языка и допускает, что язык — как *проекция* мышления, но не как картина мира — в определенном смысле творит реальность. Однако это не устраняет основополагающих различий между Кантом и Витгенштейном. Для Канта структура мира была непознаваема, а категории понимания неизменны. Для раннего Витгенштейна структура мира познаваема; для позднего Витгенштейна категории понимания, или языка, постоянно меняются.

VIII

Итак, в «Философских исследованиях» на смену идее о существовании одного-единственного языка — языка науки — приходит представление о том, что язык состоит из множества различных, взаимодействующих между собой языковых игр со своими собственными грамматиками, или правилами употребления. В трудах Витгенштейна, равно как и в нашем исследовании, слово «грамматика» не имеет ничего общего с изучаемой в школах грамматикой (подлежащими, сказуемыми, существительными, прилагательными, глаголами и другими «частями речи»), которая, по мнению Витгенштейна, только вводит в заблуждение. По-видимому, он намеренно ввел в оборот это затасканное слово, придав ему новый смысл: подобно тому как школьная грамматика была связана с аристотелевской логикой, преданной забвению благодаря работам Фреге, Рассела, Уайтхеда, Витгенштейна и прочих, новое понимание слова «грам-

матика» как «глубинной грамматики» или «лежащей в основе языка логики» связано с новой логикой. Витгенштейн использует слово «грамматика» по крайней мере в двух смыслах. Он различает поверхностную грамматику, где рассматривается способ употребления некоторого слова в образовании того или иного высказывания, и глубинную грамматику, относящуюся к той языковой игре, или форме жизни, в которой данное слово играет определенную роль [1].

IX

Поздний Витгенштейн не видит никакой необходимости в том, чтобы интересующие философов языки обладали особой грамматикой, позволяющей сводить их к атомарным предложениям; не озадачивает его больше и употребление высказываний, не поддающихся анализу на атомарные предложения.

Но Витгенштейн все еще стремится устранить философские заблуждения, и его взгляд на природу философии целиком зависит от понимания им этой проблемы. Его программа устранения философии, или, по его выражению, «борьбы против чар языка, сковавших наш интеллект», построена на выдвинутой им концепции происхождения подобных заблуждений. В «Философских исследованиях» Витгенштейн усматривает источник философского заблуждения в нескольких серьезных ошибках. Первая — «завороженность» представлением о времени как потоке. Вторая — отсутствие четкого разграничения между глубинной и поверхностной грамматикой. Третья, более существенная ошибка — недопонимание сложного взаимодействия различных языковых игр, что приводит к ошибочному применению правил грамматики одной языковой игры к другой и смешению различных грамматик. Не исключено, что в этом случае важное высказывание может оказаться вырванным из соответствующего контекста. «Вращающееся колесо, если при этом вместе с

---

[1] Вопреки распространенному мнению, глубинная грамматика Витгенштейна отличается от глубинной грамматики Хомского, представленной в его лингвистической теории.

ним ничего больше не движется, не является частью механизма» («Ф.И.», p. 271).

Тип ошибки, порождающий, по мнению Витгенштейна, философское заблуждение, очень напоминает «категориальную ошибку» — термин современных философов-аналитиков, хотя сам Витгенштейн не употреблял этого термина [1]. Во избежание категориальных ошибок необходимо предпринять детальное исследование обыденного языка в контексте всех его взаимодействий с жизнью, природой, поведением. Витгенштейн писал («Ф.И.», p. 7): «Совокупность языка и действий, в которые он вплетается, я также буду называть "языковой игрой"».

Посредством детального, «чисто дескриптивного» исследования «данного, того, что следует принять», Витгенштейн пытается объяснить, как мы учимся «правильно употреблять» различные выражения в рамках определенной, одобренной обществом языковой игры, или формы жизни. Обучаясь правильному употреблению выражений, мы усваиваем правила игры, в которой они используются. Когда выражения употребляются вне сферы их применимости, язык переходит свои границы, «отправляется на каникулы», по словам Витгенштейна. Следовательно, философская критика призвана показать, каким образом язык может занять неподобающее ему место и каким образом можно опять включить его в соответствующий контекст.

Итак, теперь «Трактат» целиком рассматривается как одна большая категориальная ошибка, поскольку в нем утверждается, что различные языковые игры должны удовлетворять критерию науки, единственной языковой игры, обладающей верховным авторитетом. В «Философских исследованиях» и других поздних работах Витгенштейн приводит многочисленные примеры подобных «грамматических» ошибок. Многие из них он относит за счет нашей склонности применять к *психическим* понятиям правила, в лучшем случае свойственные физическим понятиям, а иногда и не только им. Согласно Витгенштейну, склонность смешивать ментальные и

---

[1] Ср., однако, полуофициальное изложение Фридрихом Вайсманом взглядов позднего Витгенштейна в: *The Principles of Linguistic Philosophy* (London: MacMillan, 1965), p. 104.

физические понятия помогает понять, почему философы тратят так много времени на споры по вопросу о существовании «ментальной субстанции» и делят себя на монистов и дуалистов. Источником этих давних расхождений является, полагает Витгенштейн, не сама реальная действительность, как кажется многим участникам дискуссий, а ошибки: применение грамматики ментальных понятий к физическим и, наоборот, выдергивание слов из их грамматического контекста.

Развивая свою мысль, Витгенштейн в «Философских исследованиях» уделяет значительное внимание ментальным понятиям, изучению таких слов, как «мышление», «чувствование», «понимание», «значение», «намерение». Он разрабатывает концепцию «безóбразного мышления», близкую идеям Кюльпе и Бюлера. Он пишет:

> Нам еще не до конца ясна роль способности воображения, того, в какой степени она делает предложение осмысленным. Для понимания предложения извлечь из него некоторый образ (картину) столь же важно, как и вообразить что-либо в связи с ним. Вместо слов «способность воображения» мы вправе также сказать «способность представления (создания образа) при помощи определенного метода представления. Такого рода представление, конечно, прокладывает безопасный путь к другим способам употребления предложения. Однако не исключено, что создаваемый образ (картина) сам навяжется нам, так что его вообще нельзя будет применить» («Ф.И.», § 395 – 397).

В таком же ключе Витгенштейн рассуждает и в «Lectures and Conversations» (p. 30), одновременно отвергая положения «Трактата» и развивая концепцию «безóбразного мышления». Когда француз говорит: «Il pleut», а англичанин говорит: «It is raining», то ни один из них, полагает Витгенштейн, не ухватывает умом реальный смысл предложения «Идет дождь». Витгенштейн поясняет: «Мы представляем себе нечто вроде образов, этакого международного языка[1]. Однако на самом деле:

---

[1] Здесь явственно сквозит критикой идей Отто Нейрата, разработавшего так называемый «Венский метод» (его личный вклад в программу школьных реформ), согласно которому вместо слов предпочтительнее использовать «картинки» с тем, чтобы избежать непонимания на словесном уровне и способствовать созданию международного «универсального языка».

1) мышление (или образы) не является дополнением к произносимым или слышимым словам; 2) смысл мысли о том, что «Идет дождь», заключается не в словах, сопровождаемых теми или иными образами.

Отвергая изложенную в «Трактате» теорию создания картины мира, Витгенштейн замечает, что, даже если бы мы признали существование в наших умах ментальных образов, мы все равно должны были бы как-то проинтерпретировать их и не смогли бы установить непосредственный и прочный контакт между мышлением и реальностью. Итак, язык физических явлений несводим к языку ментальных явлений, а последний не позволяет нам постичь конечные составляющие реальности, равно как логика — конечную структуру реальности.

X

В истории философии часто новое объяснение происхождения ошибок — а идеи позднего Витгенштейна претендуют на таковое — приводило к созданию новой программы исследований, рассчитанной на определение условий, при которых подобные ошибки больше не смогут возникнуть. Не избежал этого и Витгенштейн. Сам он никогда не утверждал, что различные дисциплины и виды человеческой деятельности являются самостоятельными языковыми играми со своими собственными правилами (или грамматиками). Очевидно, что он мыслил более глубоко. Однако именно это заблуждение свойственно многим его последователям. Они полагают, что любой вид деятельности — право, история, наука, логика, этика, политика, религия — имеет собственную специфическую грамматику, или логику; что смешение грамматики одного вида деятельности с грамматикой другого вида деятельности порождает философскую ошибку; что *новое* занятие философа, его новая программа исследования, состоит в детальном описании отдельных грамматик, или логик. В этом духе два поколения английских и американских философов писали книги под такими названиями, как «The Vocabulary of Politics», «The Language of Morals», «The Logic of Moral Discourse», «The Logic of Historical Explanation», «The Language of Literary Criticism», «The Language of Fiction», «The Uses of Argument», «The Logic of Social

Sciences», «The Logic of Sciences», «The Province of Logic», «The Language of Education», «The Logic of Religious Language», «Faith and Logic», «Christian Discourse», «The Language of Christian Belief», «The Logic of Colour Words» и т.д. ad nauseam. Любой поднаторевший в своем деле философ или подающий надежды доктор философии получал в свое распоряжение простейшую «формулу исследования», с помощью которой можно было написать книгу или научную статью: «Выберите одну из фраз: «Логика X», «Язык X», «Грамматика X». Подставьте вместо «X» какой-нибудь род деятельности из перечисленных выше. Напишите по сформулированной таким образом теме трактат». Необычайный успех подобного витгенштейнианского метода философствования объясняется легкостью осуществления этих программ. Как свидетель я должен упомянуть, что все перечисленные выше названия красуются на недавно вышедших книгах или монографиях. Если бы Рассел оценил этот аспект «Исследований», он, наверное, понял бы — хотя и продолжал бы сокрушаться, — какую такую «великую мудрость находит на их страницах целая школа».

Однако сам Витгенштейн не одобрял и не принимал участия в подобного рода занятиях. Он, конечно, осознавал, что, даже признав полезность разделения на категории, языковые игры, грамматики, осуществить его не просто, что видно из нескольких примеров. Для иллюстрации ошибок, встречающихся в философской грамматике, часто приводятся случаи отсутствия четкого разделения между классом и элементами, его составляющими, между университетом (в Кембридже, Оксфорде, Лондоне, Дурхэме, Йеле или Санта-Крусе) и колледжами, его образующими, между ротой и солдатами, в нее входящими. На основании каких критериев различают эти категории? Часто думают, что только тогда два субъекта относятся к разным категориям и к ним применимы различные грамматики, когда они имеют разные предикаты. Например, можно сказать: «Солдаты упитанны», но нельзя сказать: «Рота упитанна». Можно сказать: «Колледжи уютны», но нельзя сказать: «Университет уютный». Точно так же полагают, что два субъекта относятся к одной категории, когда они имеют

один и тот же предикат. Например, предикат «очень упитанные» применим и к солдатам, и к морякам американских вооруженных сил. Однако легко показать, что данный способ различения языковых игр или категорий часто не выдерживает проверки. Так, истощенным может быть и человек, и его тело, хотя на первый взгляд кажется, что эти два субъекта относятся к разным категориям. Или такой пример: во многих контекстах «2» и «0» принадлежат к одной категории, однако первая цифра вполне может служить разграничителем, а вторая не может. Или сравните электромагнитные, световые, звуковые волны и волны на воде: с точки зрения здравого смысла первый тип волн относится к одной категории, второй и третий — к другой, четвертый — уже к следующей, тогда как в физике первый тип объединяется со вторым на основании тождества электромагнитных и световых волн, а третий тип с четвертым — на основании движения звуковых и водяных волн в материальной среде [1].

За всем этим кроется важная проблема: действительно, нельзя применять неподходящие критерии к тому или иному объекту, однако мы зачастую не можем заранее сказать, какие критерии подходящие, а какие неподходящие. Этот вопрос также должен стать предметом исследования. По-видимому, неправомерно требовать с самого начала от критики, чтобы она соответствовала своему объекту, отвечая таким условиям, как, например, «научность». Лучше серьезно принять критику такой, какая она есть, с целью *выяснить*, на основании каких категорий намереваются критиковать данный объект. Возможно, это удивит вас.

В противоположность некоторым своим последователям Витгенштейн избежал, по крайней мере в теории, подобных трудностей: отвергая эссенциализм, он был твердо убежден, что никакой язык, или языковая игра, не обладает сущностными определяющими критериями.

---

[1] Некоторые примеры, приведенные в этом параграфе, заимствованы из очень интересных рассуждений Дж. О. Уиздома в статье «Esotericism», *Philosophy*. October 1959, pp. 346f. Ср. также: J.J.C. Smart. A Note on Categories. *British Journal for the Philosophy of Science*, 1953.

XI

В центре нашего краткого обзора философии позднего Витгенштейна стоит один из самых спорных аспектов его мышления и вместе с тем одна из основных философских проблем. Я имею в виду проблему рождения, развития, совершенствования, изменения и отмирания языковых игр, форм жизни, грамматик. Трактовка Витгенштейном этой проблемы во многом туманна, но все же он занял довольно последовательную, хотя и неудовлетворительную, позицию.

Затруднение вызывают три важных, но плохо согласующихся между собой утверждения. Настаивая на том, что (1) ни одна языковая игра или грамматика не может выступать арбитром другой, Витгенштейн (в отличие от Канта) также допускает, что (2) наши языковые игры, грамматические категории, понятия могут изменяться и развиваться. Размышляя о различиях между типами предложений, Витгенштейн пишет: «Множественность не есть нечто устойчивое, раз и навсегда данное; появляются новые виды языков, новые языковые игры, а другие, наоборот, выходят из употребления и забываются (этот процесс *отдаленно* напоминает изменения, происходящие в математике)» («Ф.И.», § 23). Но далее Витгенштейн утверждает, что (3) философия не может вторгаться в процесс изменений: «Философия никоим образом не может вмешиваться в употребление языка... Она оставляет все, как есть» («Ф.И.», § 124), «Данность, то, что следует принять, — это *формы жизни*» («Ф.И.», p. 226).

Первое и третье утверждение часто приводят — и это вполне понятно — в доказательство идеологического консерватизма, мирного сосуществования уже укоренившихся, признанных форм жизни: такая позиция исключает возможность изменений. А второе утверждение часто либо вовсе игнорируется, либо оставляется без особого внимания, как ничего не значащее символическое допущение.

Проблема здесь двоякая. Во-первых, если одной языковой игре, или форме жизни, запрещено судить другую и тем самым выступить инициатором грамматического изменения, то каким образом начинается подо-

бное изменение? И как его следует оценивать? Витгенштейн не дает объяснений. Во-вторых, если он готов поддержать идею о фундаментальном грамматическом изменении, то почему он не признает за философией никакой роли в его осуществлении? Мнение Витгенштейна идет вразрез с философской традицией, согласно которой магистральный путь к фундаментальному категориальному изменению пролегает через рациональную, интеллектуальную критику одного набора категорий, одной грамматики, одной языковой игры со стороны другого набора категорий, другой грамматики, другой языковой игры. Таковы были, например, концептуальные сдвиги в развитии современной логики, неевклидовой геометрии, теории относительности Эйнштейна (если упоминать только знакомые Витгенштейну важнейшие концептуальные или категориальные сдвиги). Так, Фридрих Вайсман, один из самых верных учеников Витгенштейна, в своей книге, где излагаются принципы философии позднего Витгенштейна, в качестве примера концептуального сдвига и научного прогресса, *которому способствовала философия*, приводит анализ Эйнштейном теории одновременности[1].

В своих работах Витгенштейн постоянно обращается к проблемам развития и изменения концептуальных рамок, сферы и пределов языковых игр и форм жизни, принятия решений, применения правил, природы философии. Но, пожалуй, наиболее выпукло эти проблемы проступают в трактовке Витгенштейном религии. Кажется, он и сам осознавал это. По поводу своей поздней философии Витгенштейн однажды заметил: «Ее преимущество состоит в том, что если вы верите, скажем, Канту или Спинозе, то эта ваша вера вторгается и в ваши религиозные убеждения; но если вы верите мне, ничего подобного не происходит»[2]. Критики Витгенштейна также подметили данный аспект его философии. Характерна критика Геллнера, как раз касающаяся религии. Он пишет: «Разрушив философию, Витгенштейн расчистил

---

[1] Waismann. *Op. cit.*, pp. 11 – 14.

[2] Сообщено в: W.D Hudson. *Ludwig Wittgenstein* (Richmond: John Knox Press, 1968), p. 67. См. также: G.E.M. Anscombe. What Wittgenstein Really Said, *The Tablet*, April 17, 1954.

место для религиозной веры... в витгенштейнианстве верующие могут найти не только способ устранения философской критики, но и позитивное обоснование своей веры»[1].

Геллнер преувеличивает, но преувеличивает в рамках дозволенного. Витгенштейн (в противоположность некоторым своим ученикам) не давал «позитивного обоснования» религии и не устранял критики религиозной грамматики, или формы жизни. Он всего лишь утверждал, что заниматься подобного рода критикой — не дело философа qua philosopher. Ограничивая деятельность философа *описанием* различных категорий, Витгенштейн в действительности отмежевался от той части философской традиции, что связана с именами Платона, Спинозы, Юма, Канта, а из современников Витгенштейна с Расселом. Все упомянутые мыслители настаивали на необходимости для философа осуществлять радикальную критику фундаментальных категорий, а иногда даже усматривали в ней его основную задачу. Но даже если допустить, что и сама философская традиция не без изъяна, суть изобретенного Витгенштейном понятия «философ qua philosopher» все же остается неясной. Не отрицая ни того, что формы жизни, в которых воплощаются различные религии, могут возникать и отмирать, ни того, что их можно подвергнуть критике, Витгенштейн, однако, не позволяет философу qua philosopher пытаться осуществить подобные изменения. Идея во многом странная: чтобы сделать философские заключения, не обязательно носить звание философа, но не обязательно и отказываться от этого звания, чтобы не делать их!

Подход Витгенштейна к религии не был критическим; не был он и апологетическим. Витгенштейн ясно показал, что он не только не защищает традиционные религиозные учения, но иногда даже не понимает, что они означают. «Предположим, — размышляет он, — что некто спросил: «Во что ты веришь, Витгенштейн? Ты скептик? Будешь ли ты жить после смерти?» Я, разумеется, отвечу: «Я не могу сказать. Я не знаю», поскольку у меня нет четкого представления о том, что

---

[1] Ernest Gellner, Reply to Mr. MacIntyre. *Universities and Lift Review*. Summer, 1958.

именно я говорю, когда произношу фразу: «Я не перестану существовать и т.п.»[1]. Он повторяет, что он может понять идею Бога, связанную с осознанием греховности и вины, но не идею Творца[2].

По отношению к религии и прочим озадачивающим его формам жизни Витгенштейн в «Философских исследованиях» и других работах сознательно занял позицию антрополога или «исследователя неведомой страны, где говорят на совершенно незнакомом языке» («Ф.И.», § 206 — 208)[3]. Он полагал, что, хотя люди той страны и создали собственный язык и заняты «обычными видами человеческой деятельности... мы не сможем выучить их язык, если попытаемся сделать это» («Ф.И.», § 207). Его слова о примитивном племени применимы к любой современной форме христианства: «Не существует налаженной связи между их речью, издаваемыми ими звуками и их действиями; однако звуки все же нелишни».

Даже в том случае, если язык понятен, Витгенштейн не исключает возможности взаимного непонимания. Он пишет: «Один человек может быть совершенной загадкой для другого человека. Мы осознаем это, когда приезжаем в чужую страну с чуждыми нам традициями, — осознаем, как бы хорошо ни владели мы языком той страны. Мы *не понимаем* людей. (И не потому, что не знаем, что они говорят сами себе. Мы идем не в ногу с ними») («Ф.И.», II, p. 223). Упомянув о своих близких друзьях и учениках Смидисе и Энском, принявших католичество, Витгенштейн как-то заметил Малкольму: «Пожалуй, я не смог бы заставить себя поверить во все то, во что верят они». Малкольм добавляет: «Я полагаю, что своим замечанием он не пытался оскорбить их веру. Скорее он прошелся по поводу своих собственных способностей»[4].

---

[1] *Lectures and Conversations*, p. 70.

[2] Norman Malcolm. *Op. cit.*, pp. 70 — 71.

[3] См. его Bemerkungen über Frazer's «The Golden Bough», Synthese, 1967, pp. 233 — 245, а также *Lectures and Conversations*. См. также: Norman Rudich and Manfred Stassen, Wittgenstein's Implied Anthropology: Remarks on Wittgenstein's Notes on Frazer. *History and Theory*, 1971, pp. 84 — 89.

[4] Malcolm. *Op. cit.*, p. 72.

Подобного рода иносказательные, косвенные замечания о религии содержатся в основных трудах Витгенштейна. А чтобы обнаружить прямые высказывания Витгенштейна по данному вопросу, надо обратиться к трем его лекциям по религии в «Lectures and Conversations» и его кратким критическим заметкам о знаменитой книге Фрэзера «Золотая ветвь». В этих работах Витгенштейн на конкретных примерах предостерегает об ошибочности подхода к чужим формам жизни — будь то примитивное общество или религия — с мерками нашего общества и с нашими непроверенными критериями рациональности и научной строгости. Такой подход приводит к неправильному пониманию чужой грамматики, какой бы ясной она ни казалась, и обязывает не только учитывать свои собственные критерии рациональности, но и исследовать критерии рациональности, воплощенные в чужой форме жизни. Если бы Витгенштейну бросили обвинение: «Витгенштейн пытается подорвать устои разума», он, по его признанию, ответил бы: «По-видимому, это так!»[1] Да, это так — и не в первый раз, — поскольку он, отвергнув «Трактат», едва ли представлявший собой попытку подорвать устои разума, однажды уже разгромил одну серьезную *теорию рациональности*.

Мы вполне можем, предупреждает Витгенштейн, проглядеть самую суть религиозного дискурса, если упустим из виду, что все его ключевые слова — «веровать», «понимать», «возражать», «мнение», «ошибка», «очевидность», «предсказание» — употребляются вне нерелигиозной, «нормальной», с точки зрения исследователя, сферы употребления. Витгенштейн утверждает, что те, кто участвует в религиозных формах жизни, часто находятся во власти определенного представления, например представления о воздаянии в День Страшного Суда. Но если вы скажете: «Эти люди твердо придерживаются мнения (или взгляда) о том, что Страшный Суд действительно существует»[2], вы проявите непонимание данной формы жизни. Ибо слово «мнение» в том смысле, в каком оно употребляется в нерелигиозном дискурсе и отвечает обычным критериям очевидности, достоверности и

---

[1] *Lectures and Conversations*, p. 64.
[2] *Ibid.*, p. 56.

высокой степени вероятности, здесь неуместно. Вместо слов «гипотеза», «мнение» следует использовать такие слова, как «догмат», «вера».

Из критики Витгенштейна можно заключить, что среди верующих наряду с теми, кто употребляет ключевые слова в «ненормальном» смысле, были и есть такие, кто относится или утверждает, что относится к своей вере, как к некоторой «гипотезе», требующей доказательства и долженствующей удовлетворять критериям «научной достоверности». Витгенштейн отдает себе отчет в существовании подобного рода людей, но находит их смешными. Такого верующего, замечает он, «я бы определенно назвал безрассудным. Я бы сказал, что его вера — сплошной предрассудок. Но чтобы высмеять ее, мне не нужно доказывать ее недостаточную очевидность... Вы вправе сказать: этот человек смешон, ибо, веруя, он находит для своей веры слабые основания»[1].

Здесь Витгенштейн не совсем последователен. Разве не дозволяется верующим, *неправильно* — по крайней мере с «нормальной» точки зрения — *применяющим* научные критерии, поступать именно так, как они поступают, если это — часть их формы жизни? А если не дозволяется, то разве не после вмешательства философии в одну из возможных форм жизни? Разумеется, было бы опрометчиво видеть в этой форме жизни самообман, даже если допустить, что такое представление беспроблемно; ибо сам Витгенштейн напоминал: «Эти утверждения не отличаются от того, что в них утверждается. В религиозные верования их превращают совершенно иные связи; и вполне можно вообразить такие превращения, после которых нам уже ни за что не узнать, называть ли их религиозными верованиями или научными верованиями»[2].

Слабость подхода Витгенштейна к проблеме религии, несколько завуалированная в трех его лекциях, явственно проступает в кратких заметках о книге Фрэзера «Золотая ветвь». Витгенштейн возражает против снобистской идеи о том, что с помощью «более совершенных» критериев европейской культуры XIX века можно оцени-

---

[1] *Ibid.*, p. 59.
[2] *Ibid.*, p. 58.

вать, критиковать и анализировать рассматриваемые Фрэзером типы религий. Но при этом Витгенштейн не располагает ни удовлетворительной альтернативной теорией, ни фактическими доказательствами обратного, за исключением принятой a priori груды данных, на основании которых Фрэзер устанавливает связь между религиозными *взглядами* и *ритуалами*.

Отклонив предложенное Фрэзером объяснение происхождения ритуалов из ошибочных верований, взглядов и интерпретаций природных явлений, Витгенштейн невозмутимо излагает иной подход, не подкрепленный никакими фактами. Он утверждает, что религиозные обряды возникли в ответ на инстинктивную, бессознательную потребность испытать чувство безмятежности и удовлетворенности — и исключительно с одной этой целью. «Когда я раздражен, — замечает Витгенштейн, — я иногда стучу тростью по земле или дереву. Но делая это, я не верю, что земля почему-либо виновата или что от стучания есть какая-то польза. «Я развеиваю свое раздражение». *Таковы все ритуалы*. Подобного рода действия можно назвать инстинктивными»[1].

Но, даже рассуждая столь поверхностно, Витгенштейн все-таки великолепен и невольно попадает в самую точку. Ибо как стал бы антрополог или психолог интерпретировать тот ритуал расслабления, который с начала 20-х годов начал совершать Витгенштейн, потерявший свой драгоценный жезл и отказавшийся следовать велению сновидения? Не призадумался ли бы он над вопросом: существует ли связь между стучанием фаллосообразной бамбуковой тростью по матери-Земле и по древу-Отцу и некой непроанализированной картиной мира, что создал в своем уме маленький мальчик, воспитывавшийся в 1890-х годах во Дворце Витгенштейнов и пытавшийся играть в свои игры с шестью старшими по возрасту, рослыми и чрезвычайно талантливыми детьми в доме, самые стены которого — по свидетельству очевидцев — содрогались, когда старый Карл Витгенштейн шествовал через парадный вход и взбирался по темно-красной лестнице? Если бы юный Людвиг повниматель-

---

[1] Ludwig Wittgenstein. Benerkungen über Frazer's..., Synthese, 1967, p. 245. — *Курсив автора.*

нее присмотрелся к дереву, по которому он стучал бамбуковой тростью, то он, вероятно, поднял бы взор и увидел бы золотую ветвь.

Такие размышления — тоже форма жизни, а Витгенштейн признавал Фрейда «своим учителем».

XII

В последние годы жизни Витгенштейн, несмотря на все больше и больше одолевающую его физическую слабость и почти постоянную депрессию, по-прежнему был окружен в Кембридже группой блестящих и энергичных студентов. За прошедшие два столетия никакому другому философу не удалось создать школу таких талантливых, ответственных, преданных — и таких запуганных — учеников. Витгенштейн третировал своих последователей, стравливал их друг с другом, жестоко высмеивал их таланты. Однако каким-то образом ему удалось сохранить их преданность, не возбуждая неприязни к себе.

В августе 1949 года, вскоре после летнего визита к своему бывшему ученику Норману Малкольму в Корнелльский университет, Витгенштейн узнал, что он умирает от рака. Не известив о болезни семью, он собрал своих учеников и будущих душеприказчиков, привел, насколько позволяли силы, в порядок свои дела и бумаги. Он хотел, чтобы некоторые его труды, и особенно «Философские исследования», были опубликованы; но мы не знаем, надеялся ли он на то, что это когда-нибудь произойдет. И он, вероятно, не мог предвидеть, как они будут приняты.

В 1949 году, на Рождество, он последний раз приезжает в Вену, чтобы побыть вместе с семьей, пообщаться с друзьями, вновь помузицировать с Кодером и Постлом и провести с умирающей от рака Мининг последние отмеренные ей дни. Вскоре после ее смерти, в феврале 1950 года, Витгенштейн навсегда покидает Вену. Почти все оставшиеся месяцы этого года он провел в Англии; лишь в августе ненадолго уехал в Норвегию, в свою хижину, и в краткий миг душевного подъема даже думал там поселиться. В феврале

он совсем ослаб и переехал в дом своего кембриджского врача. Там 29 апреля он умер.

В течение всего этого периода ученики постоянно навещали Витгенштейна; философские споры утихли лишь за несколько дней до его кончины. Витгенштейн старался казаться беззаботным, однако большую часть времени он находился в мрачном настроении по поводу написанных им работ, и в его словах звучали нотки пессимизма, которым окрашено и его Предисловие к «Исследованиям»: «Я хотел написать хорошую книгу. Этому не суждено было сбыться, а время улучшить ее упущено... С чувством глубокой неуверенности я предаю гласности... эти заметки. Есть слабая надежда, что в наше темное время на долю моего скромного труда выпадет жребий заронить искру света в умы людей — но это, конечно, не осуществится... Мне бы хотелось, чтобы написанное мной побудило людей — если возможно — к самостоятельным размышлениям, а не приводило их в замешательство».

ЭПИЛОГ

За Витгенштейном так прочно закрепилась слава мастера неожиданностей, что его технику ошибочно сравнивали с техникой дзен-буддиста. Он и меня застал врасплох. До встречи с его бывшими сельскими учениками я не намеревался писать о нем книгу. Полагаю, что прочитавшие мое небольшое исследование не усомнятся в моем искреннем уважении к Людвигу Витгенштейну. Однако, прежде чем расстаться с читателями, я должен заметить, что эта книга написана не учеником Витгенштейна. Я не принимаю основные принципы его ранней и поздних работ. Вы можете возразить, что значение трудов Витгенштейна заключается не в принципах, а в новом методе, стиле философствования. Тогда я признаюсь, что значение применяемых и защищаемых Витгенштейном методов философского анализа — при всей их полезности в некоторых случаях — кажется мне переоцененным. Это к слову. Сам я, хотя и критикую на предыдущих страницах взгляды Витгенштейна, не даю и не намеревался дать их исчерпывающую критику. Прежде чем серьезно критиковать какого-либо философа, надо довольно точно определить, каковы были волновавшие его проблемы и как именно он трактовал их. В отношении Витгенштейна сделать это непросто; и так уже слишком многие авторы — критики и апологеты — на свой лад переиначивали его идеи.

Хочется верить, что я не пополню их ряды, а мое описание отдельных моментов жизни и творчества Витгенштейна заинтересует вас и поможет лучше понять этого человека.

Достигнутые за последние годы успехи в изучении наследия Витгенштейна позволяют надеяться, что сложившаяся после его смерти традиция истолкования его работ в скором времени отойдет в прошлое. Здесь уместно упомянуть о двух существенных достижениях. Во-первых,

за прошедшее десятилетие было показано, что в «Трактате» затрагиваются главным образом вопросы логики и лишь мимоходом вопросы эпистемологии; тем самым подверглась пересмотру почти сорокалетняя традиция неверной интерпретации идей Витгенштейна. Если бы правильное толкование утвердилось сразу, то философия последних пятидесяти лет обрела бы, вероятно, совершенно иной облик. Во-вторых, публикация переписки Витгенштейна с Паулем Энгельманом и Людвигом фон Фикером наконец-то представила в истинном свете его взгляды на «ненаписанную, но важную» часть «Трактата», касающуюся «мистического» и этического; в итоге еще явственнее обнаружилось, как далеко отошел Витгенштейн от логического позитивизма, зачинателем которого его все еще по недоразумению считают.

Хотя за свою жизнь Витгенштейн опубликовал лишь одну тоненькую философскую книгу и одну небольшую научную работу (изложенные в ней идеи он отвергнул почти сразу после того, как отдал ее в печать), писал он очень много. Значительная часть работ Витгенштейна сохранилась и после его смерти постепенно издается его душеприказчиками. Возможно, лет через десять или более все труды Витгенштейна, включая и его удивительную корреспонденцию, будут опубликованы и станут доступны как на немецком, так и на английском языке. Я обратил особое внимание на его почти еще не опубликованную корреспонденцию, поскольку в ней не только оживает дух самого Витгенштейна, но и передается творческая атмосфера философских споров, в которых ставятся важнейшие проблемы человеческого существования.

Нам нужны также новые, оригинальные исследования — а не просто воспоминания — жизни и творчества Витгенштейна, написанные как людьми, близко общавшимися с ним в последний период его деятельности, заботливыми хранителями его литературного наследия, так и философами других школ. Но научно состоятельными подобного рода исследования могут стать только тогда, когда они явятся плодом двух событий: получения доступа ко всем трудам Витгенштейна (наряду с предоставлением возможности их публиковать) и восстановления прерванной двумя мировыми войнами связи между англо-американской и австро-германской философскими традициями.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ниже мы приводим сведения о происхождении Витгенштейна. В нем, как уже упоминалось, была примесь еврейской крови, однако за пределами семейного круга лишь немногие знали об этом факте.

Как-то раз в 1969 году в беседе с близким венским другом Витгенштейна и его семьи я заговорил о его еврейских корнях. Тогда меня уверили, что нелепо видеть в Витгенштейне еврея, хотя *не исключено*, что его бабушка по отцовской линии Фанни Фигдор частично была еврейкой. Сам Витгенштейн всячески скрывал свои еврейские корни; он умолял своего кузена, жившего в Англии, ни при каких обстоятельствах не раскрывать тайны его происхождения; а после смерти Витгенштейна несколько престижных изданий, в том числе и лондонская «The Times», поместили некрологи, где указывалось, что он происходил из княжеского германского рода Сайн-Витгенштейнов. Витгенштейн дружил только с одним евреем — декоратором Паулем Энгельманом, с которым он познакомился на военной службе в Ольмютце во время первой мировой войны.

Лишь после смерти Витгенштейна в его биографических данных стали — вслед за Георгом Хенриком фон Вригтом — упоминать о его еврейском происхождении. Теперь принято считать, что Витгенштейн был на три четверти евреем. Такой вывод имеет право на существование, однако его никоим образом нельзя признать окончательным. Мнения самих членов семьи Витгенштейна разделились: одни утверждают, что его дедушка и бабушка по отцовской линии отреклись от иудейской веры, тогда как другие твердо стоят на том, что его дедушка Герман Христиан Витгенштейн — не-еврей и незаконный по-

томок Сайн-Витгенштейнов. Еще большую путаницу вносят некоторые члены семьи Сайн-Витгенштейнов, заявляющие о своей связи с семьей Людвига Витгенштейна. Нацистам не удалось установить происхождение Витгенштейнов из Вены, которых по Нюрнбергским законам в конце концов зачислили в разряд Mischlinge (не-евреев, но «с примесью еврейской крови»). Поэтому нацисты не тронули ни имущества семьи, ни ее членов, остававшихся, как, например, сестра Витгенштейна Гермина (Мининг), на территории рейха в период второй мировой войны.

По-видимому, эта версия близка к истине. В 1935 году в Венский городской архив поступила на хранение родословная Витгенштейнов, составленная кем-то со стороны. В соответствии с этим документом (его как раз и использовали нацисты), Герман Христиан Витгенштейн является сыном некоего Хирша Витгенштейна, еврея из Билефельда. Однако тщательное изучение архивных источников Билефельда не подтвердило связи между Хиршем Витгенштейном и Германом Христианом Витгенштейном; нацисты, конечно, не смогли доказать еврейское происхождение самого Германа Христиана Витгенштейна, хотя его жена была еврейкой; наполовину еврейкой была и жена их сына Карла Витгенштейна.

Согласно другой родословной, составленной после войны в Иерусалиме, Герман Христиан Витгенштейн является сыном Моисея Майера Витгенштейна, еврея из Корбаха, и внуком Моисея Майера, еврея из Лаасфе и Корбаха. Архивы еврейской общины Корбаха были уничтожены в ноябре 1938 года, когда СС подожгли корбахскую синагогу. Однако семейная традиция, некоторые дневниковые записи Гермины Витгенштейн и ряд важных деталей — например, то, что в семье Витгенштейнов хранятся портреты Моисея Майера и его жены Брендель Симон, — позволяют указать на правильность этой линии родства.

Если это так, то Витгенштейн — на самом деле на три четверти еврей, а имя Майер сменилось на имя Витгенштейн в 1808 году, когда Наполеон приказал всем евреям взять себе фамилии. К середине 1830-х годов почти все члены семьи обратились в протестантскую веру. Удивительная и запутанная история рода Майеров-Витгенштей-

нов из Корбаха и Билефельда, из Берлина и Лейпцига, а также из Вены — это история талантливых, энергичных и замечательных людей; она заслуживает отдельного исследования [1].

---

[1] Помимо сведений, почерпнутых мной из разговоров с членами и друзьями семьи Витгенштейнов, я пользовался следующими источниками: 1) родословная из Венского городского архива, 1935; 2) родословная, составленная в Иерусалиме, 1961; 3) родословная семьи Витгенштейнов, затребованная нацистами, 1938; находится во владении семьи; 4) «Synagogen Büch der Jüdischen Gemeinde zu Bielefeld», by J.Posner, Staatsarchiv Detmold and Stadtarchiv Bielefeld; 5) «Kirchenbucher der Neustädter Marienkirche, ev.A.B., in Ev.Landeskirchenamt Bielefeld; 6) надгробья на Еврейском кладбище в Корбахе; 7) Ein – und Auswanderung Bielefeld 1763 – 1874, Stadtarchiv Bielefeld; 8) список жителей Билифельда на 1828 год, Stadtarchiv Bielefeld; 9) архивы Лютеранской церкви в Вене; 10) »Aus der Geschichte der juden in Waldeck: Jakob Wittgenstein", in «Zeitschrift für Geschichte, Literatur, Kunst und Bibliographie», Pressburg, January-February 1935, Vol. 5, 6, p. 4–8; 11) «Korbach, die Geschichte einer deutschen Stadt», by W.Medding, Korbach Stadtarcniv; 12) Gütersloh Liste, 1808.

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

ЛЕКЦИИ

КЕМБРИДЖ 1930-1932
ПО ЗАПИСЯМ ДЖ.КИНГА И Д.ЛИ

Перевод Т.Михайловой

LUDWIG WITTGENSTEIN

LECTURES

CAMBRIDGE 1930-1932
FROM THE NOTES OF J.KING AND D.LEE

Oxford 1982

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 1930 ГОДА

Лекция А 1

1. Философия — это своего рода попытка преодолеть замешательство. Это «философское» замешательство — конечно, интеллектуального, а не инстинктивного характера. Философские загадки несущественны для повседневной жизни. Это загадки *языка*. Инстинктивно мы употребляем язык правильно, но для интеллекта это употребление — загадка.

2. Язык состоит из высказываний (исключим на время так называемые математические высказывания). Высказывания являются моделью реальности, и мы сравниваем высказывание с реальностью. При помощи высказываний мы даем предписания к действию, и эти предписания должны обладать по отношению к реальности тем отношением, каким обладает копия. Предписания, которые мы даем (сигналы, символы, которые мы употребляем), должны иметь *общее* упорядоченное значение, и их должно быть возможно интерпретировать в *частных* случаях: например, существует *общая* договоренность, что, когда железнодорожный сигнал стоит в определенном положении, поезд должен остановиться, и это интерпретируется в каждом *частном* случае. Таким образом, язык может сообщать нечто новое, и мы можем интерпретировать общие правила языка в частных случаях.

3. Высказывание должно обладать соответствующей степенью сложности: например, команда должна обла-

* Лекции публикуются с сокращениями. — *Ред.*

дать такой же степенью сложности, что и действие, которое эта команда предписывает (которое должно быть выполнено по этой команде). Так, команда пройти от X к У по линиям на рис. 1 должна предписывать соответствующее количество движений и поворотов, которые необходимо сделать.

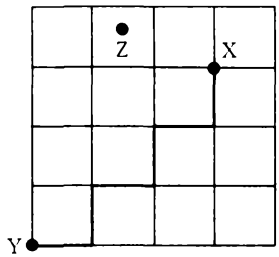


Рис. 1

И если язык может описывать только ту поверхность, которая следует по линиям, то в таком языке будет невозможно описать или задать координаты точки Z, которой нет на линиях.

Язык можно сравнить с управлением машины. Оно обладает той же степенью сложности, что и та сумма движений, которые может произвести машина. Ты не можешь выжать четыре скорости из трехскоростной коробки скоростей. Попытка сделать это была бы эквивалентной произнесению бессмысленного высказывания.

Те же требования к описанию приложимы не в меньшей степени, чем к команде или предписанию. Описание верифицируется или фальсифицируется путем сравнения с реальностью, с которой оно может соотноситься или не соотноситься, быть истинным или ложным. Так обстоит дело с высказыванием в принципе.

4. Высказывание, обладающее сложностью, является поэтому комплексом. Оно состоит из слов. Обладают ли слова значением за пределами высказывания? Слова функционируют только *внутри* высказывания подо-

бно рычагам машины. За пределами высказывания они не имеют ни функции, ни значения. Считается, что высказывание должно состоять из субъекта и предиката, частей речи, разного рода грамматических отношений. Но это неверно. Я мог бы выразить некое высказывание, например, путем серии постукиваний. Так, прогулка от А до В на рис. 2 может быть описана при помощи постукивания, если принять, что одно постукивание означает движение X направо, а два постукивания — движение X вверх.

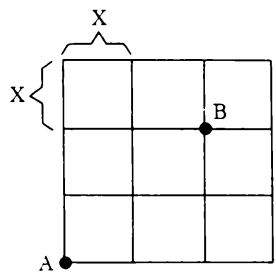


Рис. 2.

Существительные и другие части речи существенны только в нашем языке. Такие лингвистические классификации в большой степени заводят в тупик, что можно увидеть, заменив слова одно на другое в высказывании одной и той же языковой формы. Замена эта возможна только тогда, когда слова принадлежат к одному типу. Ср.:

Эта книга голубая.
Эта книга коричневая.
Я устал.

Здесь *коричневый* и *голубой* могут быть заменены друг другом, *устал* не может быть заменено ни одним из этих слов. Такая замена привела бы к бессмыслице, потому что не все эти слова принадлежат к одному типу. *Голубой* и *коричневый* принадлежат к одному типу, поэтому заме-

на одного на другое, хотя и может сделать предложение ложным, не сделает его бессмысленным.

Последнее мы можем также видеть в кэрролловской поэзии нонсенса:

Варкалось, хливкие шорьки
Пырялись по нове [1].

Это предложение можно расчленить на субъект и предикат и части речи, но оно бессмысленно.

Последнее показывает, что подобный анализ составляющих высказывания не является корректным.

Лекция А II

1. Можно возразить, что философия имеет дело с мыслью, а не с языком. Действительно, она сосредоточена скорее на внутренних связях мысли, которые должны быть изучены посредством выражений, передающих их. В процессе разрешения философской проблемы всегда выявляется некая путаница в плане выражения. Например, 2×2 есть четыре, или дверь (есть) коричневая (вспомним, какие неприятности приносит философам слово «есть»). Путаница разрешается написанием «=» вместо *есть* в первой фразе и ε во второй.

Но сказать, что философия имеет дело с проблемой выражения, не значит преуменьшить значение этой проблемы.

2. Высказывание есть картина реальности.

Два смысла картины —

(1) Портрет похож на то, портретом чего он является.

(2) Нечто, что *имеет намерение* быть картиной чего-то другого, не будучи похожим на него в смысле (1). То, что это картина, содержится в намерении.

3. Что значит «понять» высказывание? Я могу понять твою команду, но не подчиниться ей, я могу думать о ней, но не действовать в соответствии с ней (сходная трудность возникает в случае с памятью и ожиданием).

---

[1] Первые строки стихотворения «Джаббервокки» из «Алисы в Зазеркалье» (в переводе Д.Г. Орловской). — *Прим. пер.*

Тогда как мы обнаруживаем, что кто-то понимает высказывание? Если я хочу показать человеку, что я имею в виду под «поднятием моей руки 8 минут назад», я не могу сделать это, подняв мою руку «8 минут назад». Я должен, вероятно, поднять свою руку теперь. Временной интервал заполняется ожиданием. Ожидание не содержит своего выполнения; выполнение или невыполнение отвечают ожиданию, но не содержатся в нем, ожидание и выполнение не могут идти рука об руку. Еще я могу сказать, когда мое ожидание выполняется (верифицируется), насколько близко оно выполняется: например, насколько близко похожи ожидаемый цвет и тот цвет, который я действительно вижу.

Я ожидаю увидеть красное пятно.
Я вижу красное пятно.

Два факта — ожидание и реальное видение — имеют одинаковую степень логической сложности, и именно на уровне этой степени сложности ожидание и событие сопоставимы, а не в том смысле, в каком сопоставимы портрет и оригинал.

4. Мы учим язык, употребляя его. Языковое соглашение осуществляется посредством связи высказывания с его верификацией. «Понять» — значит быть приведенным посредством языкового соглашения к правильному ожиданию. Об ожидании мы можем только сказать, что оно должно иметь ту же степень логической сложности, что и событие. Высказывание должно иметь ту же степень логической сложности, что и факт, к которому оно относится.

Чтобы быть сущностями одного логического рода, слова/выражения должны быть взаимозаменяемыми.

Я вижу а) Луну
б) поверхность Луны

а) и б) кажутся выражениями одного рода, но они не всегда могут быть взаимозаменяемыми. Мы можем говорить о площади поверхности Луны, но не о площади самой Луны.

5. *Мысль*, что X имеет место, настолько отличается от самого X, имеющего место, насколько отличается от не-

го *высказывание* «X имеет место». И мысль, и высказывание выявляют метод обнаружения того, имеет ли место X, и точку в пространстве (визуальном, тактильном и т.д.), откуда его можно увидеть. Например, «Часы пробьют в пять часов». Здесь (1) ты должен подождать, пока пройдет время (временно́е пространство), (2) если высказывание истинно, ты услышишь бой часов (аудиальное пространство).

Система языка может выразить ожидание только в том случае, если она может выразить положение дел в настоящем.

Лекция A III

1. Высказывание так же относится к реальности, как измерительный стержень к объекту измерения. Это не сравнение. Измерительный стержень — это пример отношения.

Так мы смогли бы отметить точки *c* и *d* на часах и термометре, и эти две отметки говорили бы, что, когда стрелка часов достигает *c*, меркурий в термометре будет стоять на *d*. Отметки должны выражать возможные положения меркурия и стрелки часов, мы должны уметь выражать положение дел в настоящем при помощи поразному расположенных отметок.

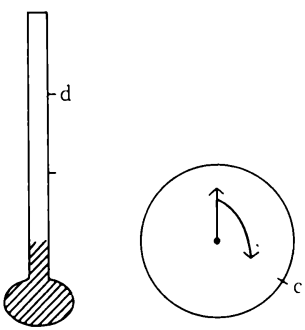


Рис. 3.

Мы должны располагать устройством, которое говорило бы нам, как применять измерительный стержень, метод его применения. Измерительный стержень должен иметь длину, то есть находиться в том же пространстве, что и измеряемая вещь, и мы должны располагать устройством, позволяющим нам применять его.

Эти условия также верны применительно к высказываниям.

2. Правила, при помощи которых выражается метод применения, является частью языка. Если я говорю: «Эта доска длиной три фута», я должен знать, какую именно доску я имею в виду, и существование этой доски является частью языка.

3. Все условия, необходимые для сравнения высказывания и реальности, описываемой им, являются частью правил, удовлетворяющих применению языка к реальности. Если F (З) означает «Примени измерительный стержень X три раза к объекту O, и это даст тебе высоту O», то существование O и измерительного стержня есть часть высказывания F (З). Что не является его частью, так это высота O.

Таким образом, в этом случае написанные символы сами по себе недостаточны. И часто дело обстоит именно так. Если я хочу, чтобы стену выкрасили в определенный цвет, я не могу описать это словами, но должен дать образец этого цвета. Этот образец станет тогда частью высказывания. Сходным путем образ памяти может быть частью символа, одних слов самих по себе недостаточно. Я могу обладать воспоминанием цвета, которое в этом случае является частью символизма, поскольку имелся образчик цвета. Воспоминание или воображение есть модель в том смысле, что они имеют ту же степень сложности, что факт или объект, который помнится или воображается. Большинство высказываний предполагает некоторого рода память или воображение.

Но мы *можем* выразить элемент, обычно обладающий памятью и воображением, в самом символе (написанном или произнесенном) — это то, что мы делаем в процессе анализа высказывания; мы вносим воображение в символ и этим исчерпываем степень его сложности.

4. Сложность языка задается грамматикой. Высказывание должно обладать такой же степенью сложности, что и факт, который оно отображает. Оно должно обладать той же степенью свободы. Мы должны быть в состоянии сделать посредством языка ровно столько, сколько может произойти на самом деле. Грамматика принуждает нас к тому, чтобы совершать одни действия в сфере языка и не совершать других; она фиксирует степень свободы.

Цветной октаэдр (рис. 4) используется в психологии для представления спектра цветов. Но на самом деле он является частью грамматики, а не психологии. Он говорит нам, что мы можем делать: мы можем говорить о зеленовато-синем цвете, но не о зеленовато-красном и т.д.

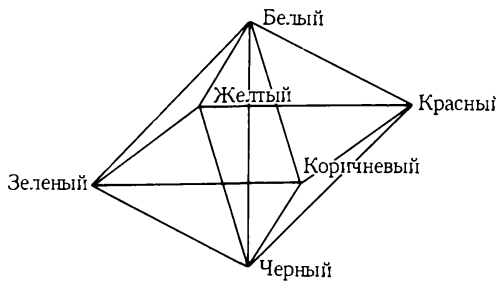


Рис. 4.

Но грамматика не является полностью делом произвольного, случайного выбора. Она должна давать нам возможность выражать многообразие фактов, предоставлять такую же степень свободы, какую предоставляют факты.

Евклидова геометрия является частью грамматики. Это конвенция о выражении и поэтому часть грамматики (Минковский считает результат эксперимента Майкельсона — Морли новой геометрией, Фитцджеральд — наоборот). Это только два выражения для одного и того же факта; мы можем выбирать любой, до тех пор пока между ними возможен разрешающий опыт.

Теперь мы можем видеть, что мы имели в виду, когда говорили, что нечто является возможным, если мы можем его себе представить. Если нечто имело место в прошлом, это не доказывает, что оно возможно теперь (хотя мы склонны так думать). Возможность заложена в самом языке.

Лекция A IV

1. Огден и Ричардс, а также Рассел считают, что отношение высказывания к факту является внешним отношением; это неверно. Это внутреннее отношение. (Внутреннее отношение не может быть другим: оно дано во включенных терминах, в природе высказывания и факта.) С точки зрения Рассела, мы нуждаемся в чем-то третьем помимо ожидания и факта, который исчерпывает ожидание; так, если я ожидаю X и X приходит, нужно что-то еще, например нечто, происходящее в моем сознании, соединяющее ожидание и его исполнение. Но откуда я знаю, что это нечто есть именно то, что нужно? Не нуждаюсь ли я, исходя из тех же посылок, в чем-то четвертом? Если так, то мы получаем бесконечный регресс, и я никогда не смогу узнать, что мои ожидания исполнятся. (Всегда можно будет требовать дальнейшего описания какого-либо данного нам критерия, что и приводит к бесконечному регрессу.)

Рассел исследует желание (ожидание) и голод так, как если бы они стояли на одном уровне. Но голод может быть утолен различными вещами, а мое желание (ожидание) может быть удовлетворено только одной определенной вещью.

2. Мы не можем сказать «Высказывание *p* возможно». Если *p* имеет смысл, то это само по себе показывает, что оно возможно. Если бы *p* было невозможно, оно вообще не было бы высказыванием. Все, что мы могли бы иметь в виду под «*p* возможно», было бы «*p* имеет смысл». Не может существовать показатель, который разграничивал бы, произошло ли то, что утверждает *p*, или могло произойти. Итак, «*p* возможно»

не является легитимным высказыванием. (Под возможностью здесь подразумевается логическая возможность.)

3. Истинные высказывания описывают реальность. Грамматика — зеркало реальности. Грамматика предоставляет нам возможность выражать истинные или ложные суждения: таким образом она говорит нам нечто о мире. То, что может быть высказано о мире посредством грамматики, не может быть высказано посредством высказывания. Так как это высказывание уже предполагало бы собственную истинность, то есть предполагало бы грамматику.

Лекция A V

1. Язык представляет мир двумя способами.

   (1) Его высказывания представляют положения вещей и являются либо истинными, либо ложными.

   (2) Но для того, чтобы высказывание было в состоянии что-либо представлять, должно быть нечто, что оставалось бы неизменным и в языке, и в реальности. Например, картина может представлять сцену правильно или неправильно: но и на картине, и на сцене, описанной на картине, будут присутствовать и цвет, и свет, и тень.

Мысль должна обладать логической формой реальности, если это вообще мысль, если она вообще претендует на то, чтобы быть мыслью.

Грамматика является выражением не того, как обстоит дело, но того, что возможно. Поэтому в некотором смысле возможность есть логическая форма.

2. Не существует логических объектов, таких, например, как «мысль», «комплекс» или «число». Подобные термины суть выражения для логических форм, а не понятий.

Грубо говоря, понятие может быть выражено как пропозициональная функция: например, f ( ) = ( ) есть человек. Но мы не можем сказать f ( ) = ( ) есть число. Подобные логические понятия являются псевдопонятиями и не

могут служить в качестве предикатов наряду с обычными понятиями. Они чаще всего выражаются при помощи переменной вместе с правилом, применяемым к ней, правилом, обеспечивающим их логическую валентность. Так, я не могу записать (∃x).x есть число или (∃x число)f.x, имея в виду, что существуют определенные переменные, к которым применяются специфические правила: псевдопонятия пишут внутри скобки, настоящие понятия — снаружи. Все соответствующие логические понятия выражаются при помощи переменной плюс грамматическое правило, применяющееся к ее употреблению.

(Если имеет смысл сказать «Существует четыре основных цвета», то также должно иметь смысл «Существует пять основных цветов»).

3. То, что, таким образом, не существует логических понятий, объясняет, почему бессмысленно производить классификации в философии и логике. В философии и логике нет «родов» вещей, терминов и так далее. В науке мы производим разграничения и классифицируем, и мы делаем это при помощи высказываний, которые истинны для одного рода вещей и ложны для другого. Именно этого мы не можем делать в логике.

Лекция A VI

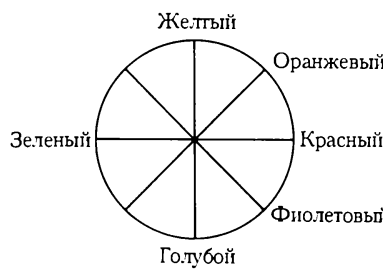


Рис. 5

1. На рис. 5 фиолетовый цвет находится между красным и синим в совершенно другом смысле, чем тот, в котором красный находится между фиолетовым и оранже-

вым. Нельзя смешивать оранжевый и фиолетовый (конечно, цвета, а не пигменты). Следовательно, было бы более правильно использовать квадрат (рис. 6). Но не существует средней точки между красным и синим (ср. с точками в геометрии, не имеющими координат).

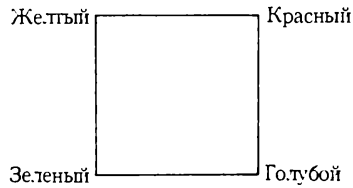


Рис. 6

И если диаграмма наводит на эту мысль, то она все еще вводит нас в заблуждение.

«Основной цвет» и «цвет» — суть псевдопонятия. Бессмысленно говорить «Красный — это цвет», а сказать «Есть четыре основных цвета» то же самое, что сказать «Есть красный, голубой, зеленый и желтый». Псевдопонятие (цвет) проводит границу *самого* языка, обычное понятие (красный) проводит границу *внутри* языка.

Лекция A VII

1. На все это можно возразить: «Но ты все время говоришь о цвете (и подобных терминах)». Ответ на это возражение состоит в том, что то, что мы делаем, — это задаем грамматические правила и конвенции, применимые к цвету и т.д. На что возможно дальнейшее возражение: «Тогда ты говоришь о «чистых конвенциях», о чистых конвенциях в том смысле, что правила шахмат или любой другой игры являются чистыми конвенциями». Грамматика, конечно, не является чистой конвенцией игры, в данном случае — языковой игры. Язык отличается от игры тем, что он приложим к реальности. Это приложение не показано в грамматике; применение знаков лежит за пределами знаков,

картина не содержит своего собственного применения. Язык соотносит себя с реальностью, рисуя ее картину, но эта соотнесенность не может быть продуктом самого языка, не может быть объяснена при помощи языка. Попробуй найти соотнесенность с реальностью в таком высказывании, как «Это зеленое». «Это» в высказывании может указывать на цвет панели, куска дерева или чего угодно. Но это нам ничего не говорит о соотнесенности зеленого цвета с реальностью. Это предполагает, что мы уже понимаем слова, означающие цвет. Кто-то может угадать наше значение, но этим мы не достигнем соотнесенности с реальностью. Напротив, мы можем сказать «Это зеленое», указав на определенным образом окрашенное пятно. Но здесь наше указание используется как знак эквивалентности. Это = зеленое. Но здесь опять-таки соотнесенность не будет достигнута, пока мы не знаем, что это за слово — «зеленое».

Конвенции уже предполагают применение языка: они не говорят о применении языка.

Грамматика в целом есть теория логических типов; а логический тип не говорит о применении языка. Рассел потерпел неудачу, пытаясь это понять.

Джонсон говорит, что различительные характеристики цветов — это способ разграничения одного от другого. Красный отличается от зеленого не тем же способом, каким красный отличается от мела. Но как ты об этом узнаешь? «Это верифицируется формально, но не экспериментально» (W.E. Jonson, *Logic*. Vol. I, p. 56). Но это же нонсенс. Это то же самое, как если бы мы могли сказать, что портрет похож на оригинал, глядя только на портрет.

Язык показывает возможность построения истинных или ложных высказываний, но не истинность или ложность какого-то определенного высказывания. Поэтому нет высказываний, истинных a priori (математические высказывания вообще не являются высказываниями).

2. *Бесконечность*

Бесконечность не является ответом на вопрос «Сколько?». Бесконечно — это не число, это бесконечная возможность языка строить высказывания. Слово «все» от-

сылает к экстенсионалу, но невозможно отсылать к бесконечному экстенсионалу. Бесконечность — свойство закона, а не экстенсионала.

Лекция A VIII

1. «Возможность» — это то, что можно выразить посредством высказывания, имеющего смысл (грамматика — это выражение того, что является возможным). «Бесконечная возможность» выразима не посредством высказывания, утверждающего эту возможность, а посредством закона построения. Бесконечная делимость выражается не посредством высказывания, утверждающего, что деление имело место, а посредством закона, дающего бесконечную возможность высказываний, утверждающих возможность дальнейшего деления (деления на определенное число, но не на бесконечное число). Высказыванию, утверждающему возможность данного числа делений, соответствует определенная реальность: не существует бесконечной возможности. Бесконечность — это не число, но свойство закона.

2. Бесконечная делимость и пространство. Утверждалось, что пространство не является бесконечно делимым. Но эксперимент не может ничего доказать относительно возможности: и показать, например, что является минимально видимой частицей пространства, не значит доказать, что пространство не является бесконечно *делимым* в принципе.

Геометрия используется в физике не в том смысле, в котором она является частью грамматики. Пространство, о котором говорит физика, является пространством в ином смысле, чем пространство в смысле визуального или тактильного пространства.

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕМЕСТР 1930 ГОДА

Лекция A IX

1. Различные смыслы понятия «обобщение» обладают общими структурными свойствами, но не качествами; они не являются специфическими различиями одного общего рода. Например, разновидности типа числа имеют общими определенные правила грамматики.

   (i) (x). fx. Значениями X будут собственные имена (собственное имя в этом смысле можно определить, сказав, что, если им заменить ε в «ε существует», то это приведет к бессмыслице). И если я пишу f*a*, f*b*, f*c*, f*d*, где *a, b, c, d* являются значениями X (например, основные цвета), то мне не нужно другого высказывания для того, чтобы сказать «И это все». Ибо если я говорю «И других цветов нет», то тогда должно также иметь смысл сказать «Существует еще один», f*a*, f*b*, f*c*, f*d* говорит мне все.

   (ii) Я встретил человека. Это не может означать дизъюнкцию — я встретил *a*, или *b*, или *c*. Дизъюнкция — это не то, что мы имеем в виду. Здесь обобщение того же типа, что и в высказывании «В этом квадрате заключен круг». Но если мы пишем это (∃ x). fx, то еще существует нечто такое, что является кругом в этом квадрате, это эквивалентно рассмотрению «круга в этом квадрате» как возможного предиката. Но предиката чего? Что такое это нечто, что является кругом в этом квадрате? Если это что-то, о чем можно с истинностью сказать, что это круг в квадрате, то должно также иметь смысл сказать, что это не круг в квадрате. Может ли это быть предикатом точки, которая является центром

круга и может быть определена при помощи координат? Тогда мы можем сказать, что есть две координаты, которые задают центр круга в этом квадрате. Но должен быть смысл в записи (– ∃ x) ~ fx («Все круги в этом квадрате»). Это была бы бесконечная тотальность, да к тому же бессмысленная.

Существует универсализм другого рода, который применим к гипотезе. Высказывание может быть верифицировано; гипотеза — не может, она является законом, или правилом, для построения высказывания, которое говорит, что произойдет, и которое может быть верифицировано или фальсифицировано.

Лекция A X

1. В грамматике не существует пробелов; грамматика всегда является полной. Это кажется парадоксальным, поэтому мы склонны полагать, что в состоянии делать открытия в математике и логике. Но неполнота может быть только внутри пространства. Существует фундаментальное различие между грамматическими «открытиями» и открытиями любого другого типа. Это различие логического плана, и оно вводит в соблазн использовать в обоих случаях одно и то же слово. Поэтому штриховая функция Шеффера не являлась открытием. Заполнив проблему в грамматике, Шеффер обнаружил новое пространство.

2. Когда мы пользуемся гипотезой, мы можем выводить одно доказательство из разных источников. Ни с высказываниями о чувственных данных, ни с высказываниями логики и математики мы этого делать не можем. В высказываниях о непосредственном опыте, а также в логике и математике не стоит вопрос о различных источниках доказательства, а в гипотезе он стоит.

3. Ты не можешь даже предвидеть того, что ты позднее докажешь при помощи определенного метода, прежде чем ты не узнаешь метода. Ты можешь думать, что человек в состоянии при помощи измерения углов треугольника достичь экспериментально или предвидеть

из своего опыта то, что он доказал позднее, а именно что сумма углов треугольника равна двум прямым углам. Но это не так: то, что он *доказывает*, — это нечто совсем другое по сравнению с тем, что он достигает или предвидит в качестве результата эксперимента.

Геометрия не изрекает пророчества, но говорит, что, если результат измерения углов треугольника дает 181°, значит, в измерении была допущена ошибка.

4. Ты не можешь искать пространство, но только вещи в пространстве. «Пространство» в этом смысле означает все, в чем ты должен быть уверен для того, чтобы быть в состоянии задать вопрос. То, что ищут в пространстве, должно полностью поддаваться описанию: описание должно быть в состоянии дать мне все, что я последовательно обнаруживаю. «Описание» не является ни в каком смысле неполным, как предполагал Рассел, разграничивая «описание» и «знакомство». Он полагал, что знакомство дает нам нечто большее, чем описание.

Логическое открытие есть нечто совершенно отличное от обнаружения чего-либо в пространстве. В случае логического открытия, если бы мы могли полностью описать то, что мы ищем, мы бы тем самым уже обладали им.

5. То, что универсальность в особых случаях приводит к бесконечности, не делает ее более сложной, чем если бы было только три или четыре таких особых случая. Истинным является то, что высказывание утверждает все, что следует из него; и в этом смысле обладание четырьмя случаями в качестве следствий равнозначно тому, что оно было бы более сложным по сравнению с обладанием тремя. Но универсальность с бесконечным числом особых случаев находится на совершенно другом логическом уровне. Она не утверждает бесконечное число высказываний. Евклидово доказательство не является бесконечно сложным. Доказательство того, что сумма углов треугольника равна 180°, является доказательством о пространстве, а не об одном определенном треугольнике. Бесконечную возможность можно всегда представить как возможность при помощи символической записи.

10 Заказ 3007

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕМЕСТР 1930 ГОДА

Лекция B I

1. Философия утратила свой ореол. Ибо мы теперь обладаем методом философствования и можем говорить об *умелых* философах. Сравним разницу между алхимией и химией; химия обладает методом, и мы можем говорить об искусных химиках. Но однажды метод приходит к тому, что возможности для выражения личности существенно ограничиваются. Ограничивать такие возможности — тенденция нашей эпохи. Это характерно для эпохи упадка культуры или ее отсутствия. Великий человек должен быть не менее великим в такой период, но философия сейчас превращается в простое ремесло, и нимб с головы философа исчезает.

Что такое философия? Исследование сущности мира? Хотим ли мы окончательного ответа или только некоторого описания мира независимо от того, можно ли его верифицировать? Мы, конечно, можем дать описание мира, включающее его физические состояния, и открыть законы, управляющие им. Но при этом мы упустим слишком многое; например, мы упустим математику.

Что мы фактически делаем, это приводим в порядок наши понятия, вносим ясность в то, что *может* быть сказано о мире. У нас в голове путаница относительно того, что *может* быть сказано, и мы пытаемся прояснить эту путаницу.

Эта деятельность по прояснению и есть философия. Мы будем потому следовать инстинкту прояснения и оставим наш первоначальный вопрос: «Что такое философия?» Мы начнем со смутного интеллектуального беспо-

койства, подобно тому как ребенок спрашивает: «Почему?» Вопрос ребенка — это не вопрос зрелого человека. Он скорее выражает озадаченность, смущение, чем требование четкой информации. Итак, философы спрашивают «Почему?» и «Что?», не понимая ясно, что, собственно, они хотят узнать. Они выражают чувство интеллектуального беспокойства.

Голос инстинкта всегда *некоторым образом* прав, но он еще не обучен выражать себя точно.

2. Что такое высказывание?

Высказывание — основной элемент нашего описания мира. Что такое высказывание? «Предложения между двумя полными паузами» или «Выражения, которые могут быть истинными или ложными»? Но понятия «истинно» и «ложно» в данном случае излишни. Так, я могу ответить на высказывание «Идет дождь» — «Истинно». Но я могу также сказать «*Действительно*, идет дождь». Повторение утверждения может означать «Истинно».

Любое утверждение может быть опровергнуто: если имеет смысл сказать *p*, но также имеет смысл сказать *не p*. Если ты говоришь «Электрические лампы горят», в то время как они не горят, то тот факт, что сказанное тобой ложно, не имеет значения. Но когда бы ты ни сказал «Воркалось, хливкие шорьки...», это высказывание не будет иметь значения.

Поэтому высказывание можно определить как такое выражение, которое может быть подвергнуто осмысленному отрицанию.

3. Но что это такое — иметь смысл и значение? Вероятно, можно сказать, что высказывание имеет смысл, если слова, составляющие его, имеют значение. Но как слова приобретают значение?

   (i) Посредством определения. Например, оранжевый — желтовато-красный. Но здесь мы должны определить, что *значит* «желтоватый» и «красный».

   (ii) Понимание их посредством вызывания у людей определенных состояний, например при помощи наркотиков.

   (iii) Путем остенсивного определения. Но здесь все, что мы делаем, — это добавляем нечто к символи-

ческой записи. Остенсивное определение не освобождает нас от символизма. Оно не является конечным и может быть понято неправильно. Все, что мы можем сделать, давая остенсивное определение, — это поменять местами одно множество символов на другое. Результатом является высказывание, которое может быть истинным или ложным. Объяснение значения символа само дается при помощи символов. Что существенно при объяснении символов — это понимание того, что символ накладывается на значение. Способ, посредством которого мы действительно обучаемся значению символа, выпадает из нашего будущего понимания символа.

4. Возьмем в качестве примера слово, обозначающее цвет, — *зеленый*. История того, как мы приходим к тому, что оно значит, несущественна. Остается наше понимание. Если бы мы объяснили кому-либо, кто ничего не знает о цвете, не прибегая к остенсивному определению того, что оранжевый означает желтовато-красный, то он должен был бы запомнить эту фразу с тем, чтобы понимать ее значение в будущем. Слово «зеленый» может вызывать у нас по памяти ассоциацию с образом зеленого. Но запомнившийся образ — это не значение зеленого. Запомнившийся образ настолько же удален от зеленого цвета, как и слово. Это все еще символ, он не приводит нас к контакту с реальностью. Чтобы достичь реальности, мы должны быть в состоянии сравнить образ с реальностью, с реальным пятном зеленого цвета. Возможность для сравнения должна быть нам предоставлена, даже если бы не существовало ни одного зеленого объекта.

5. Можно сказать: «Высказывание — это выражение мысли». Выражение не нуждается в словах. Мы можем заменить слово схемой. А мысль может быть желанием или приказом. Истина и ложь тогда будут соответствовать подчинению или неподчинению приказу. Мышление означает оперирование со схемами. Мысль — не то же самое, что схема, потому что мысль не нуждается в переводе, а схема нуждается.

Схема (без ее интерпретации) корреспондирует с определенным предложением, переводящим ее в высказывание. Высказывание — суждение — одно и то же, за исключением того, что высказывание является «типом», в котором суждение (высказанное в определенном месте определенным человеком в определенное время) высказывается: ср. с числом экземпляров схемы или фотографии. Как мы узнаем, что кто-то понял схему или приказ? Он может показать свое понимание только посредством перевода его в другие символы, он может понять приказ и не повиноваться ему. Но если он повинуется, он все равно производит операцию перевода, то есть соотносит свои действия с определенными символами. Итак, понимание на самом деле — это перевод в другие символы либо в действие.

Мы не можем достичь интерпретации схемы; правила интерпретации схемы не являются частью схемы.

В науке ты можешь сравнить то, что ты делаешь, скажем, с постройкой дома. Сначала ты должен заложить твердый фундамент. Заложив его однажды, ты больше не можешь его трогать или сдвигать с места. В философии мы не закладываем фундамент, а приводим в порядок комнату, в процессе чего мы должны все трогать по многу раз.

Единственный путь заниматься философией — это трогать все по два раза.

Лекция В II

1. Надежды, страхи, сомнения — все это формы мысли. Положим, я жду кого-то вечером и он опаздывает на час. Является ли то, что он опоздал, одной мыслью, над которой я размышляю на протяжении всего часа, или это последовательность мыслей? Протекает ли мысль за более короткое время, чем ее выражение? (Слова — грубые инструменты.) Является ли мысль чем-то, возникающим мгновенно, или это продолжительный процесс? Мысль — это символический процесс, и он длится так же долго, как и его выражение.

Рассмотрим пример с пищеварением. Мы можем рассматривать его

а) как процесс, характерный для человеческого организма;

б) как химический процесс, совершенно независимо от того, что он происходит в желудке.

Сходным образом мы рассматриваем мышление. Но любой физиологический процесс, включающий в себя мышление, нас не интересует. Мысль — это символический процесс, а мышление — это интерпретация схемы. Не имеет значения, где этот процесс происходит, на бумаге или на доске. Он может включать в себя образы, и тогда мы думаем, так сказать, «в уме». Это сравнение «внутреннего» и «наружного» пагубно. Оно происходит из понятия «в голове», когда мы думаем о себе как о смотрящих вовне и думаем, что нечто происходит «в наших головах». Но потом мы забываем эту картину и продолжаем употреблять язык, производный от нее. Сходным образом человеческий дух изображался вначале как дыхание, затем картина была забыта, но язык, производный от нее, сохранился.

Мы можем спокойно пользоваться таким языком только в том случае, если мы осознанно помним картину, когда пользуемся ею.

Мысль — это символический процесс.

Совершенно неважно, где именно происходит этот процесс для обеспечения того, чтобы он имел место.

2. Возможно ли более непосредственное общение при помощи «чтения мыслей»? Что мы понимаем под чтением мыслей? Язык не является направленным методом общения по контрасту с ненаправленным чтением мыслей. Чтение мыслей могло бы иметь место только посредством интерпретации символов и тем самым оставалось бы на том же уровне, что и язык. Это не привело бы к освобождению от символического процесса. Идея о том, что чтение мыслей является чем-то более непосредственным, производна от идеи, что мысль — это скрытый процесс и цель философа — проникнуть в него. Но не существует другого непосредственного пути прочтения мысли, как только при помощи языка. Мысль не является чем-то скрытым. Она лежит

открытой перед нами. То, что мы открываем в философии, тривиально. Она не учит нас новым фактам, только наука делает это. Но самый обзор этих трюизмов чрезвычайно сложен и важен. На самом деле философия и есть обзор трюизмов.

3. Схема допускает различные объяснения. Что значит понять схему? Это значит быть способным осуществить ее и подчиниться ей. Что значит, я *могу* осуществить ее? Если я говорю, что могу поднять тяжесть, единственный способ проверить это — попытаться поднять ее. «Могу» здесь является гипотезой. Но существует другой смысл у слова «могу», когда не может быть сомнения, когда я говорю, что я могу подчиниться приказу или что я могу сделать что-либо: это — я могу; даже если впоследствии обнаружится, что я ошибаюсь (если все-таки обнаружится, что я *не могу* прочитать стихотворение наизусть, хотя говорил, что *могу*).

4. Разграничение между (i) знаком и (ii) символом.

   (i) Знак — это написанное начертание или звук. Мы издаем звук, придаем начертанию, закорючке — слову значение, с которым оно употребляется в высказывании, имеющем смысл.

   (ii) Все, что необходимо для знака, чтобы он стал символом, само является частью символа. Эти соглашения являются внутренними для символа и не соотносят его с чем бы то ни было. Объяснение делает символ полным, но не выходит (так сказать) за его рамки. Знак может быть бессмысленным, символ — не может.

Если мы слышим слова «Я устал», не видя говорящего, они значат меньше, чем если бы мы видели его движущиеся губы и слышали, как он говорит эту фразу. Итак, движение губ является частью символа, и слова «Я устал», написанные на доске, являются неполным символом. Все, что придает знаку значимость, является частью символа.

В любой ассоциативной теории значения, в которой говорится, что значение состоит в припоминании чего-то в уме, образы, которые припоминаются, сами суть часть

символизма; ассоциация есть часть символизма и работает внутри него. Слова — это не просто припоминания.

Когда мы объясняем значение знака посредством указания, мы делаем символ полным. Мы задаем дальнейшие условия, необходимые для понимания символа, которые сами принадлежат символу. Объяснение дает нам нечто, что дополняет символ, но не заменяет его, символ остается с нами.

Для того чтобы символ имел значение, необязательно, чтобы запомнилось конкретное событие его объяснения. На самом деле, можно вспомнить событие, но утерять значение. Кто-то может запомнить, что значение «оранжевый» было ему объяснено, но не запомнить, что это за цвет. Образ потерялся, и мы не можем понять, что означает слово. Сходным образом я могу встретить Смита и впоследствии его узнавать. Но я могу его запомнить лишь как человека, которого я встретил в комнате X, то есть я могу запомнить событие, при котором было объяснено значение знака Смит, но быть не в состоянии узнать Смита, то есть не знать значение знака.

Критерий объяснения состоит в том, используется ли объясненный смысл соответствующим образом в будущем. И все то, что с необходимостью дает символу значение или смысл, является частью символа (ср. 4 (ii) выше).

5. Что происходит, если человек заменяет один символ другим и все знаки при этом меняются? Как мы теперь обнаружим связь между ними? Если знак *A* в новом символизме имеет то же значение, то *B* — в старом, то, значит, *A* поменялось местами с *B*. Но откуда мы знаем, что *A* стоит на том же месте в новом символизме, на котором *B* стояло в старом? Значение слова — его место в символизме, а его место определяется тем способом, при помощи которого оно употреблено в новом символизме. Можно заменить «зеленый» абракадаброй, во всем остальном оставив язык неизменным. И обнаружить его значения, определив способы, при помощи которых оно употребляется. И часто можно угадать значение незнакомого слова, стоящего в высказывании, где значение всех остальных слов известно. Структура символизма должна быть такой, чтобы символы в ней не могли быть заменены один на другой без изменения геометрии символизма. Поскольку

значение является частью любого символа, каждый символ должен иметь свое определенное место. Символы с различными значениями должны занимать асимметричные позиции.

Не существует такого понятия, как ничего не значащий символ. Давая значение знаку, я не переступаю пределов символа, но делаю его полным.

Лекция В III

1. Один французский политик однажды сказал, что французский язык — самый совершенный, потому что во французском предложении слова следуют в строгом соответствии с мыслью. Здесь обычной является идея, что существует как будто две серии — серия мыслей (идей, образов) и серия слов с некоторыми отношениями между ними. Дальнейшая ошибка заключается в том, что полагают, будто «продумывание высказывания» состоит в продумывании его термов в определенном порядке. Высказывание — это механизм, а не конгломерат частей. Части должны быть соединены определенным способом, как в мотоцикле, который не просто коробка, полная разрозненных частей. Мы думаем при помощи знаков: думать мысль — это думать о высказывании, в котором она проявляется. Знак не является причиной нашего мышления, и то, что является его причиной, не является частью нашего мышления, в то время как слова являются его частью.

Символ — это все, что является существенным в значимости знака: ср. определение I в Лекции В II 4 выше. Когда мы объясняем значение знака, мы описываем символ, а не выходим за его пределы. Значение — часть символа. Если мы объясняем знак при помощи остенсивного определения, мы проясняем значение символа.

2. Мы задаемся вопросом: «Что означает отрицание? Как может слово «не» выражать или объяснять отрицание?» Слово «не» — род сигнала, оно говорит: «Отрицаю». Но сигнал нуждается в объяснении. Должно быть какое-то соглашение о его использовании.

Красный свет не является сам по себе приказом водителю остановиться; он должен быть объяснен ему в системе языка. Если слово «не» говорит: «Отрицаю это», то его использование этим способом может быть объяснено или не объяснено. Если оно может быть объяснено, то объяснение будет в словах, и объяснение заканчивается, когда оно достигает наибольшей степени эксплицитности. Значение «не» может быть выражено только в правилах, приложенных к его употреблению. Высказывание может быть значимым только в системе высказываний. Если человек понимает приказ, выраженный в AB на рис. 7, он также должен понимать приказ, выраженный в AC.

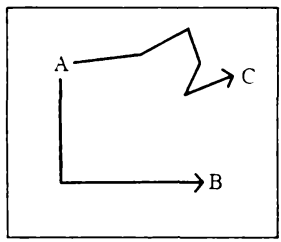


Рис. 7

3. Но делает ли это символизм самодостаточным? Не скажем ли мы скорее, что сущность символизма выходит за его рамки? Нам кажется, что, если бы высказывание не было просто самим собой, но выходило бы за свои рамки, оно содержало бы нечто вроде тени своего выполнения, которая не являлась бы ни самим высказыванием, ни его выполнением, но чем-то средним (например, мое ожидание того, что м-р Смит войдет в комнату, кажется, *предвещает* его приход). Если вы отдали приказ, его не обязательно выполняют, но не отбрасывает ли он тень своего выполнения? Например, я говорю кому-то пойти к Мэтью купить апельсинов. Кажется, что смысл высказывания/приказа в противоположность предложению, выражающему его, был тенью, вставшей между высказыванием/приказом и его исполнением.

Что же это за тень? Если приказ «Пойди к Мэтью и купи апельсинов» содержит тень своего исполнения, то тень не является самим исполнением, но чем-то «сходным» с ним. В определенном смысле мы можем сказать: «Мы ищем эту тень прежде всего в ожидании». Если я ожидаю м-ра Смита, мое ожидание содержит нечто сходное с м-ром Смитом, если я ожидаю увидеть красное пятно, мое ожидание не может содержать само красное пятно, но только нечто похожее на него. Но ожидать чего-то «похожего» — значит уже ожидать чего-то другого. «Похожий» элемент, тень, в ожидании отличается от исполнения. Стоя рядом с тенью, ты не находишься *ближе* к исполнению.

Действительно, выражение «похож на» уже использовалось в языке. Как же мы можем сказать: «Это похоже на то, чего я ожидал»? Но если это точно то, что я ожидал, как оно может быть похоже на него? Предполагаемая тень не может быть похожей на что-либо, пока того, на что она может быть похожа, не существует; употребление слова «похожий» предполагает, что две вещи уже до этого сравнивались. Наши символы никогда не могут содержать в себе своего собственного правила проекции или интерпретации, а быть похожим — значит быть проекцией на что-либо. Объяснение сходством не проходит, потому что никто не может объяснить сходства до тех пор, пока вещи, которые сравниваются, не будут уже там. Внутреннее отношение не может быть там до тех пор, пока там не будут оба его термина.

Предположим, ты говоришь кому-то: «Ты знаешь алфавит?» Он отвечает: «Да». Ты спрашиваешь: «А ты уверен?» Он пробегает в уме алфавит и говорит: «Да, я уверен», хотя он и не повторял его вслух. Это пробегание в уме и есть «тень», о которой мы говорим. Но тень и говорение вслух — это разные вещи. Откуда ты знаешь, что то, что он говорит вслух, похоже на то, что проносится у него в голове, на то, что он представляет себе? Сходство появляется только тогда, когда он говорит вслух. Было ли оно до того, как он начал говорить? Конечно, нет. Все, что мы можем сказать, — это то, что он спроецировал воображаемый алфавит на «реальный», или произнесенный, алфавит.

4. В таком контексте узнавание — это не то слово, которое можно было бы употребить. Сущность узнавания в том, что должен быть какой-то другой тест, чем про-

сто узнавание, и если память — это единственный тест, то ты не можешь говорить об узнавании в истинном смысле.

«Это именно то, что ты себе представлял?» «Да, я его узнаю». Но откуда ты знаешь, что узнаешь его? Возникает вопрос того же рода, что и «Откуда ты знаешь, что другой человек видит то же самое, что и ты?». Для решения этого вопроса не существует критерия, а о том, где нет критерия, мы говорить не можем. Там, где есть критерий, какой-то ответ возможен.

То же самое содержится в вопросе «В чем различие между портретом и картиной?». Что делает эту картину портретом м-ра Смита? Сходство с м-ром Смитом? Нет. Критерий портрета — не сходство, потому что есть хорошие и плохие портреты. В портрете предполагается наличие особого рода сходства, что делает портрет портретом в интенции. Как ты можешь объяснить интенцию? Что бы ни добавлялось к портрету, никогда не сделаешь намерение более ясным, потому что всегда могут потребоваться дальнейшие интерпретации. Правила проекции выражаются в проектировании, правила интенции — в акте намерения. Внутренние отношения между вещами существуют только тогда, когда обе вещи, связанные этим отношением, имеют место. Ты не можешь предвидеть результат того, что ты проектируешь.

Лекция В IV

1. Любое объяснение символа не может ничего сделать, кроме того, чтобы быть добавленным к символу. Наше понимание символа состоит в том, что он выходит за свои пределы к некой теневой сущности, стоящей между символом и фактом, к тени своего исполнения, которая предназначена для посредничества между символом и фактом. Какого рода объектом должна быть эта тень? «Она похожа на исполнение». Это объяснение, как мы видели, не проходит. Интерпретировать тень или нечто подобное, стоящее между символом, или высказыванием, и фактом, не получится, пока мы не будем обладать другой тенью, которая служила бы посредником между первой тенью и фактом;

мы получаем в этом случае бесконечный регресс, мы не подходим ближе к разрешению проблемы. Как сходство не объясняет тени, так не объясняет оно и отношения тени к факту.

Отчасти ошибка состоит в том, что мы путаем слово и высказывание. Эта путаница проходит через всю философию. Если мы говорим «Альфа, бета», то это не предполагает существования целого алфавита. Сходным образом, когда мы произносим словосочетание «зубная боль», это не означает, что у кого-то болят зубы, до тех пор пока оно не появится в высказывании.

2. Возвращаясь к «тени» и «сходству», зададимся вопросом: «На что должно быть похоже объяснение ожидания того, что выражено в высказывании *p*?» Ответом было бы описание факта, который является исполнением ожидания. Но это было уже дано в высказывании *p*. Может ли что-либо значимое быть добавлено к содержанию ожидания, уже выраженного в *p*? (Мы, конечно, имеем дело не с тем, что являлось причиной ожидания.) Нет. Ничего не может быть добавлено. Мы, конечно, можем проанализировать *p*, но этот анализ даст нам то же самое, что *p*. Единственное описание содержания ожидания есть его выражение в *p*. Что-либо, что можно добавить к этому или что может модифицировать содержание ожидания, должно модифицировать и его выражение. То, чего ты хочешь или ожидаешь сейчас, не является предметом будущего опыта, ибо твое желание или ожидание может никогда не исполниться. Если я хочу яблоко, а потом обнаруживаю, что на самом деле я хотел банан, то означает ли это, что мое желание было неверным? Какого рода «сходства» мы ищем в ожидании? Если кто-то ожидает зеленое пятно на доске, то в ожидании должна быть «зеленая» составляющая, и сходство ожидания с исполнением показывается тем фактом, что оба они выражены в языке одними и теми же словами, а не посредством какого-либо дальнейшего высказывания.

3. Вместо того, чтобы сказать, что высказывание должно быть похоже на факт, осуществляющий его, нас могут спросить, как факт совпадает с ожиданием и vice versa. Возьмем в качестве иллюстрации цилиндр, сов-

падающий с цилиндрической формой. Тогда выражение их совпадения состоит в том, что описание внутренней и внешней поверхностей имеет общее уравнение, которое задается их очертанием. Ожидание и факт встречаются, и что интересно, так это то, что они имеют общего; все остальное не существенно.

Другая иллюстрация — кто-то шьет, руками или на машине. Вопрос тогда в том, что должно делать движение рук, чтобы производить стежки определенного рода (и чем должен быть наш ментальный процесс для того, чтобы мы делали то, что мы делаем?)? Мы можем, конечно, объяснить механизм движения мускулов (или машины), то есть дать физическое объяснение. Но нас это не интересует, если мы хотим дать логическое объяснение. Ибо что мы можем сделать без пальцев, кончика иглы и даже нитки и ее свойств; если мы не пользуемся машиной, нам не интересен ее механизм. Что нам интересно, так это геометрия процесса шитья. Делая такой-то и такой-то стежок, нужно при этом поступать так-то и так-то. Объяснение того, на что похож процесс шитья, содержится в форме нити в полотне. Что существенно, это то, что именно стежок и процесс (ожидание и факт) имеют общего.

4. Язык может выразить один метод проекции в противоположность другому. Нельзя выразить то, что могло бы быть другим. Мы никогда не достигнем фундаментальных высказываний на протяжении наших исследований; мы достигаем границы языка, которая останавливает нас, когда мы начинаем задавать дальнейшие вопросы. Мы не достигнем дна вещей, но достигнем точки, начиная с которой мы не сможем продолжать дальше, не сможем задавать дальнейших вопросов. Мы не отказываем себе в этом, хотя могли бы видеть, что были не правы, задавая вопросы. То, что существенно для мира, не может быть *сказано* в мире, ибо тогда оно было бы другим и, как любое высказывание, могло бы подвергаться отрицанию. Наша трудность состоит в том, что наш интеллектуальный дискомфорт не пройдет до тех пор, пока все, что у нас есть, — это обзор различных трюизмов. Если недостает хотя бы какой-то одной обязательной вещи, мы все равно чувствуем, что что-то не так.

Лекция В V

1. Если бы, объясняя событие в физике, мы объясняли его, описывая другое событие. Мысль есть событие, и в психологии мы можем дать сходное объяснение мысли, описывая другие мысли. Если мы говорим, что в философии мы хотим не *объяснять* мысли, а *анализировать* их, это тоже завело бы в тупик. Когда мы занимаемся анализом в науке, мы описываем некоторые дальнейшие события. В химии мы анализируем воду и обнаруживаем, что ее химический состав H_2O, мы обнаруживаем нечто новое, связанное с водой. Анализировать здесь означает находить нечто новое. Но это не то, что мы подразумеваем под анализом в философии. В философии мы уже знаем все, что хотим знать; философский анализ не дает каких-то новых фактов. Не результаты науки интересны философам, а ее методы. Философский анализ не говорит нам чего-либо нового о мысли (а если и говорит, то нам это неинтересно).

2. Какие бы необходимые соглашения я ни ввел для исполнения ожидания, они должны быть добавлены в выражение ожидания, и выражение — единственное, что интересует нас как философов.

Мы стремимся сказать, что ожидаем чего-то; но наше ожидание было бы корректно выразить в *высказывании*.

Мы приходим к путанице и подменяем высказывание «Я ожидаю м-ра Смита» именем и, таким образом, приходим к идее, что то, чего мы ожидаем, — это *вещь*. Любое выражение, которыми пропитан наш язык, подобное этому, имеет в качестве источника глубоко укоренившуюся пагубную путаницу. Мы путаем имя, или слово, или значение слова («красное») с высказыванием, в котором слово употребляется («Это — красное»), слово само по себе не предполагает никакого знания о мире, высказывание говорит нечто о мире, что может быть опровергнуто.

3. То, что выражение и исполнение имеют общего, *показано* посредством употребления того же выражения для описания того, что мы ожидаем, и его исполнения (в обоих случаях употребляется слово «красное»), но выражение «иметь общим» само запутанно. «Иметь

общим красное» (например) обычно означает «Оба предмета красные», а это не то, что мы имеем в виду. Этот общий элемент в ожидании и исполнении не может быть описан или выражен в каком-либо высказывании.

Мы бы могли разграничивать между обладанием общим свойством и обладанием общей составляющей и сказать, что мы имеем в виду последнее. В этом случае два употребления должны быть совершенно различны и второе должно быть грамматическим правилом о символах. Ибо общая составляющая не может быть просто словом, звуком или стежком; это не только звук «красное» или очертания слова. Если мы говорим, что ожидание и исполнение имеют общую составляющую, то мы делаем грамматическое утверждение.

4. Что оправдывает нас в употреблении какого-то определенного слова? Предположим, я говорю: «Это платье черное». Слово «черное» в каком-то смысле произвольно, вместо него можно было бы поставить другой звук или росчерк. И корреляция между словом «черное» и определенным объектом сама по себе произвольна и не имеет последствий. Но если сказанное имеет смысл, то мы должны обязать себя употреблять слова в этом смысле, и это не вопрос ассоциации, она вообще не может заставить язык работать.

При употреблении языка существенно то, что я связываю себя правилом употребления. Слово обладает значением только в грамматической системе, и его характеризует тот способ, при помощи которого оно употребляется. Мы можем понять схему только в ее соотнесенности с системой, в которой она появляется; ср. карту лондонского метро, на которой станции показаны в правильном порядке, но при этом так, как будто они расположены по прямой линии.

5. Метод проекции должен заключаться в процессе проектирования; процесс представления достигает того, что он представляет, посредством правила проекции. Если я копирую что-либо, то мои промахи компенсируются моей досадой и сожалением и т.д. по отношению к ним. Общий результат — то есть копия *плюс*

намерение — является эквивалентом оригинала. Действительный результат — лишь видимая копия — не представляет весь процесс копирования, мы должны включать в него намерение. *Процесс* содержит правило; одного *результата* не достаточно для описания процесса.

Мы понимаем символ (копию или карту метро) как часть системы, а система описывается ее грамматикой (а не дальнейшими высказываниями).

Лекция B VI

1. То, что есть «общего» между мыслью и реальностью, должно быть уже выражено в выражении мысли. Ты не можешь выразить это общее в дальнейшем высказывании, и бесполезно даже пытаться делать это. «Гармония» между мыслью и реальностью, о которой философы говорят как о «фундаментальной», есть нечто, о чем мы не можем говорить, и поэтому вообще не является гармонией в обычном смысле до тех пор, пока мы не можем описать ее. То, что делает возможным для нас правильно судить о мире, также делает возможным и судить о нем неправильно.

2. Как может обладание общим словом быть выражением чего бы то ни было? (Под словом мы подразумеваем не только звук или росчерк, но все, что делает слово символом.) Символ не может быть символом сам по себе; то, что делает его символом, принадлежит системе символов. Высказывание не является высказыванием, пока оно не проявится в рамках грамматической системы. Если я употребляю символ, я должен связать себя; это не просто произвольная корреляция звуков и фактов. Если я говорю, что это — зеленое, то я должен сказать, что другие зеленые предметы тоже являются зелеными. Я связан будущими употреблениями.

3. Если я копирую что-либо, я должен следовать правилу копирования, должен предполагать наличие некоторого метода проекции (опять-таки я связываю себя). Если есть какой-либо критерий для решения того, явля-

ется копия правильной или нет, то необходимо также предположить наличие правила копирования; иначе мы вообще не можем говорить о копиях. Правило управляет моим поведением, когда я делаю копию, и без этого связь между копией и оригиналом невозможна.

4. В музыкальной партитуре нотная запись является ясной картографией тех звуков, которые должны быть сыграны. Нотная запись является картиной движения моих рук по клавиатуре. Что такое диезы и бемоли? Это сигналы в точном смысле слова. Язык состоит из сигналов. Сигнал должен быть объяснен, и объяснение должно давать нечто, что дополняет сигнал. «Исторический» факт того, что объяснение имело место, не важен; важно то, что дается в объяснении. Даже если мы забываем объяснение, сигнал может заставить нас остановиться и задаться вопросом, что, собственно, он означает; мы можем вспомнить, что видели его раньше, но не то, в чем состоит объяснение. Если мы в будущем поймем сигнал, то самого объяснения вполне достаточно; и если есть такие особенности сигнала, которые нельзя объяснить, то они несущественны. Но объяснение должно быть дано в языке, то есть в символах. Это все, что у нас есть для наших целей (что-либо другое было бы мистическим).

5. Ноты, диезы и бемоли в музыкальной нотации не обозначают одним и тем же способом. Знаки, будучи сигналами, должны быть объяснены. Способ, при помощи которого мы объясняем их, — это способ, которым мы объясняем цвета. Мы нуждаемся в добавлении к слову «зеленый» чего-то еще. Мы можем забыть объяснение, данное нам, и слово, звук «зеленый» сам по себе не поможет тебе найти горшок с зеленой краской. Слово «зеленый» (подобно сигналу) должно быть соединено при помощи объяснения с символом другого языка, например языка памяти. Но пока что мы пользуемся обыкновенным языком (даже если уже и не *словами*).

6. Где бы ни проявлялось непонимание, мы должны взывать к объяснению. Но высказывание, в котором выражено объяснение, не является чем-то другим по сравнению с самим объяснением, даже если оно не мо-

жет быть полностью написано или произнесено. Объяснение только добавляется к символу, который после этого должен становиться самодостаточным. Если ты не понимаешь высказывание, у тебя нет ничего, что бы помогло тебе, кроме самого высказывания. Мы не нуждаемся в том, чтобы переводить его, но наше понимание его управляет нами. Объяснение высказывания — это своего рода определение, которое замещает одно множество символов другим.

Лекция В VII

1. Тот факт, что разные высказывания имеют общие слова, не может ничего выразить до тех пор, пока слова произвольны. До тех пор пока слово произвольно, оно не может ничего выразить; какая польза была бы от простого сопоставления звуков и фактов? Корреляция имеет значение только в том случае, если мы при помощи ее обязуем себя использовать звуки впредь одним и тем же способом. Корреляция должна иметь последствия, и язык должен быть по отношению к этому достаточно жестким.

2. Должно стать возможным быть ведомым языком. Каким образом? Так же, как мы ведомы значками музыкальной партитуры. Нас ведет расположение значков, и если бы значок стоял бы в другом месте, я играл бы по-другому.

Откуда ты знаешь, что ты сделаешь, если значок будет на другом месте?

(1) Не из опыта. Это знание не есть нечто верифицируемое последующим опытом. Я должен быть в состоянии знать это теперь.

(2) Не то же ли это самое, когда тебя ведет механически. Пианола может играть неправильно, но мы не можем быть уверены, что она не будет играть неправильно. И нет ничего в самой машине, что может быть правильным или неправильным. Она может играть так, как она играет.

Но мы привыкли смотреть на машину как на символ общего правила; мы видим за ней *намерение*, способ, при помощи которого она *должна* работать.

Почему быть ведомым какими-то закорючками значит следовать общему правилу? Это правило не содержится ни в результате исполнения, ни в результате плюс партитуре (так как партитура может приспособить *любое* исполнение к *некоторым* правилам). Общее правило содержится только в намерении исполнять партитуру. Описание акта исполнения никоим образом не будет содержать описания партитуры («Он пытался играть в соответствии с этой партитурой»). Мы *видим* правило в соответствии исполнителя партитуре.

3. Что значит «содержится»?
   Серия 1, 4, 9, 16 может быть интерпретирована в соответствии с общим правилом, но без общего правила, записанного ниже (например, x/x^2). Общее правило содержится во всех единичных случаях и поэтому не может быть выделено, общий член серии (x/x^2) не выделяет общего правила, ибо мы могли бы продолжить, задав вопрос: «Как применяется общий член?» Общий член может быть понят, только если мы увидим, как он употребляется. Если я вижу общее правило, я вижу его в единичном случае, и когда я интерпретирую общий член, я делаю то же самое, что я делаю, когда я интерпретирую тот или иной отдельный случай. Отдельный случай содержит общее правило, но не объяснение правила. Правило — это то, что делает символизм непроизвольным. Мы не можем верифицировать его опытным путем, но он содержится в нашем намерении. Общее правило — это стандарт, в терминах которого мы судим о том, что мы делаем, в независимости от того, правильно ли мы играем партитуру или неправильно; и если исполнитель на самом деле не читает партитуру, это совершенно несущественно.

4. Вещи похожи друг на друга лишь с отсылкой к правилу проекции. Последнее часто затемняется тем фактом, что мы обычно используем только одно правило, как в портрете, который должен быть похож на оригинал. Но движение транспорта подобно красному,

желтому и зеленому цветам уличной сигнализации. Выбор цветов произволен; но, выбрав их один раз, мы становимся связаны ими. Правило интерпретации ограничивает возможности значимого символизма. Оно обеспечивает одни возможности и не обеспечивает других. В последнем случае эти другие возможности лишены значения, пока мы не обеспечим для них новое правило (мы могли бы добавить знак к нашей партитуре, который бы означал «исполнять дважды как можно громче»). Правила символизма дают определенную степень свободы, выражающуюся в правилах ее грамматики, которая говорит нам, какие комбинации разрешены, а какие не разрешены. Объяснение усиливается разнообразием системы, разграничивая возможные интерпретации. Понимание символизма соотносится с объяснением, а объяснение снимает непонимание. Когда дано правильное разграничение, никакие дальнейшие объяснения нежелательны и невозможны.

Густав БЕРГМАН

БЛЕСК И НИЩЕТА ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА[1]

«Логико-философский трактат» появился в 1921 году, «Философские исследования» — посмертно в 1953 году. Витгенштейн останется в нашей памяти благодаря двум этим книгам. Контраст между ними разителен. В точки зрения автора, и не только его, вторая опровергает первую. Как считают эпигоны, блеск его — во второй. Первую, хотя осторожно и почтительно, они считают относительной неудачей. Я не думаю, что блеск Витгенштейна — в «Трактате», нищета же — в «Исследованиях». Трудно представить себе большее различие во взглядах. Тем не менее, я согласен с эпигонами в том, что между обеими книгами в самом деле существует теснейшая связь. Во второй я вижу продиктованную отчаянием реакцию на относительный неуспех первой.

В таком случае, если я прав, «Трактат» — это блестящий провал. Но я также убежден, что это — первоклассное достижение. Здесь нет ничего парадоксального. Никто из его предшественников не достигал большего. Никто из нас и наших последователей не сделает лучше. Фундаментальные метафизические проблемы слишком трудны, чтобы было иначе. К счастью, число их невелико. Второстепенных также не столь уж много, хотя и побольше. Хорошие философы потому не поднимают много вопросов. Скорее, они сами движимы несколькими, которые формулируют обстоятельнее всех и исследуют глубже всех в направле-

---

[1]Gustav Bergman. Glory and misery of Ludwig Wittgenstein // Bergman G. Logic and Reality. L., 1969. — *Пер. М.Дзюбенко.*

нии к вопросам фундаментальным. Лишь несколько великих из числа хороших могут переформулировать философские проблемы на свой лад. Такая проблема всегда состоит из ряда диалектически связанных вопросов. Переформулировать их — значит или открыть новую связь внутри этого ряда, или, в самом лучшем случае, повлиять на эти связи еще решительнее, открыв новый вопрос, долженствующий быть добавленным к этому ряду. Новый вопрос предполагает и требует новых ответов. Блестящие неудачи случались тогда, когда было известно, как задать новый вопрос, но не находилось нового ответа.

Витгенштейн на протяжении всей своей философской жизни был одержим двумя фундаментальными проблемами. Какова природа логической истины? Это первое. Какова природа сознания? Это второе. Обе проблемы повлияли на обе книги. Первая преобладает в «Трактате», вторая — в «Исследованиях». Относительно первой он задал совершенно новый вопрос, пройдя часть пути к новому ответу. Относительно второй он в основном заблуждался, придавая старому банальному ответу черты кажущегося правдоподобия.

(1) Не существует никаких философских утверждений. Те, что считаются таковыми, не истинны и не ложны, но бессмысленны. (2) Увидеть эту бессмыслицу нам мешает язык. (3) Чтобы разрушить эту иллюзию, или, употребляя знаменитую фразу, показать мухе путь из бутылки, надо прямо обратиться к невыразимому, которое язык показывает, но не может высказать. Такова витгенштейновская концепция философствования: (1) утверждает его нигилизм, (2) содержит основу для поворота к языку, (3) носит черты терапевтического подхода. (1) и (3) я отвергаю. Философские высказывания существуют. И не существует ничего невыразимого. Настойчивость Витгенштейна в обращении к языку, более решительном и глубоком, чем у Рассела, составляет вторую часть его успеха. Но осуществил он его неправильно, по-геростратовски. Это делает (2) его блестящим провалом, который, поскольку наши вопросы, как и наши ответы, зависят от нашей концепции философствования, сделал два других, столь же блестящих, сколь и жалких, неизбежными. Так что теперь я попробую осуществить правильное обращение к языку.

(1) Слова употребляются или в обыденном смысле, или философски. Высказывание, в котором по крайней мере одно слово употребляется философски, есть философское высказывание (пропозиция). Философские употребления как таковые непонятны. Но они могут и должны стать понятными путем их толкования (экспликации), т.е. их разъяснения с точки зрения здравого смысла. Истолкованное таким образом философское высказывание говорит о мире нечто истинное или ложное, смотря по ситуации. (2) Всякий системно организованный язык *показывает* некоторые вещи, не могущие быть выраженными в нем без избыточности. Однако эти вещи далеки от того, чтобы быть невыразительными, они могут и для определенных целей должны быть выражены разговором о языке и о том, о чем он говорит. (1) и (2) сообща суть сущность правильного обращения к языку. В специальном смысле они одинаково фундаментальны. С общей точки зрения (1) — сердцевина проблемы. Поэтому отложу (2) и сначала прокомментирую (1).

Высказывание «Существуют не тела, а только души» является образцом классического философского высказывания. Другой образец: «Существуют не души, а только тела». «Существуют не характеры, а только индивидуальности» — образец третий. Если все слова употребляются в обыденном смысле, такие высказывания вовсе не бессмысленны. Скорее, они явно и вопиюще ложны — настолько явно и вопиюще, что только сумасшедший взялся бы отстаивать их. Тем не менее каждое из них отстаивал какой-нибудь философ. Согласно Витгенштейну, эти люди или тщетно пытались выразить невыразимое, или, запутав себя и других, выдавали за суждение о мире то, что в лучшем случае относится к нашему методу использования языка. Я думаю, эти люди часто очень верно указывали на некоторые повсеместные, или, как говорят, категориальные, свойства мира. Я только настаиваю на том, что об этих свойствах можно и нужно говорить в обыденном смысле.

В классической онтологии преобладает несколько онтологических значений слов «существовать» и «существование». Поскольку сердцевина фундаментальных проблем онтологична, далее я продемонстрирую толкования двух таких значений.

(а) *Нечто существует, будучи мне явленным.* Эта формула объясняет значение. В данном случае «существовать» и «иметь онтологический статус» — одно и то же. Так обстоит дело с точки зрения здравого смысла. Тем не менее полезны некоторые примечания. *Первое.* Нечто может существовать, не будучи явленным. В обращенном виде эта формула не принадлежит здравому смыслу. *Второе.* Восприятие — один вид представления. Прямое знание — другой. Превращают ли оба вида эту формулу в трюизм, каким она и должна быть, если служит своей цели? На этом вопросе покоится грузное тело диалектики. Для моей сегодняшней задачи ответ неважен. *Третье.* В предложении типа «За углом есть кофейня» существование представлено словом «есть». Существование (а) или онтологический статус всегда могут быть выражены таким образом. Но мы также говорим с точки зрения здравого смысла, что между 4 и 6 есть простое число. Готовы ли мы тогда к тому, чтобы придать таким сущностям, как числа, некий онтологический статус? Витгенштейн, как мы увидим, не готов. Я же — напротив. Метод использования слова «сущность», которым я сейчас воспользовался, онтологически нейтрален. С этим нейтральным словом будет удобно работать.

(б) *То, что существует, просто.* Эта формула объясняет другое философское значение слова «существовать» — при условии, что мы понимаем очень специальное, хотя и с учетом здравого смысла, употребление слова «простой». В соответствии с этим сущность проста, если единственным путем прямого отношения к ней в любом языке является ее именование. *Имя* в этом очень специальном смысле также называется этикеткой. Это передает мысль о том, что имя может быть приложено только к тому, что явлено. Но за этим также — и мысль о том, что этикетка как таковая не говорит нам о предмете, к которому она прикреплена, ничего, кроме того, что он существует (а). Это, однако, как мы увидим, не совсем верно в отношении языковых этикеток, или имен. В системно построенных языках имя, конечно, является простейшим описательным знаком. Заметьте, что верна и равнозначная формулировка: «Нечто существует (б) в том и только том случае, если, при условии его явленности, оно может быть наименовано. Заметьте также, что

сущность, которая не могла бы быть наименована, или, точнее, как мы вскоре увидим, сущность, которая не могла бы быть наименована без избыточности, может, однако, быть явлена и даже представлена в языке чем-то, что не является именем. Такая сущность будет существовать (а), не существуя (б).

Так называемые сентенциозные тавтологии являются знакомыми образцами логически истинных утверждений. Какова структура таких высказываний? Мы готовы к первой фундаментальной проблеме Витгенштейна. Обдумывая ее, он открыл новый вопрос, составивший его славу. Как может любое предложение независимо от того, выражает оно логическую истину или нет, выражать то, что оно выражает? Внешне этот новый вопрос чрезмерно лингвистичен в явно дурном смысле слова. По существу же он указывает на онтологическую сердцевину проблемы. Более того, слава того, кто первым задал этот вопрос, велика, хотя его ответ и был неверен. Отнесемся к письменному предложению как к самостоятельному факту. Этот (языковой) факт соотносится с тем, что он выражает «логическую форму». Так первому удается выражать последнее. Фраза «логическая форма» используется философски и, к сожалению, остается неистолкованной. Поэтому мы не удивляемся, когда нам также говорят, что «логическая форма» невыразима и просто обнаруживает себя. Существует естественный и, скорее всего, незамеченный переход от невыразимости к не-бытию, или, что равнозначно, к отсутствию онтологического статуса, к не-существованию (а). Этот вид перехода я называю словесным мостом. На свой вопрос Витгенштейн отвечал следующим образом. Истина является логической в том и только том случае, если предложение, ее выражающее, истинно лишь на основании своей «логической формы». Но затем нам также заявляется, что предложение, выражающее тавтологию (логическую истину), в действительности не говорит ни о чем и, следовательно, на самом деле предложением не является. Это подкрепляет мое убеждение в том, что Витгенштейн непреднамеренно перешел этот мост. Так или иначе, его ответ не обнаруживает онтологического статуса того, что, говоря философски, он называет «логической формой». Это — роко-

вая ошибка. Правильный ответ, напротив, решительно обнаруживает онтологический статус (существование (а)) того, что я называю *мировой формой*. И, конечно, он дает объяснение такому значению «формы». Заметьте для дальнейшего употребления, что я опускаю прилагательное «логический», говоря взамен о мировой форме.

Таков костяк моих доводов. Наращивая на них некоторую плоть, я сначала сформулирую правильный ответ. Но, конечно, едва ли надо говорить, что без блистательного провала Витгенштейна не было бы и сегодняшнего правильного ответа.

Если мне покажут зеленое пятно, я, естественно, скажу: «Это — зеленое». Ограничивая себя истинными предложениями, мы просто избежим проблем, которые, будучи важны сами по себе, в данном случае могут быть избегнуты. То, что выражает (указательное) предложение, — это факт. В нашем примере факт — это зеленый цвет пятна. Назовем его Ф, а предложение — П. Ф и П каждое по-своему просты, насколько это возможно для факта или предложения, хотя, конечно, не просты ни тот, ни другое (б). Далее, если П истинно, должно быть нечто, делающее его истинным. Или, как говорят, истинность П должна быть обоснована онтологически. В этом первом шаге идеалисты и реалисты сходятся. Единственное различие между ними в том, что для реалиста обоснование не зависит от сознания, которому явлен Ф, тогда как для идеалиста Ф зависит от или, точнее, является результатом деятельности, сознания. Но тогда есть ли в мире идеалиста онтологический статус у сознания и его деятельности?

П, таким образом, истинно потому, что выражает Ф, а Ф существует (а). Следовательно, если мы хотим знать, как П удается выражать Ф, нам первым делом надо понять, что должно быть выражено. Другими словами, нам надо начать с онтологического анализа.

Я полагаю, что существуют индивидуальности (особи) и характеры (свойства), причем все первые и некоторые из последних просты (б). Называя и то и другое *вещами*, я также полагаю, что, сталкиваясь с Ф, я сталкиваюсь с двумя вещами: особью, именуемой «это», простым свойством, именуемым «зеленое». Следовательно, мой анализ Ф дает *по меньшей мере* два элемента. Отсю-

да два вопроса. (1) Является ли анализ полным? Говоря определеннее, мог ли он быть полным или он должен дать что-то еще? (2) Корректен ли он до сего момента? (2) может быть спорным; (1), по моему мнению, нет. Дело в том, что все мое рассуждение основано на (1).

Элементы объединяются в комплексы. Например, Ф при любом анализе, какой я только могу придумать, является комплексом. Теперь возьмем два пятна: одно — зеленое и квадратное, другое — синее и круглое. Если мой анализ до сих пор был корректен, налицо 6 вещей, «связанных» в два комплекса. Вы уже видите более серьезную проблему. Должно быть «нечто», связывающее какие угодно элементы (или, в нашем случае, вещи, если бы не было никаких элементов) в комплексы. И это «нечто» должно быть явлено. Поскольку в противном случае как я мог бы узнать, что, скажем, зеленое сочетается с квадратным, но не с голубым или круглым? Отсюда следует, что должны существовать связки, имеющие онтологический статус и связывающие элементы в комплексы. Тогда могут спросить, что присоединяет эти связки к элементам? Здесь есть только две возможности. Парадоксальным образом одна — это бесконечное обращение, которое Брэдли выбрал в качестве пути к монизму. Второе решение принадлежит мне. Существуют *фундаментальные связ(к)и*, я также называю их *нексус*, которые связывают, не будучи сами привязанными к тому, что они связывают.

Нексус, связывающий особь и свойство в факт, я называю *экземплификацией*. Из этого следует, что онтологический анализ выявляет по меньшей мере три составляющих: два элемента и одну экземплификацию. Обратите внимание, что фундаментальная связка — это не отношение. Например, в сложном высказывании: «Это громче, чем то», — 3 элемента: «это», «то» и относительное качество «громче, чем», — соединенных (относительной) экземплификацией.

Дальнейшее исследование, которое я сейчас не имею возможности воспроизводить, показывает, что полный анализ Ф выявляет еще две не-вещи: частность (индивидуальность) и универсальность. Сталкиваясь с частным, я также сталкиваюсь с частностью. В противном случае как бы я узнал, что это — то самое? То же и со свойствами. Раз я говорю «форма», эти три не-вещи: экземплификация, ча-

стность и универсальность — суть составные части мировой формы. Раз я говорю «существовать», их специфическим онтологическим статусом является *существование.*

Согласен ли Витгенштейн с тем, что только что было сказано? В «Трактате» очень много афоризмов, которые, кажется, делают абсолютно ясным, что он тоже анализирует Ф таким образом, что «это» и «зеленое» в П обозначают два элемента Ф. Я говорю «кажется», потому что там много и таких афоризмов, как 3.1432, о которых недавно много писалось и которые невозможно согласовать с упомянутыми выше. В отношении номинализма — реализма, к которому и сводится вся проблема, «Трактат» полон путаницы. Я думаю, исторически это связано с огромным влиянием на его автора идей Фреге. Насчет экземплификации обратимся к 2.03: «В атомарном факте объекты связаны друг с другом подобно звеньям цепи». Это как раз то, чего с ними нет[1]. В противном случае не было бы никакой нужды в нексусе. Замечательно ясный образ не оставляет сомнений в том, что Витгенштейн абсолютно не прав, делая экземплификацию частью той «логической формы», которая есть «ничто».

Как П может выражать Ф? В системно построенном языке П становится «Га», то есть, по существу, сопоставлением двух разнопорядковых обозначений (прописного и строчного). «а» поименовывает или обозначает особь; ее образ представляет, не называя, особенность именуемой вещи. То же с «Г». Имена, таким образом, суть не просто этикетки. Их образы, будучи геометрическими фигурами, представляют, не называя, онтологические категории. Экземплификация в конечном счете представлена, хотя опять же не названа, относительной геометрической фигурой соположения. П — это геометрический факт. Между определенными геометрическими признаками П, с одной стороны, и составляющими Ф существует однозначное соответствие, именуемое изоморфизмом. Понимать язык — зна-

---

[1]Или, если вам угодно сформулировать так, вещи *независимы*. Философские значения слова «независимый» являются решающими. Формулировка «существует только то, что независимо» на самом деле включает несколько философских значений слова «существовать». Э.Б.Эллэр (*Philosophical Studies*, 69, 1960, с.485 — 496) очень остроумно разграничил четыре релевантных общеязыковых значения «независимости». Я, если не ошибаюсь, установил пятое.

чит знать правила этого изоморфизма. Иначе говоря, П может выражать Ф посредством этого изоморфизма. Таков мой ответ. Сопоставим его с витгенштейновским.

П выражает Ф посредством особой «логической формы», которая невыразима. Таков его ответ. Изоморфизм, упомянутый у меня, каков угодно — только не невыразим. Именно это я подчеркивал, говоря о Ф и П с точки зрения здравого смысла. И вот этот изоморфизм — единственное толкование, какое я могу придумать для витгенштейновского философского употребления «логической формы». Это толкование делает его ответ доступным для понимания. Довольно неожиданно оно же превращает его в неверный. Показать это несложно. Допустим, что в П оба знака суть особи. Тогда геометрический факт П имеет пять элементов (составляющих), являющихся вещами, а именно два знака, два геометрических признака-образа, относительную геометрическую фигуру соположения и вдобавок — две частности, три универсальности, три экземплификации. Итого 13. Ф, как мы помним, имеет всего 5 элементов. И, конечно, между 5 и 13 нет никакого однозначного соответствия. Таковы горькие плоды лишенного экспликации философского словоупотребления.

Онтологическая дистанция между, скажем, частным и частностью огромна. Витгенштейн преодолевает ее без всякого усилия. Для него частное существует; частность же, будучи частью «логической формы», есть ничто. Для меня то и другое схоже в том, что имеет онтологический статус (так же как и в том, что существует). Разница же просто в том, что в созданном мной языке частное наименовано, тогда как частность представлена иначе, образом имени. Этого еще не достаточно, чтобы закрепить огромную дистанцию. Я достигну этого, когда покажу, что сущности *не* могут быть поименованы *без избыточности*. Возьмите частность. Попробуем дать ей имя. Если это вещь, тогда это, конечно (простая), фигура. Назовем эту мнимую фигуру «Иа». Тогда предложение «Иа» оказывается решающим. Дело в том, что оно утверждает то, что утверждает, а именно что а — частность только потому, что образы а и их соположение «И» представляют соответственно частность, универсальность и экземплификацию, не называя их. Это показывает, что я имею в виду, говоря, что вводить «И» излишне.

При желании последнее рассуждение можно представить следующим образом. Бытие а в виде частности *показано* в языке образом его имени; но невозможно без избыточности *сказать* на этом языке, что это — одно и то же. Вспомните теперь вторую часть правильного подхода к языку: «Каждый системно организованный язык показывает некоторые вещи, которые без избыточности не могут быть выражены им». Высказав это в первый раз, я отложил комментарий. Теперь это понятно без дальнейших комментариев. Из знаменитого тезиса Витгенштейна о невыразимости мы взяли все, что можно. Остальное — бессмыслица не потому, что это — метафизика, а потому, что это — плохая метафизика.

Конечно, к мировой форме относится гораздо больше, чем это представлено в П, так же как существует гораздо больше фактов, чем это может быть выражено в простых предположениях, подобных П. Мы бросили на эту проблему лишь беглый взгляд. И конечно, не можем задерживаться на этом. Так что я рискну высказать следующую мысль. Философия — это диалектическая структура, покоящаяся на феноменологическом основании. То, что нам явлено, есть предмет феноменологии. Если бы известные сущности не были нам явлены, мы бы не знали того, что знаем с точки зрения здравого смысла, например, что это — красное, то — зеленое, это левее того и т.д. Такова способность диалектики. То, что должно быть явлено нам, должно также быть представлено в нашем языке, иначе оно не смогло бы выражать то, что выражает. Так в поле зрения может быть введен язык. Далее мы готовы к языковому повороту. Выражение «онтологический статус» употребляется философски. Я объясняю такое употребление формулой: «То, что должно быть означено, имеет онтологический статус». Это, однако, лишь начало. Содержимое мира неоднородно. Даже наш беглый взгляд говорит о том, что разные вещи представлены весьма различно, т.е. в описанном случае, — весьма различными геометрическими свойствами языка. Точнее, именно так я объясняю традиционную философскую терминологию. В обоснование вышеизложенного возражения сказано уже достаточно. Правильный ответ на новый вопрос Витгенштейна и является ключом к новой онтологии.

Мы готовы к исходному вопросу. Что такое логическая истина? Это — ничто. Так же, как предложение, ее выражающее, предложением не является. Таков вкратце ответ Витгенштейна. Я же отвечаю, что она — факт мировой формы и что предложение, ее выражающее, подобно прочим, кроме того, является конечным, что его истинность зависит от тех геометрических признаков, которые представляют элементы мировой формы. Чтобы различие между двумя ответами не показалось незначительным, позвольте мне указать на два вывода, представляющиеся существенными.

1. Связь между философскими значениями слов «логический» и «необходимый» очень тесна. «Логическая истина есть необходимая истина, и наоборот». Всем известно это классическое высказывание. Частично именно поэтому я избегаю слова «логический» там, где могу, говоря о формальной истине (вместо логической истины) и мировой форме (вместо логической формы). Философское значение «необходимости» в этой классической пропозиции я объясняю в том смысле, что истина необходима тогда и только тогда, когда она формальна. Это превращает пропозицию в тавтологию. С таким взглядом Витгенштейн спорит. По его мнению, формальные истины нашего мира суть формальные истины всех возможных миров. Замените «формальную истину» на «логическую форму», и вы увидите словесный мостик. «Логическая форма» — ничто; а ничто как таковое одинаково во всех возможных мирах. Но что же тогда делать с выражением «все возможные миры»? Понятно, что оно употребляется философски. Следовательно, оно должно быть как-то истолковано. Мне в голову приходят два толкования. Одно из них превращает высказывание в тавтологию: «Каждый мир, имеющий такую же форму, что и наш, имеет такую же форму, что и наш». При другом толковании высказывание утверждает, что любой мир *должен* иметь такую же форму, что и наш. Этого *«должен»* я просто не понимаю. Если логическое должно быть приравнено к необходимому в некотором невыражаемом и невыразимом смысле этого последнего слова, тогда, простите за каламбур, в логике нет ничего логического. В специальном же

смысле и при толковании, не превращающем его в банальность, тезис Витгенштейна о том, что логика нашего мира есть также логика всех возможных миров, просто неверен. Сейчас мне не стоит углубляться в тонкости. Но я могу указать вам еще на один мостик, который он переходил в этом, как и во многих других случаях, на протяжении всей своей работы. Он ведет от «возможного» к «мыслимому». Таков его психологизм. Он включает в действие то, что, будучи тем, что имеется в виду, должно быть признаком *интенции* действия. В историческом плане Витгенштейн наследовал эту роковую ошибку у Канта.

2. Существует класс истин (Кант назвал их априорно синтетическими), которые явно не имеют формального характера. Знакомый пример: «Ничто не является (прежде всего в одно и то же время) и красным, и зеленым». Многие философы пытались закрепить за этими истинами особый статус, объединив их с формальными истинами. Этот соблазн был силен и у Витгенштейна на протяжении всей его философской жизни. (Б этом также сказывается влияние Канта.) В «Трактате» он удовлетворяет его заявлением о том, что предложения, выражающие эти истины, верны, подобно тавтологиям, лишь в силу своей «логической формы». Это расходится с весьма многочисленными афоризмами, согласно которым только тавтологии могут быть верными благодаря своей «логической форме». В «Трактате» есть один-единственный афоризм (6.3751), ясно показывающий, что сам Витгенштейн пребывал в затруднении. В короткой статье 1929 года, единственной, кроме «Трактата», публикации на протяжении всей его жизни, он вернулся к этому вопросу — и, увы, вновь безрезультатно. Эта неудовлетворенность вполне могла стать одной из главных интеллектуальных причин его окончательного отречения от «Трактата»[1].

---

[1]Э.Б.Эллэр очень убедительно оспорил эту точку зрения в первой из двух недавно опубликованных коротких, но очень весомых статей о Витгенштейне (*Analysis*, 19, 1959, p.100 — 105 и 21, 1960, p.14 — 16. Для меня невозможно переоценить значение наших частых споров на протяжении последних лет.

Данный стул является коричневым — это физический факт. Вода кипит при нагревании — еще один факт. Осознание вами того, что стул коричневый, — это ментальный факт. Такой же характер носит мой вопрос о том, не слишком ли затянулся наш разговор, а также припоминание кем-то чего-либо и т.д. Здравый смысл знает, что существуют и физические, и психические факты, или, короче, — и сознания, и тела. Восприятие чего-либо, припоминание чего-либо, размышление о чем-либо являются психическими фактами, принадлежащими к разряду поступков. Есть и другие, но мы легко можем пренебречь ими. Фундаментальной задачей является онтологический анализ действия. Эта задача Витгенштейну не далась. Его решение заключалось в отрицании ее. Анализировать нечего; сознаний нет. Такая неудача уже предчувствуется в «Трактате». По существу «Исследования» материалистичны. Материализм абсурден. От этого неудача кажется еще более жалкой. Мы поймем ее лучше, если я начну с решения задачи.

То, что некто воспринимает, воспринимая что-либо, знает, зная что-либо, и т.д., есть *интенция* действия. Воспринимать что-либо, знать эту вещь, помнить ее суть различные действия с одинаковой интенцией. То, чем они различаются, я называю *видами* действия. Таким образом, действия могут различаться видами и интенциями. Действия, конечно, ментальны, интенции же либо физичны, либо ментальны. То, что мы воспринимаем, физично; это часть того, что значит слово «восприятие». Ни одна вещь не является одновременно и физической, и психической. Следовательно, в восприятии действия и его интенции нет ни одной общей вещи. (Я говорю «ни одной вещи», а не «ничего», потому что мировая форма всепроникающа и не физична, не ментальна.) Это, кстати, верно для всех действий. Но сегодня мы остановимся на восприятии, где различие действия и интенции, если на то пошло, еще более очевидно.

Перцептуальный комплекс состоит из трех элементов: 1) действия, 2) интенции, 3) тела, т.е. значимых физических фактов о теле воспринимающего. Слово «комплекс» я намеренно использую для напоминания о том, что, если здесь — комплекс, то его составляющие должны быть связаны друг с другом. Чтобы три элемента образовали

комплекс, необходимы по меньшей мере две связи, но возможны и три. (2) и (3) физичны. (2) порождает (3). Эта связь исследуется учеными. Связь между (1) и (3) — это связь между сознанием и телом. Ее я считаю *параллелизмом*. Третья связь, назовем ее *интенциональной*, соединяет (1) и (2), действие и его интенцию. Ее сущность — сердцевина проблемы.

Не надо путать интенциональную связь со связью «сознание — тело». Воспринимая ландшафт, я воспринимаю ландшафт, а не те значимые факты, которые он вызывает в моем теле. Поскольку ландшафт причинно-следственно связан с телом, а тело, наоборот, параллельно связано с сознанием, то, даже если здесь и нет интенциональной связи, все равно образуется комплекс. Иначе говоря, можно попытаться заменить прямую интенциональную связь цепочкой из двух звеньев, одно из которых — каузальное, а второе обладает свойством параллелизма. Но это не сработает по двум веским причинам. (а) Я воспринимаю квадратную башню как круглую. В более драматической ситуации я просто галлюцинирую. В первом случае отмеченный физический факт отличен от интенции. Во втором — нет. (б) Некоторые предложения составлены из других. Язык называется истинностно-функциональным, или экстенсиональным, в том и только том случае, если значение истинности сложного предложения зависит только от значений истинности его частей. Рассмотрим сложное предложение: «Смит думает, что Цезарь был убит». Допустим, оно истинно. Заменив истинную часть: «Цезарь был убит» — на столь же истинное: «Муж Кальпурнии был убит», — получим: «Смит думает, что муж Кальпурнии был убит». Пока Смит не узнает, что Цезарь был мужем Кальпурнии, новое предложение останется ложным. С другими видами действий дело обстоит так же, как с верой. Утверждения, выражающие интенциональную связь, не экстенсиональны. С другой стороны, каузальная связь так же, как и параллельная, может быть выражена на экстенсиональном языке. Это же, следовательно, относится и к двухзвеньевой цепи. Следовательно, интенциональная связь — это прямая связь между действием и интенцией. Какова в таком случае ее сущность? Прежде чем я отвечу, необходимо ввести еще одно понятие. Но прежде заметьте глубокую

приверженность автора «Трактата» тезису о том, что на экстенсиональном языке можно выразить все.

Ни одна из трех составляющих перцептуального комплекса не является простой. Следовательно, они также должны быть подвергнуты анализу с онтологической точки зрения. Решающим, конечно, является анализ самого действия. В традиции преобладает представление, которое формулируется так: «Сознание может знать только то, что заложено в нем». Все зависит от того, что значит «в». Традиция мыслит сознание как особого рода индивид, именуемый сущностью, с тем, что ему принадлежат его качества, и только они. То, что сознание знает, принадлежит ему, как принадлежат цветку его цвет или форма. Это образует то, что я называю разновидностью случая экземплификации или того, что в этих онтологических системах близко ей. Беда в том, что во всех них, кроме, быть может, аристотелевско-томистской, интенциональная связь не может быть объяснена. Например, в случае с восприятием интенция сама является сущностью с атрибутами. *А как сущность может быть атрибутом другой сущности?* Это глубочайший корень диалектики, гораздо более глубокий, чем сравнительно поверхностный и скептический, заключающийся в развитии от Декарта до идеализма. Если все обстоит так, то я готов к ответу.

Действие — это индивид, экземплифицирующий два простых свойства. Он не является сущностью — в моей онтологической системе их вообще нет, — он кратковременен и пуст, так сказать — голый индивид. Один из двух атрибутов — вид. Другой я назову здесь *мыслью.* Интенциональная связь существует между мыслью и интенцией. Когда мы говорим, например, что мысль о том, что Петр высок, *означает*, что Петр высок, то слово «означает» представляет эту связь. Я говорю «представляет», а не «называет» и также говорю о *значащей связи,* потому что она является нексусом и как таковая принадлежит мировой форме. Так же, кстати, обстоит дело с каузальной и параллельной связями. Однако они входят в форму мира иначе, чем наша связь, без участия сознания. В этом смысле интенциональность — сущность сознания.

Как данный анализ объясняет такие случаи, как неверное мнение, фантазии и т.д., в которых вещь S, пред-

полагаемая мыслью 'S', не существует (а)? Или, иначе говоря, если «S» ложно, как может быть истинно выражение «'S' означает S»? Этого не могло бы быть, если бы значимый нексус был отношением. Но поскольку он является частью мировой формы, тут нет проблем. Чтобы получить некоторое представление об этой идее, рассмотрим выражение «S или не-S», где нексусом является «или». Или S, или не-S не существует (а). Тем не менее «S или не-S» и выражает истину мировой формы. То же относится и к «'S' значит S».

Теперь обратимся к афоризму 5.542 «Трактата». «*A* полагает, что *p*», «*A* верит, что *p*» и т.д. — все это значит не более и не менее, как: «Предложение «*p*» значит *p*». Такова суть этого афоризма. Здесь, как и везде, предложение для Витгенштейна — физический факт. Заменяя предложение мыслью, он тем самым заменяет физический факт фактом сознания. Это решающий шаг к материализму. Абстрактная мысль на самом деле, как говорят, преимущественно вербальна. Однако при правильном понимании это просто означает, что такая мысль в значительной степени состоит из понимания слов и предложений! Витгенштейновское «говорит», если оно вообще что-то значит, заменяет мое «значит». Если так обстоит дело даже с заменой предложения мыслью то, «с *p* значит *p*» более не является экстенсиональным. Никак не является. Предложение «*p*» «*значит*» *p* только благодаря «логической форме», которая невыразима. Следовательно, «*p*' значит *p*» в действительности не является предложением. Единственное, что делает все это для меня осмысленным, — то, что интенциональный нексус на самом деле — часть мировой формы. Для Витгенштейна быть частью «логической формы» не значит ничего. Поэтому поступок и его интенция снова существуют врозь. Из этой ситуации есть два выхода: идеализм и материализм. Гуссерль выбрал первый, Витгенштейн — второй.

Самое время обратить внимание на неясность в употреблении слова «выражать». Предложение как таковое не «выражает» ничего. Мы с его помощью выражаем мысль. Это возможно благодаря изоморфизму между определенными геометрическими признаками предложения и тем, что он «выражает». Неясность, будучи неоговоренной, ведет к недоразумениям в философии сознания.

Вне же ее она не причиняет никакого вреда. Поэтому я и позволил ей существовать вплоть до настоящего момента.

Материалисты заменяют философию наукой. Или принимают последнее за первое. Поздний Витгенштейн — не исключение. Неудивительно, что у него, столь озабоченного на протяжении всей своей карьеры языком, ключевой наукой остается психология и социология языка или, если угодно, коммуникации. Не то чтобы «Исследования» были традиционной научной книгой. Это преимущественно собрание комментариев. Некоторые очень глубоки; другие более или менее очевидны; остальные — это стандартная кабинетная психология в стандартном бихевиористском стиле. Подспудно, и не только подспудно, в них всегда присутствует попытка убедить нас — может быть, точнее сказать, «убедить себя»? — что вся философия — сплошь ошибка. Тем не менее автор «Исследований» был глубоким философом. Поэтому там и тут наталкиваешься на глубокие философские прозрения. Полет мухи увлекает.

Предположим ситуацию, при которой один человек пытается обучить другого своему языку, но при этом разговор между ними невозможен. Чтобы обучить словам, обозначающим цвет, он может использовать цветовые таблицы и т.д. То же самое относится и к словам, касающимся сознания, но с двумя отличиями. В одних случаях среди сигналов, подаваемых учителем и воспринимаемых учеником, более всего заметны физические аспекты поведения (я формулирую это так, потому что указание — тоже поведение). В других ученик не сможет учиться, пока из опыта осознания своей ментальности и своего тела не узнает, какие их состояния обычно связаны друг с другом. Для методологического бихевиоризма характерен тот важный трюизм, что языку можно учиться и учить в основном таким образом. А метафизический бихевиоризм — это материализм. Первый имеет смысл, второй — нет. Переход от первого ко второму ошибочен. Витгенштейн периода «Исследований» совершает его. Или почти совершает. Там и тут искаженные оценки выдают беспокойство в сознании и внутреннюю борьбу.

Как учитель узнает о том, что урок выучен? Когда ученик начинает правильно использовать слова, своим поведением показывая, что он знает их значения. В этом

суть формулы, перед которой раболепствуют эпигоны Витгенштейна: (1) значение — это употребление. Слово «значение» само по себе, конечно, имеет много употреблений. Использование же его в «Трактате» может быть кратко выражено двумя формулами: (2) значение — это референция и (3) значение предложения — это метод его верификации. Оба перехода, от (2) и (3) к (1), связаны с философскими проблемами. Если бы Витгенштейн мог решить эти проблемы или, что практически равнозначно, мог провести необходимые диалектические разграничения, он бы не совершил этих переходов.

Возьмем индивида и его имя. Из (2) следует, что первое есть значение последнего. Представьте, что вы находитесь в комнате только с двумя людьми; один — ваш друг, другого вы никогда не видели. И вот в этом «контексте» ваш друг, осуществляя референцию или нет, говорит: «Это — Питер». Благодаря контексту вы понимаете, что он говорит. В следующий раз, встретив Питера, вы узнаете его. Но узнаете только благодаря сочетанию отличительных признаков, которое он собой являет. Мы не распознаем индивидов как таковых независимо от того, используете ли вы слово «индивид» так же, как я, или настолько узко, что индивидами оказываются только представления и тому подобное. С этим связана важнейшая философская проблема. Гораздо менее важно, что из этого следует, во-первых, что коммуникация зависит от контекста и, во-вторых, что, если бы схема знаков и шумов, не основанная на контексте, содержала бы имена индивидов, мы не смогли бы с ее помощью общаться. (В этом суть непомерно раздутых споров об «идеальных языках».) Эпигоны Витгенштейна, убежденные в несуществовании имен, находятся перед опасностью убедить себя в несуществовании вещей, долженствующих быть наименованными. Есть, дескать, только язык. Следовательно, несмотря на материалистическую замену слов мыслями, идеалистическая структура ясно ощутима во многом из того, что они говорят.

Значение предложения ясно только тогда, когда известно, куда взглянуть, чтобы понять, истинно оно или ложно. А если можешь взглянуть, то надо исследовать то, что видишь. Только тогда на самом деле можно принять решение. Говоря от противного, предложение бессмысленно и

вообще не является предложением, пока оно в этом смысле не может быть «редуцировано» к тому, что может быть изучено. Такова вкратце суть (3). Слово «изучать» (inspect), которое я использую преднамеренно, имеет две коннотации. С одной из них связана фундаментальная философская проблема. «Изучение» (inspection) может обозначать публичный осмотр, то есть не только мною, но и другими. С учетом этого оттенка, поскольку мы явно не можем изучить сознания друг друга, (3) явно ведет к философскому бихевиоризму. Для того чтобы иметь смысл, утверждения о сознаниях должны быть построены как утверждения о телах. Что касается другой коннотации, то изучать можно только то, что может быть проверено и перепроверено. Но проверять и перепроверять можно только то, что остается более или менее неизменным. В этом смысле индивиды сознания не могут буквально быть проверены — не в силу их закрытого, личного (private) характера, а в силу их мимолетности. Однако есть замена. В рамках кажущегося единым момента сознание часто колеблется между знанием и знанием об этом знании. Допустим, произошло три таких колебания. Тогда налицо шесть знаний, две группы по три, каждая из которых вполне однородна. Это — замена. Продолженная диалектически, она приводит к фундаментальным проблемам времени и тождества. Относительно всех других проблем замена работает. Я полагаю, Витгенштейн не начинал как материалист. Но мне представляется, что он в духе феноменологов всегда представлял факты сознания как чувственные данные или что-то наподобие чувственных данных, всегда совершенно пропуская сам поступок. Ощущение, конечно, является знанием. Но знание о знании — это всегда поступок. Следовательно, если бы не было поступков, не существовало бы даже замены, проверки вещей сознания. В этом, я думаю, фундаментальная (structural) причина той тайной близости феноменологии и материализма, что заставляет иных колебаться между ними. Нельзя в этой связи не вспомнить о Расселе.

Вспомните, наконец, мучительную неудовлетворенность в отношении априорных синтетических суждений. Формула о том, что значение есть употребление, предлагает ложный выход. Всякий, кто знает правила использования языка, знает, что высказывание: «Это одновремен-

но и красное, и зеленое» — попирает эти правила. Или, как это сейчас сформулировано, ничто, являющееся одновременно красным и зеленым, не есть часть значения слов «красный» и «зеленый». Иначе говоря, «Ничто не является одновременно красным и зеленым» истинно не потому, что мир таков, каков он есть, но потому, что мы так используем язык. Я только задам два вопроса. Каждое ли истинное (общее) предложение истинно в силу встречающихся в нем значений слов? Если нет, где и как проведете вы демаркационную линию? На второй вопрос ответа нет. На первый вопрос можно пытаться ответить, допуская или даже настаивая на том, что значение слова меняется тогда, когда мы находим, где истина и где ложь в том, что оно собой представляет. Существует, конечно, *некое* значение «значения», для которого это верно. Если бы, однако, это было *данное* значение «значения», при котором, прежде чем мы могли бы даже задать вопрос об истинности/ложности, требовалось бы сначала знать, что предложение означает, тогда бы мы никогда не узнали, истинно ли любое отдельное высказывание, содержащее некое слово, не зная вначале всей совокупности высказываний, данное слово содержащих и при этом истинных. Холистическая и идеалистическая структура такого учения безошибочна. Конечный предмет всех утверждений — это Абсолют. Джон Дьюи, другой фундаментальный (structural) идеалист, предложил по существу то же учение о значении. Его Абсолют — это социопсихологический процесс исследования. Абсолютом эпигонов Витгенштейна является язык.

Витгенштейн — философ первоклассный. Поэтому мы должны изучать его работы ради него самого. Но мы также можем и должны соотносить их с работами равных ему, особенно если это его современники. До сих пор это столетие видело четырех первоклассных философов. Три других — Гуссерль, Дж.Э.Мур и Рассел. Мур, к которому я чувствую особую привязанность, был серым кардиналом. О его вкладе говорят или очень много, или, чаще, ничего. Сегодня я не скажу ничего. Достижения Рассела также легко узнать. Они, будучи огромными, все лежат в области логики в самом узком смысле этого слова. Если бы меня попросили назвать четыре из них, я бы отметил анализ отношений, теорию типов, анализ определенных

дескрипций и логизацию арифметики. Если бы из этих четырех меня попросили выбрать одно, имеющее наиболее философское значение, я бы без колебаний указал на первое. В действительности, до Рассела отношений не понимал никто. Витгенштейн многому научился у Рассела и Мура. Тем не менее наиболее интересным представляется его столкновение с Гуссерлем.

Мир моей онтологии, или, выражаясь короче, мой мир, структурирован. Все структурирующие его сущности обладают онтологическим статусом. Иначе бы не было никакой структуры. Никакой структуры и никакого мира — это, возможно, не вполне одно и то же. Но даже если разница и есть, то небольшая. Между сущностями, поддерживающими структуру, проходит одно крупное разделение. Некоторые из них суть отношения. Некоторые принадлежат мировой форме. Отношения суть вещи, разделяющие онтологический статус не связанных с отношениями свойств. Таково эпохальное прозрение Рассела. Гуссерль эпохи «Исследований», все еще признававший реальность видов, видел, что мировая форма имеет онтологический статус. К сожалению, он поместил ее вместе со всеми свойствами в царство платоновских структур. Это один из источников его позднейшей трагедии.

Большая часть моего мира физична. Некоторая часть психична. Сознание может узнавать мир через интенциональную связь. В этом смысле сознания могут также знать и себя. В другом смысле — не могут. Знание о знании всегда есть второе знание — и никогда не часть первого. Из этой нити, взятой у Гуссерля, сплел свой философский миф Сартр.

Сознания моего мира не создают его структуру. И не навязывают ее тому, что явлено им безо всякой структуры. Скорее, она сама является им. С точки зрения здравого смысла наши сознакия, конечно, активны и даже созидательны. Точнее, увы, только некоторые сознания, и только иногда. Но поскольку в моем мире нет никаких субстанций, в нем нет ничего, что в философском смысле было бы креативно или даже активно. И это не случайно.

В нашей великой традиции сознания, или Личности, не являются голыми индивидами. Это индивидные субстанции. Если вам может помочь образ, представьте такую личность как внутреннюю поверхность сферы, а ее

свойства, которые, как вы помните, суть единственные вещи, которые она может знать, как покрытия поверхности. Внутренняя часть или активно создает эти постоянно меняющиеся покрытия, или по крайней мере активно навязывает структуру тому, что отображается на поверхности извне. Только подумайте о кантовском синтетическом единстве апперцепции. Всякий ступивший в этот след и твердо идущий по нему придет к идеализму.

Несравненную славу Гуссерлю принес онтологический анализ действия в «Исследованиях». Однако он не понимал ни отношений, ни необходимости фундаментальных связей, ни разницы между ними. Это другой источник его трагедии. Пойми он эти вещи, он никогда бы не сказал, что та составляющая действия, которую я называю мыслью, «по сути относительна». По сути ничто не относительно. Сама эта фраза представляет собой логическую несообразность. В частности, остаются без связи действие и интенция. Следовательно, в конце концов то или другое будет потеряно. И это делает даже «Исследования» блестящим провалом. В итоге искусный диалектик «Исследований», глубоко укорененный в традиции Лейбница — Канта, становится идеалистом «Идей».

Витгенштейн подошел к правильному онтологическому анализу экстенсиональной части мировой формы так же близко, как Гуссерль — к анализу экстенсиональной части действия. Однако он уклонился от придания онтологического статуса тому, что должен был увидеть яснее всего. Не допускал он и возможности активных сознаний, обеспечивающих этот статус. Он не видел возможности существования сознаний, которые могут знать мир, в определенном философском смысле не будучи активными. Сознание было потеряно, мир остался без формы. Такой мир не слишком похож на мир. Так в конечном счете был потерян мир. Эпигоны Витгенштейна толкуют о языке.

В.П. Руднев

ВИТГЕНШТЕЙН КАК ЛИЧНОСТЬ

ПОСВЯЩАЕТСЯ М.И. ЛЕКОМЦЕВОЙ

У меня такое ощущение, будто я заблудился и спрашиваю у прохожего дорогу домой. Он говорит, что покажет мне дорогу, и идет со мной по красивой ровной тропинке. Но вдруг она обрывается. И тогда мой друг говорит мне: «Все, что ты теперь должен сделать, — это найти дорогу — отсюда".

Л.Витгенштейн [1, с. 158]

Понять личность Витгенштейна — то же самое, что понять значение слов «Людвиг Витгенштейн». Если воспользоваться при этом теорией значения самого Витгенштейна, то можно сказать, что, во-первых, значение слова реализуется только в его употреблении в языковой игре и, во-вторых, оно варьирует в зависимости от того, в какой именно языковой игре оно употреблено, до такой степени, что общего, инвариантного значения, которое можно было бы приписать слову во всех языковых играх, не существует [2]. И вот в соответствии с этой теорией «семейных сходств» Людвиг Витгенштейн глазами фон Вригта не только не похож, но и несводим к Людвигу Витгенштейну, каким его видела Фаня Паскаль или каким он видел себя сам. Так, Витгенштейн часто называл себя монстром или уродом (freak) (см., напр., [3]). Исследуя личность Витгенштейна, по-видимому, нельзя не принимать во внимание, что он сам думал о себе как об уроде и монстре. Но какое значение он вкладывал в эти слова? Думается, что, говоря так о себе, Витгенштейн имел в виду не просто 'ужасный человек', но скорее 'человек с резкими аномалиями, уродствами', 'не такой, как другие', то есть урод не в аксиологическом, а, скорее, в этимологическом смысле: человек, который таким «уродился» (по-польски uroda означает 'красота', т.е. тоже своего рода отклонение, «уродство»).

В этой статье мы будем пытаться понять Витгенштейна таким, каким он видел себя сам и каким его видели другие, не забывая при этом, что это *наша* языковая иг-

ра и *наш* Витгенштейн, т.е. портрет личности Витгенштейна, написанный русским философом в 1992 году. При этом мы будем стараться пользоваться методами самого Витгенштейна, то есть в первую очередь пытаться не *объяснять*, а *понимать*.

Поэтому данное исследование носит не исторический и не историко-философский характер. Его предмет — личность как часть культурного контекста (ее и нашего); стало быть, это исследование по философии культуры.

1. «Не спрашивай, а делай»

Парадокс и уникальность личности Витгенштейна как философа состоит в том, что его учение (особенно раннее) кажется предельно теоретическим, абстрактным, «оторванным» от повседневной жизни и поэтому должно напоминать учения Аристотеля, Фомы, Лейбница, Декарта, Канта, Рассела или Хайдеггера. Тем не менее Витгенштейн в гораздо большей степени напоминает Сократа, Диогена-Киника, Св. Августина, Руссо или Кьеркегора, то есть в широком смысле философов жизни (Витгенштейн, кстати, сказал однажды одному из друзей, что он, вероятно, единственный на свете профессор философии, который никогда не читал Аристотеля [4, p. 172]).

Отсюда и реальная двойственность положения Витгенштейна в истории философии и культуры XX века. С одной стороны, это «самый умный человек», как его назвал А.М. Пятигорский [5, с. 94]., великий аналитик, логик, создавший рационалистическую философию языка, с другой — мистик, пророк и предтеча новой философии, объединяющей язык и действие, и время от времени действительно побиваемый академическими каменьями, учение которого очень сильно по своей структуре напоминает восточные традиции *дао* и *дзен* (см., напр., [6]).

В письме Л. фон Фикеру Витгенштейн говорит, что его учение, выраженное в «Логико-философском трактате», состоит из двух частей, из которых первая написана, а вторая не написана, и при этом вторая является наиболее важной (цит. по [8, с. 65]). Первая часть — это сфера высказываний о фактах, сфера физического, естественно-научного в широком смысле. Это и есть рациона-

листическая часть «Трактата». Вторая часть — это сфера этическая, та, которая не может быть сказана. Здесь важным являются молчание и поступок. Это и есть мистическая часть учения Витгенштейна. Ее он развивает в дальнейшем в «Лекции об этике» 1929 года [9].

На один и тот же факт, говорит Витгенштейн, можно посмотреть как на физическое (в духе «позитивной части» «Трактата»), так и на этическое явление. Когда мир наблюдается физиком, то ему все равно, падает ли камень на землю или на голову другому человеку. Формула падения камня от этого не меняется. Когда на мир смотрит этик, то он может ужаснуться падению камня на голову человека и может оказать ему помощь, если тот еще в ней нуждается, но он не может дать абсолютной этической формулировки этого события, потому что нет этического закона, общего для всех людей (подробнее см. [8, с. 1—2]). В бесстрастной книге, описывающей мир, «убийство будет находиться на том же уровне, что и всякое другое событие, например падение камня» [9, с. 101]; мир сам по себе ни добр, ни зол, но таким делает его сознание, говорит Витгенштейн, цитируя слова Гамлета [там же]. Этический смысл учения Витгенштейна, как мне кажется, таков: *старайся всегда говорить правдиво, а главное, ясно* (ср.: «Даже сказать ложь, но отчетливо и ясно — это уже сделать шаг на пути к правде» [1, с. 159]), *остальное покажут твои поступки* (в зрелые годы Витгенштейн приходит к выводу, что и «слова — это поступки» [1, с. 159].

Болезненная правдивость Витгенштейна подчеркивается практически всеми мемуаристами. Стремление во что бы то ни стало жить в соответствии со своими философскими взглядами — в этом источник его правдивости, а также невероятной тяжести для окружающих и для него самого. Вообще проблема, можно ли и надо ли врать в иных случаях, — это во многом кантовская проблема. Кант в полемике с Бенжаменом Констаном утверждал, что ложь является злом при любых обстоятельствах, даже когда к тебе в дом врываются полицейские в поисках твоего лучшего друга, скрывающегося у тебя. Солгать и в этом случае — зло, ибо количество зла все равно прибавится в мире, даже если таким путем будет спасен человек [10, с. 56 — 58]. Может быть, Витгенштейн не согла-

сился бы с такой позицией, но, во всяком случае, он понял бы ее последовательность. Это позиция *шизоидной личности*, то есть такой, для которой самым важным является сохранение своей аутистической [11] гармонии, лишь опосредованно связанной с повседневной жизненной реальностью и символической по своей сути (шизоидный характер подробно описан Э.Кречмером [12, 13]; см. также [14]).

Шизоид замкнут и углублен в себя, для него характерны схематизм мышления, стремление к абстрактным логическим построениям и в то же время к противоречиям и парадоксам (ср. знаменитые кантовские антиномии), такой человек очень хорошо чувствует музыку и технику, но, как правило, неважно разбирается в людях, он может быть аристократичен и чудаковат, главное же для него — это его внутренняя гармония, нарушение которой переживается им болезненно, поэтому он старается бережно ее хранить.

Безусловно, этот характерологический портрет очень подходит к Витгенштейну: налицо все признаки вплоть до глубокого и страстного увлечения музыкой и почти мистической власти над механизмами.

Противоречие и парадокс — одна из важнейших пружин в характере Витгенштейна. С одной стороны, аскетизм и скромность, с другой, — «сатанинская гордость», по словам Рассела [15, p. 126]. Примерно в одно и то же время Витгенштейн собирается уйти в монастырь и стать дирижером симфонического оркестра. Глубокое проникновение в суть вещей сочетается у него с наивностью и даже невежеством. Возмущенный замечанием Фани Паскаль, что Диккенс повлиял на Достоевского, Витгенштейн жестом руки изображает, как велик Достоевский и как по сравнению с ним мал Диккенс. Но ведь тот факт, что менее выдающиеся писатели могут влиять на более выдающихся, так же тривиален, как то, что сын может быть талантливее отца. На самого Витгенштейна повлиял Г.Лихтенберг, несопоставимый с ним по дарованию.

В свое время И.И. Ревзин в работе по методологии науки [16] выделил два противоположных типа ученых — романтиков и классиков. Витгенштейн парадоксально сочетает в себе черты классика и романтика. С одной стороны, схематизм, строгая иерархичность и атомарность мышле-

ния, замкнутая картина мира (особенно, конечно, это преобладает в ранний период); с другой — открытость, молярность, разомкнутость. Последнее начинает доминировать в поздний период, но романтическое (или позднеромантическое) мироощущение в строгом смысле характерно и для раннего Витгенштейна. Сама концепция молчания, которая беспокоила Витгенштейна не только в философии, но и в искусстве («Клейст написал где-то, что то, чего поэт желал бы добиться, — это обрести способность выражать мысли сами по себе без помощи слов»; «В искусстве трудно сказать лучше, чем ничего не сказать» [1, с. 156, 157]), — романтическая по своей сути («Молчи, скрывайся и таи...» («Silentium») — программное стихотворение Тютчева, так же как строка «И лишь молчание понятно говорит» («Невыразимое») — Жуковского).

Практически каждое речевое действие Витгенштейна, которое запоминается своей неординарностью и значительностью, всегда парадоксально, как будто он задался целью оспорить все общепризнанные мнения, разрушить общепринятые логические и житейские пресуппозиции (что и составляет сущность парадокса, по А.В. Успенскому [17]). Характерна следующая история. Однажды Друри (один из любимых друзей Витгенштейна, ирландец, врач по профессии, оставивший интереснейшие записи разговоров с Витгенштейном) рассказал Витгенштейну о своем приятеле, который отказался защищать диссертацию на степень доктора философии, так как понял, что не сделал ничего оригинального. Витгенштейн заметил, что за одно это приятелю Друри следовало бы присудить докторскую степень [4, p. 124]. Здесь разрушается презумпция, в соответствии с которой научные степени присуждаются людям, сделавшим нечто оригинальное. Зная, что это часто не соответствует действительности, Витгенштейн делает следующий логический шаг: осознание своей неоригинальности само по себе можно считать оригинальным, и, следовательно, можно присудить за это ученую степень.

Для личности Витгенштейна было характерно парадоксальное сочетание сверхчувствительности к одним вещам и равнодушия (вплоть до бесчувственности и даже жестокости) к другим. Как пишет в своих воспоминаниях Фаня Паскаль, передавая мнение сестры Фрэнсиса Скиннера, у Витгенштейна «пониженная чувствитель-

ность к переживанию других объясняется избытком восприимчивости». Противоречивое соотношение сензитивности и бесчувственности, названное Э.Кречмером *психестетической пропорцией* [12], является одной из характерных черт шизотимной личности.

Важно подчеркнуть при этом, что жизненное поведение Витгенштейна, несмотря на то что оно было таким ярким и поневоле бросалось в глаза, никогда не было демонстративным. Демонстративный человек (истерик) всегда ведет себя напоказ, компенсируя чувство неполноценности самовозвеличиванием и враньем [18], что Витгенштейну было в высшей степени чуждо. Он вообще мало с кем говорил о своей личной жизни. Лишь иногда, в критические минуты жизни, у него появляется потребность очистить душу, и тогда он начинает навязывать друзьям свои «исповеди», как об этом пишут Фаня Паскаль и Раш Рис [19]. Витгенштейн порицает проявления демонстративности в других людях. Он осуждает своего брата Пауля, знаменитого пианиста, потерявшего на войне правую руку и исполнявшего специально для него написанный Равелем Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки, за то, что тот концертирует, не понимая, что зрители приходят не слушать его музыку, а поглазеть на однорукого пианиста [20].

С проблемой демонстративности связан последний парадокс личности и творчества Витгенштейна. Будучи по натуре *модернистом* (то есть замкнуто-углубленным человеком, придумывающим новые построения в области внутренней структуры и значения (синтаксиса и семантики) той области, в которой он работает) [21], он на поверхности ведет себя как *авангардист*, для которого важно активное воздействие на внешнюю среду, то есть создание новых ценностей в области прагматики [22]. Этот мнимый авангардизм, проистекающий из того, что сама философская концепция Витгенштейна вносит принципиально много нового именно в область языковой прагматики, в очень сильной степени (как и многое другое у Витгенштейна) перекликается с позицией М.М. Бахтина: «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. <...> Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [23, с. 5 — 6].

II. Витгенштейн — школьный учитель

Об обстоятельствах первого биографического кризиса, в результате которого Витгенштейн отказался от наследства, оставил философию и сделался сельским учителем, известно теперь довольно много во многом и благодаря опубликованной выше книге Уильяма Бартли (см. также биографию Витгенштейна, написанную Б.МакГиннесом [24], а также письма Расселу [25] и Энгельману [26]). Все же этот поступок продолжает требовать некого целостного понимания.

Начнем с самого начала. Еще до рождения Людвига в его семье по мужской линии мотив бегства стал ключевым. В 1865 году отец Людвига Карл Витгенштейн убегает от тирании своего отца Германа в Америку [27, p. 170 — 171]. Пройдет много лет — и Карл Витгенштейн сам становится домашним тираном. История повторяется. Старший брат Людвига Ганс тоже убегает от отца в Америку, где вскоре кончает с собой. По мнению некоторых исследователей (например, [27]), Карл просто «доводит» своих сыновей одного за другим до самоубийства (вслед за Гансом погибает Руди; Курт застрелился на фронте, оказавшись в окружении). По-видимому, жестокость отца в меньшей степени касается младших сыновей — Пауля и Людвига, — может быть, потому, что они самые одаренные. Однако на Витгенштейна начинает оказывать воздействие богатейшая, но подверженная заметному гниению культура Вены первого десятилетия XX века со всеми ее противоречиями, напряженностью и идеологической борьбой. Вероятно, поездка в Кембридж и контакты с душевно и интеллектуально здоровыми английскими философами сыграли положительную роль в жизни Витгенштейна — после этого он начинает активно работать.

Правда, потом Витгенштейн писал Энгельману, что перед войной он находился на грани самоубийства, а в армию пошел в поисках смерти.

После войны Витгенштейн буквально окружен смертью. Брат Курт покончил с собой, кембриджский друг Дэвид Пинсент погиб на войне, еще раньше покончили с собой Людвиг Больцман, великий физик, у которого Витгенштейн собирался учиться, и Отто Вейнингер, автор знаменитой книги «Пол и характер», которого Витгенштейн

очень ценил. В 1913 году умирает Карл, взвалив своей смертью на плечи Людвига (старшего из оставшихся в живых мужчин в семье) бремя ответственности за наследство. У.Бартли в своей книге говорит, что Витгенштейн не только не хотел, но был и не в состоянии распоряжаться крупным капиталом. Примерно в том же духе рассуждает в своих воспоминаниях старшая сестра Витгенштейна Гермина, проводя параллель между Людвигом и Алешей Карамазовым из романа Достоевского [28].

Выход из этой совокупности негативных обстоятельств внешней и внутренней жизни Витгенштейн, по-видимому, нашел в учении Льва Толстого. На войне Витгенштейн носил в ранце толстовскую транскрипцию Евангелий и всегда оценивал произведения и личность русского мыслителя однозначно высоко.

Судьбы Витгенштейна и Толстого во многом схожи. У обоих очень ранняя интеллектуальная зрелость, у обоих отсутствовало специальное философское образование, оба, будучи богаты, отказались от своего состояния и, будучи гениально одарены, отказались от написанного ими в молодости. Правда, Толстой был более радикален во втором пункте, тогда как Витгенштейн скорее в первом. Тема следования своему собственному учению была актуальна для обоих. В определенном смысле Толстому было труднее, так как он был гораздо старше Витгенштейна в момент своего духовного кризиса и обременен огромной семьей. К тому же у Толстого был чисто русский психастенический комплекс — его одолевали тревожные сомнения, правильно ли он поступает, жалость к близким, и отсюда те мучительные колебания, которые он описал в пьесе «И свет во тьме светит». Витгенштейн с немецкой педантичностью выполняет то, чего практически не успел в полной мере осуществить его русский учитель. Наследство четко распределено между членами семьи — и Витгенштейн теперь просто вынужден искать работу, что в послевоенной экономически нестабильной Австрийской Республике не так просто. Движение за школьную реформу совпало и с чисто толстовской установкой Витгенштейна — учить крестьянских детей (как Толстой в Ясной Поляне). Также в большой степени толстовским был элемент «уничижения», которое «паче гордости», так сказать, «комплекс отца Сергия». Действительно, иногда

Витгенштейн проговаривался, что ему забавно, что он — философ и аристократ — вдруг стал простым учителем. С мотивом искупления гордыни, в толстовском духе, по-видимому, связано и стремление уйти в монастырь.

И все же, кроме всего прочего, в деревню Витгенштейна погнали усталость, переутомление и страх. По-видимому, для него было важно создать для себя позитивные экстремальные условия, поднять жизненную планку как можно выше. Стремление следовать своей философской схеме совпало с психологическим состоянием, хотя, конечно, схема не соответствовала реальности, и Витгенштейн уже через год после приезда в Траттенбах был глубоко разочарован. Тем не менее его эксперимент можно считать удавшимся. Он продержался в деревне 5 лет, завоевал удивительную любовь крестьянских детей и продемонстрировал свою гениальность как педагог. Он написал учебник немецкого языка для народных школ и вынес из австрийской деревни новую философскую концепцию, хотя ее, может быть, и не стоило бы так напрямую связывать с влиянием «стихии народной речи», как это делает Бартли (это было бы слишком «по-марристски»). Может быть, наоборот, Витгенштейн затем и поехал в деревню, чтобы обогатить свои мысли о языке, то есть программа его новой философии, скорее всего, была уже в нем заложена и искала только адекватного материала для своей экспликации.

Однако, несмотря на позитивность эксперимента — новые философские идеи, вкус к преподаванию и желание жить и мыслить по-другому, — радикально в личности Витгенштейна ничего не могло измениться, и в Кембридже он оставался таким же чужаком, как и в Траттенбахе.

III. Витгенштейн и Россия

Действительно, в Кембридже отношения с окружающими людьми складывались примерно так же, как и в деревне. То есть с учениками Витгенштейн ладил превосходно, а с коллегами в целом достаточно плохо. Вначале еще Рассел, Рамсей и Мур активно помогали ему: устроили защиту диссертации, способствовали избранию его членом Совета Тринити-колледжа. Но вскоре Рамсей внезапно умер, а отношения с Расселом становились год от года все

хуже. Только с Муром Витгенштейн продолжал дружить до конца жизни, но и между ними то и дело вспыхивали ожесточенные дискуссии. У Витгенштейна, конечно, были друзья в Кембридже и Лондоне — Кейнс, Сраффа, Н.М. Бахтин, — но характерно, что все это не философы по профессии. Витгенштейн раздражал своих коллег нетривиальным и непредсказуемым поведением даже в том случае, если его исключительные заслуги как философа признавались. Характерный пример с Чарльзом Броудом, известным английским философом, профессором в Кембридже, который, с одной стороны, признавал безусловные заслуги Витгенштейна и, когда обсуждалась кандидатура Витгенштейна на профессорское место, освобожденное ушедшим на пенсию Муром, сказал, что «не дать Витгенштейну места по философии — все равно что не дать Эйнштейну места по физике» [4, p. 156], но, с другой, совершенно не терпел Витгенштейна как человека, считал его характер нестерпимым, а выходки неприемлемыми. Чего стоит замечание Броуда о «выражении глупого восхищения на лице Витгенштейна», когда он сидел на заседаниях Клуба Моральных Наук. Витгенштейн тоже не оставался в долгу: ему принадлежит ряд резких высказываний об академической атмосфере Кембриджа и о профессиональных философах в целом, которые вызывают у него нескрываемое презрение. Лучше читать детективные романы, чем философский журнал *Mind*. Парадоксальным образом исключение он делает именно для главного редактора этого журнала Дж.Э. Мура, в котором он ценит интеллектуальные качества, во многом родственные ему самому: честность, чистоту и нетривиальность. Именно с Муром он дискутирует всерьез как устно, так и письменно (критике идей Мура посвящен его последний трактат «О достоверности»). Друри рассказывает, что, собираясь поступать в докторантуру, он попросил рекомендацию у Мура. Мур охотно написал требуемую бумагу, в заключение отметив в ней, что Друри обладает чувством юмора. Узнав об этом, Витгенштейн с восхищением заметил, что только такому уникальному человеку, как Мур, могло прийти в голову, что чувство юмора является важной для философа характеристикой [4, p. 138]. Несомненно, что сам Витгенштейн считал так же. Ср: «Юмор — не просто настроение, но способ смотреть на мир. Если верно, что в нацистской Германии юмор

был уничтожен, то это не значит, что у людей не было хорошего настроения или что-нибудь в этом роде, но нечто гораздо более глубокое и важное [1, с.159].

Однако отношение Витгенштейна к современникам и к культуре XX века в целом было глубоко и тотально критическим. Друри пишет, как однажды Витгенштейн рассказал ему, что, гуляя по городу, он увидел в витрине магазина три портрета великих людей XIX века, а именно Бетховена, Шуберта и Шопена, а затем — три портрета современников — Рассела, Фрейда и Эйнштейна. Из этого опыта Витгенштейн сделал следующее заключение: в портретах современников он отметил явные признаки вырождения [4, p. 127].

Атмосферу в Кембридже Витгенштейн считал удушающей и не советовал своим ученикам жить там, о себе же говорил, что вырабатывает свой собственный кислород [4, p. 127].

Преподавание тяготило Витгенштейна, он не умел читать лекции по готовым записям, поэтому каждый раз тратил большое количество энергии. По-видимому, он не мог относиться формально к чему бы то ни было — будь то философия или ремонт канализационного бачка, а жизнь в Англии, вероятно, в каком-то смысле обязывала именно к такому, слегка формальному отношению (излишний романтический энтузиазм здесь вызывал насмешку). И хотя Англия стала второй родиной Витгенштейна, родиной гостеприимной, комфортабельной и, в общем, терпеливой, Витгенштейн уже где-то в 1933 — 1934 годах лелеял замыслы нового «побега». Мотивы недовольства Витгенштейна жизнью в Кембридже, как внешние, так и внутренние, состояние беспокойства и постоянной неудовлетворенности все же недостаточны для того, чтобы понять, почему на этот раз выбор Витгенштейна пал на Россию, точнее, на Советский Союз, а еще точнее, на СССР сталинского периода.

В первую очередь Россия для Витгенштейна — это родина Льва Толстого. Приехав в СССР в 1935 году, Витгенштейн отправился в Казань, — «по толстовским местам», где ему якобы тут же предложили место профессора философии Казанского университета. Представить себе Витгенштейна, читающего диалектический материализм в столице «Татарского каганата», пожалуй,

несколько труднее, чем его же преподающим арифметику крестьянским детям.

В целом идея ухода от благополучной жизни в неблагополучную, несомненно, связана с толстовским учением — в этом смысле второй (несостоявшийся) побег аналогичен первому, удавшемуся.

Непонятным остается все же, каким образом Витгенштейн, вооруженный проповедями о ненасилии, собирался жить и действовать в «империи зла». Возможно, здесь нет противоречия. Ведь активное, миссионерское, евангелическое (а Витгенштейн прямо называл себя евангелистом) противодействие злу как заблуждению — это и есть толстовская форма «непротивления злу насилием». Так не собирался ли Витгенштейн по примеру Вл.Соловьева и Льва Толстого (а через много лет перенявших их эстафету Солженицына и Сахарова), писавших письма царям по поводу смертных казней и т.д., таким образом включиться в политическую жизнь «Совдепии»? По-видимому, его планы были несколько иными. Известно, что, обратившись в Институт народов Севера, он собирался отправиться в экспедицию для изучения языка и нравов этих народов. Последнее вполне соответствует философским и методологическим установкам позднего Витгенштейна. Так, в «Философских исследованиях» время от времени приводится пример с неким гипотетическим племенем, имеющим некоторые специфические особенности языка. Вероятно, Витгенштейн решил попытаться понять язык «настоящего племени». Это вполне логично. Но почему он выбрал именно Советский Союз? Ведь можно было поехать с этой целью в гораздо более безопасное место — к индейцам в Северную Америку, к аборигенам Австралии или к папуасам, как это делали до и после него антропологи от Миклухо-Маклая до Уорфа и до Леви-Строса. Но Витгенштейну, видно, было неинтересно ехать в безопасные места, ему важно было создать экстремальную ситуацию, подобную той, в которую он попал, уйдя в 1914 году на Восточный фронт. Если так, то выбор был сделан правильно.

Осознавал ли Витгенштейн, что тогда творилось в России? На этот счет существует несколько разрозненных свидетельств. Первое принадлежит Фридриху Вайсману (члену Венского кружка, одному из первых учени-

ков Витгенштейна), рассказывавшему, будто Витгенштейн еще в 20-е годы говорил, что «страдания», претерпеваемые Россией, обещают нечто в будущем, в то время как вся наша болтовня бессмысленна» [29, S. 142]. Возможно, Витгенштейн, хорошо знакомый с культурологической теорией Шпенглера, чувствовал интуитивно это *нечто*, что потом Л.Н. Гумилев сформулировал как идею возраста этноса, в соответствии с которой Россия — более молодой и поэтому более многообещающий в будущем этнос по сравнению с западноевропейским суперэтносом [30]. Витгенштейн всегда смотрел на мир sub specie aeterni, и все зло и добро, творящееся вокруг, его не возмущало, во всяком случае, он, как видно, претендовал на такое понимание мира, которое было свойственно средневековой христианской теологии, в соответствии с которой человек видит зло там, где не может увидеть закономерность Божьего Промысла. Во всяком случае, известно, что Витгенштейн высказывал взгляды, считавшиеся, вероятно, в академическом кругу Кембриджа, малоприемлемыми. Так, он хвалил сталинский режим за то, что он «дал людям работу, что важнее всего», а «тирания его (Витгенштейна. — *В.Р.*) не возмущает» [19, p. 226].

Весной 1945 года, когда все вокруг торжествовали грядущую победу над нацистами, Витгенштейн сказал: «Представляете, в каком ужасном положении должен находиться сейчас такой человек, как Гитлер» [4, p. 163]. Здесь, конечно, дело не в жалости к поверженному врагу. Просто Витгенштейн на все смотрел по-своему. Стремление увидеть проблему с точки зрения совершенно чуждого ему сознания для Витгенштейна крайне характерно (недаром в «Философских исследованиях» большое место занимает проблема чужого сознания (other minds).

Характерно и другое. Витгенштейн оценивал левых и ультралевых лидеров с весьма своеобразной позиции, а именно с позиции «не-спрашивай-а-делай». В этом смысле про Гитлера еще с большим основанием, чем про Сталина, можно было сказать, что он «дал людям работу». По воспоминаниям Р.Риса, сравнивая вышедшие одновременно книги — *Mein Kampf* Гитлера и *Realpolitics* чешского лидера Бенеша, — Витгенштейн, указывая на первую, сказал: «И все же это нечто гораздо более дельное (business-like)» [19, p. 225].

Достаточно благосклонно отзывался Витгенштейн и об Ильиче, отметив, что, несмотря на то что его философские сочинения — абсурд, «все же он хотел что-то сделать» [4, p. 141].

Дж. Моран в своей статье «Витгенштейн и Россия» ставит вопрос о том, был ли Витгенштейн сталинистом [31]. В конце концов исследователь отвечает на этот вопрос отрицательно, но сама постановка проблемы характерна.

Бессмысленно задавать вопрос, понимал ли Витгенштейн масштабы репрессий в России, потому что, как мы пытались показать, если бы и понимал, то это ничего бы в его отношении к России не изменило. Все же Витгенштейн не остался в России. Но ответить на вопрос «Почему?» не представляется возможным. Думается, что политические репрессии здесь ни при чем. И вполне можно представить, что Витгенштейну разрешили бы жить и работать у «чукчей», другое дело, что добрая часть этих чукчей работала бы в органах НКВД.

Кажется, что своим желанием остаться в России Витгенштейн, как говорят школьники, «хотел кому-то доказать». Кому же?

Свет на эту историю, думается, проливают его «Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрэзера». Витгенштейн камня на камне не оставляет от концепции Фрэзера (тоже выходца из Кембриджа, что для Витгенштейна немаловажно) за якобы полнейшее непонимание того, о чем он пишет, вследствие недопустимого вульгарного отношения к дикарям свысока, с высоты своей культуры. Чтобы понять мышление дикаря, по Витгенштейну, надо увидеть его как равного. В противном случае ученый сам превращается в дикаря:

> Фрэзер не может представить себе другого служителя культа, кроме английского пастора своего времени со всей его глупостью и вялостью. <...>
>
> Фрэзер — дикарь в большей степени, чем любой из его дикарей, потому что они отошли от понимания обстоятельств, имеющих отношение к духовным данностям не так далеко, как англичанин XX века. Его объяснения примитивных обрядов еще более грубы и невежественны, чем смысл этих обрядов [32, p. 253].

В этих отрывках чувствуется не только неприятие современной культуры, но и явная симпатия к дикарям. Можно предположить, что и скептическое отношение бур-

жуазного английского общества к русским «дикарям» вызывало аналогичное возмущение у Витгенштейна и одним из глубинных мотивов поездки в Россию было стремление «доказать», что русские — «дикари» не в большей степени, чем цивилизованные британцы. Конечно, это гипотеза, а не доказанный факт, но она соответствует *известным* фактам, а не противоречит им, что говорит в ее пользу.

Как бы то ни было, Витгенштейн не остался в России, и неизвестно точно, ездил ли он туда второй раз в 1939 году. Возможно, новые факты и свидетельства прольют больший свет на историю взаимоотношений Витгенштейна с Россией, по-прежнему продолжающую оставаться достаточно темной.

IV. Витгенштейн и XX век

Ответить на вопрос, почему именно Витгенштейн стал ключевой фигурой философии XX века, равносильно тому, чтобы ответить на вопрос, почему в XX веке главным философским объектом стал язык.

Структурная лингвистика Ф. де Соссюра, Л.Блумфильда, Л.Эльмслева и «пражцев», «новое учение о языке» Н.Я. Марра, лингвистическая относительность Э. Сепира и Б.Л. Уорфа, генеративная грамматика Н.Хомского, а одних семантических «метатеорий» в послевоенной философии языка Э.Сааринен насчитал девять [33] — и большинство из них так или иначе связаны с учением Витгенштейна. Семиотика, кибернетика, теория информации, теория искусственного интеллекта, теория игр (Дж. фон Неймана), модальная логика — все это тоже науки о языке, и все они так или иначе зародились или получили наибольшее распространение в XX веке.

Философия языка актуализировалась тогда, когда разочаровались в естественнонаучной позитивной философии позднего романтизма (или, как его еще называли, реализма — не в противопоставлении номинализму, а в противопоставлении идеализму). Герои предшествующей эпохи — Дарвин, А.Бюхнер, Клод Бернар — верили в возможность изучения реальности самой по себе. В конце XIX века решили, что такая реальность — фикция, что эксперимент и экспериментатор связаны «принципиаль-

ной координацией» (Э.Мах), реальность стали понимать сквозь призму изучающего ее наблюдателя. Тут-то проблема языка, которым пользуется наблюдатель для описания реальности, и стала решающей.

Позитивная часть «Логико-философского трактата» явилась титанической попыткой на новой лингвагенной основе защитить старую метафизику (такое понимание «Трактата» см. в последней монографии Н.Малкольма [34, гл. 1 — 3], предельно заострив и обнажив ее. Картина мира, изображенная в «Трактате», неимоверно напряженная, как будто насильно гармонизированная, представляет собой некий преувеличенный, заостренный, деформированный в своей схематичности Порядок. Кажется, что с психологической точки зрения это крайне тревожный, напряженный аутистический символ, выражающий страдание перехода из одной эпохи в другую. Безусловно, *это экспрессионизм в философии*, такой же, как двенадцатитоновая музыка А.Шёнберга, живопись О.Кокошки, архитектура А.Лооса и проза Ф.Кафки. Так же как и в «Трактате», у экспрессионистов — предельная упорядоченность и анализ языковой структуры, нужный для того, чтобы во что бы то ни стало избежать хаоса, которым чреват развал системы ценностей позднего романтизма. Поэтому необычайная шизоидная жесткость конструкции сочетается у них с гримасой напряженного страдания, а апология гротескной упорядоченности (как в прозе Кафки) граничит с абсурдом и тоской.

Однако Витгенштейн уже в предисловии к «Трактату» предупреждает, что гиперрационалистическое описание мира не является решением жизненных проблем:

> ...*истинность* изложенных здесь мыслей кажется мне неопровержимой и окончательной. Следовательно, я держусь того мнения, что поставленные проблемы в основном окончательно решены. И если я в этом не ошибаюсь, то значение этой работы заключается, во-вторых, в том, что она показывает, как мало дает решение этих проблем [35].

По сути, Витгенштейн приходит к тому же выводу, что позднее сформулировал К.Гёдель в теореме о неполноте: если система непротиворечива, то она неполна. Может быть, Витгенштейн отнесся без особого энтузиазма к знаменитой теореме отчасти и потому, что сам при-

шел к тем же выводам, сформулированным по-другому, значительно раньше.

Как кажется, в «Трактате» осуществляется еще один фундаментальный принцип методологии XX века, в теоретической физике известный как принцип дополнительности, а у логических позитивистов — как принцип симметричных описаний. Логически этот принцип вытекает из теоремы Гёделя (подробнее см. [36]): поскольку при помощи одной дедуктивной системы нельзя непротиворечиво и полно описать реальность, то она (реальность) может быть адекватно описана только в дополнительных системах описания. У Бора это квантовый и волновой языки; у позитивистов, например Рейхенбаха, — детерминизм и телеологизм [37]; возможно также дополнительное описание мира как текста и как физической реальности [36]. У Витгенштейна это противопоставление физического (того, что может быть и должно быть сказано ясно) этическому (тому, о чем следует молчать и что следует «делать, не спрашивая»).

В последнем своем трактате «О достоверности» Витгенштейн приходит самостоятельно и к третьему фундаментальному принципу научной методологии XX века, который он формулирует следующим образом:

> Вопросы, которые мы ставим, и наши сомнения основываются на том, что определенные предложения освобождены от сомнений, что они словно петли, на которых вращаются эти вопросы и сомнения. <...>
>
> Если я хочу, чтобы дверь поворачивалась, петли должны оставаться неподвижными [38, § 341, 343].

Эта мысль есть другими словами сформулированное «соотношение неопределенностей» В.Гейзенберга, в соответствии с которым нельзя одновременно точно измерить координату и импульс частицы. При измерении нужно пожертвовать точностью чего-либо одного, чтобы измерить с точностью что-либо другое (чтобы дверь поворачивалась, петли должны оставаться неподвижными).

Трагическая отрешенность Витгенштейна от современников не помешала этому удивительному человеку самостоятельно прийти к основополагающим принципам мышления эпохи. Витгенштейн говорил, что место, в которое можно попасть при помощи лестницы, его не инте-

ресует [1, с. 156]. Действительно, ко всем решениям он приходил, отбросив лестницу алгоритма. Впрочем, он сам никогда не признавал окончательности каких бы то ни было решений.

> *Если бы кто-то сказал, что он решил проблему жизни и чувствует себя так, будто он сказал себе, что теперь все ясно, то он мог бы сам увидеть, что это не так, припомнив хотя бы, что ведь было время, когда это решение еще не было найдено; но и тогда тоже должно было быть возможным жить, и решение, которое найдено теперь, кажется случайным в связи с тем, как обстояло дело тогда. И то же самое в исследованиях по логике. Если бы было «решение» проблем логики (философии), мы бы только нуждались в предостережении, что ведь было время, когда эти проблемы не были решены (и даже тогда люди должны были знать, как жить и мыслить) [1, с. 156].*

декабрь 1992

Литература

1. **Витгенштейн Л.** Культура и ценности // Даугава, 1992, № 2, с. 155 – 159.
2. **Wittgenstein L.** Philosophical Investigations. – Cambridge, 1967.
3. Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections / Ed. R.Rhees. – Ox. 1981.
4. **Drury M.O'C.** Conversations with Wittgenstein // Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, p. 112 – 189.
5. **Пятигорский А.М.** Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психолога // Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 181, 1965, с. 86 – 97.
6. **Canfield J.V.** Wittgenstein and Zen // Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments. – L., 1986. – V. 4, p. 185 – 207.
7. **Грязнов А.Ф.** Эволюция философских взглядов Л.Витгенштейна. – М., 1985.
8. **Руднев В.П.** Основания философии текста // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы, 1992, № 4, с.1 – 6.
9. **Витгенштейн Л.** Лекция об этике // Даугава, 1989, № 2, с. 98 – 105.
10. **Кант И.** Трактаты и письма. – М., 1980.
11. **Блейлер Е.** Аутистическое мышление. – Одесса, 1928.
12. **Кречмер Э.** Строение тела и характер. – М.; Л., 1928.
13. **Kretshmer E.** Geniale Menschen. – Berlin, 1956.
14. **Бурно М.Е.** Трудный характер и пьянство. – Киев, 1990.
15. **Russel B.** My philosophical development. – L., 1975.
16. **Ревзин И.И.** О субъективной позиции исследователя в семиотике // Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 287, 1971, с. 252 – 263.

17. **Успенский В.А.** Что такое парадокс? // Finitis duadecim Lustris: Сб. статей к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1982, с. 159 – 162.

18. **Леонгард К.** Акцентуированные личности. – Киев, 1989.

19. **Rhees R.** Postscript // Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, p. 190 – 230.

20. **Lewis S.** Recollection on Wittgenstein // Ibid., p. 88 – 98.

21. **Руднев В.П.** Модернистская и авангардная личность как культурно-психологический феномен // Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1993.

22. **Шапир М.И.** Что такое авангард? // Русская альтернативная поэтика. М., 1990, с.3 – 6.

23. **Бахтин М.М.** Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

24. **McGuinness B.F.** Wittgenstein: a life. – Ox., 1982.

25. **Wittgenstein L.** Letters to Russel, Keynes and Moore. – Ox., 1974.

26. **Engelmann P.** Letters from Ludwig Wittgenstein. With Memoir. – N.Y., 1968.

27. **Janik A., Toulmen S.** Wittgenstein's Vienna. – L., 1973.

28. **Wittgenstein H.** My brother Ludwig // Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, p. 1 – 13.

29. **Weismann F.** Wittgenstein und der Wienar Kreis. – Ox., 1967.

30. **Гумилев Л.Н.** Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990.

31. **Moran J.** Wittgenstein and Russia // The New Left Revue, 1972, № 73, p. 85 – 90.

32. **Витгенштейн Л.** Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрэзера // Историко-философский ежегодник-89. М., 1990, с. 249 – 261.

33. **Саринен Э.** О метатеории и методологии семантики // Новое в зарубежной лингвистике, вып. 18. – М., 1986, с. 121 – 138.

34. **Malcolm N.** Nothing is Hidden: Wittgenstein's criticism of his early thought. – Ox., 1986.

35. **Витгенштейн Л.** Логико-философский трактат. – М., 1958.

36. **Руднев В.П.** Текст и реальность: Направление времени в культуре // Wiener slawistischer Almanach, Bd. 17 (1986).

37. **Рейхенбах Г.** Направление времени. – М., 1962.

38. **Wittgenstein L.** On certainty. – Ox., 1969.

Книга выпущена при участии ЧАИ "ОЛИМП"
МЕНЕДЖМЕНТ А.А. Литвинов
ПРОИЗВОДСТВО А.А. Игнатенко

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН:
Человек и Мыслитель

Редактор *В.П. РУДНЕВ*
Художник *В.Ю. НОВИКОВ*
Технический редактор *Е.В. ЛЕВИНА*

ЛР № 070209 от 23.10.91. Подписано в печать 12.10.93.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Петербург.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,0.
Тираж 10000 экз. Зак. 3007.

А/О Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Частное агенство информации «ОЛИМП»
197042, Санкт-Петербург, наб. р. Ждановки, 43б

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО «Наука» РАН
199034 г. Санкт-Петербург, 9-я линия, д. 12.